

Невинные рассказы. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru
Спасибо, что скачали книгу в бесплатной электронной библиотеке
<http://saltykov-shchedrin.ru/> Приятного чтения!

Невинные рассказы. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин

ГЕГЕМОНИЕВ

Молодой коллежский регистратор Потанчиков получил место станового пристава. Произошло это радостное в летописях русской администрации событие следующим необычайным образом.

Однажды, одевшись чистенько, явился он на дежурство к его превосходительству генералу Зубатову. Генерал, кроме других добродетелей имевший дар с первого взгляда угадывать людей, угадал и Потанчикова. Проходя мимо юного коллежского регистратора, он окинул его быстрым и проницательным взором и тут же вполголоса сказал сопровождавшему его вице-губернатору:

– А как вы думаете... этот молодой человек... ведь из него может выйти молодец-становой?

– Мо... мо... промычал было вице-губернатор, желая, вероятно, высказать, что Потанчиков молод, но на первом же слогe запнулся, вспомнив, что ему от начальства строго-настрого было наказано всего более о том пещись, чтоб с губернатором жить в ладу.

– А стань-ко, любезный, ближе к свету! – продолжал его превосходительство, обращаясь к Потанчикову.

Потанчиков повиновался. Генерал, заложив руки за спину, снова окинул его испытующим взглядом и, произведя довольно подробный наружный осмотр, видимо остался доволен своею способностью угадывать людей.

– Гм... да, в этом прок будет! – проговорил он, – я, знаете, все эту реформу в исполнение привести хочу... чтоб этих законопротивных физиономий у меня не было... А ты желаешь в становые, мой милый?

Потанчиков сначала помертвел, потом застыдился, потом опять помертвел. Горло у него пополам перехватило, и одна нога, неизвестно отчего, начала приседать.

– Ну, хорошо, хорошо... вижу! – сказал генерал, любясь смущением молодого человека, и, обращаясь к вице-губернатору, прибавил – Так потрудитесь сделать распоряжение.

В этот же достопамятный день, вечером, новоиспеченный становой соорудил в трактире такую попойку, после которой выборные люди от всех отделений губернского правления слонялись целую неделю словно влюбленные.

Тут были все, от которых более или менее зависели будущие судьбы Потанчикова. Был и несокрушимый в пунштах Псалмопевцев, и целомудренный Матфий Скорбященский, были Подгоняйчиков и Трясучкин, были двое Воскресенских, трое Богоявленских и проч.

– Просто, брат, волшебная панорама! – ораторствовал Потанчиков, повествуя об утреннем происшествии, – показывает это, показывает... как только пережил!

– Да, брат, из простых рыбаей! – благодушно заметил Матфий Скорбященский.

– Уж и не говори! думал жизнь, по обычаю предков, в звании писца скончать...

– А теперь вот будешь вселенную пером уловлять! – прервал, вздохнув, один из Богоявленских.

– Нет, это что! это все пустое! – скороговоркой вступился Трясучкин, – а ты возьми: станице-то, станице-то какой! сплавы, брат, конокрады, раскольники... вот ты что вообрази!

– Да, при уме статьи хорошие! – отозвался Псалмопевцев.

– Ты больше натиском... натиском больше действуй!

Невинные рассказы. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru

- Да в губернию чаще навещайся...
- Да ребяташек наших не забывай...
- Ты, брат, не оскорбись, коли иной раз по моему столу тебе замечание будет... Я, брат, тебе друг – ты это знай! – изъяснялся Скорбященский.
- Без замечания иной раз нельзя...
- Без замечаний как же можно!
- Иной раз, брат, сам губернатор твою... да что тут говорить! отстоим!
- Так ты больше натиском... натиском больше действуй! – повторил Трясучкин.
- А по-моему, так прежде всего к Зиновею Захарычу сходить следует, – отозвался Псалмопевцев.
- Сходи, брат! не человек, а душа!
- Сходить – отчего не сходить! сходить можно! – отвечал Потанчиков, улыбаясь всем лицом от полноты внутреннего счастья.
- Нет, ты не говори: «сходить можно!», – наставительно заметил Псалмопевцев, – потому ты еще не понимаешь! Ты думаешь, в чем существо веществ состоит? Например, назовем хоть часы, или вот стакан... ты разве понимаешь?
- Да, брат, именно надо у Зиновея Захарыча поучиться! надо!
- Или возьмем примером хоть то: разве ты можешь угадать, какое тебя впереди поношение ожидает? Спрашиваю тебя, можешь ли угадать?
- Да я, Разумник Семеныч, схожу-с... Я, Разумник Семеныч, еще пунштуку прикажу-с...
- Можно. А Зиновею Захарычу всему тебя научит и весь тебе круг действия совершит. Так ты к нему сходи, да не легковерно, а со страхом и трепетом приступи! Вспомни ты это мое слово: в отчаянности утешение найдешь, преткновения рассеешь и победишь, в делах откровение получишь, коли заповедь его твердо хранить будешь!

Верный данному слову, Потанчиков действительно отправился на другой день к Зиновею Захарычу.

Зиновею Захарычу был выгнанный из службы подьячий, видом худенький, маленький, весь изъеденный желчью. В старину величали его весельчаком, и действительно, он был всегда весел, но весел по-своему, с каким-то мрачным оттенком, как будто радовался и увеселялся, собственно, тем, что удачно лишил жизни своего ближнего. Вся фигура его была каверзна и безобразна и до такой степени представляла собой образец ломаной линии, что, при распространившихся в последнее время понятиях о линии кривой, он не мог быть терпим на службе даже в земском суде, где, как известно, находится самое месторождение ломаной линии. Поэтому Зиновею Захарычу должен был кончить земное свое странствие, подобно фиалке, в тени того широковетвистого дерева, которое в просторечии именуется кляузой и ябедой.

– От тебя, любезный, и на подчиненных уныние! – сказал ему генерал Зубатов, первый из русских администраторов, который серьезно потребовал, чтоб чиновники имели манеру благородную и вид, при исполнении обязанностей, бесстрастный, – нет, ты подай, непременно подай в отставку!

Но общественное мнение решительно приняло сторону Гегемониева. Рассказывали истинные происшествия о том, как гнусного вида офицеры оказывались впоследствии прекрасными полковыми командирами и даже гениальными военачальниками. Говорили о премудрости провидения, которое одному дает в удел красоту, другому богатство, третьему острый ум, а четвертому ничего. Прорицали, что никакое несправедливое действие не остается без возмездия в будущем, и вообще на генерала негодовали, а Гегемониева восхваляли. А все-таки Зиновею Захарычу должен был повиноваться персту указующему...

Но в особенности неслись к Гегемониеву сердца канцеляристов всех возможных родов и видов. Они любили в часы досуга внимать рассказам этого нового Улисса и выслушивали их в веселии сердца своего. И слава, которую пользовался Зиновей Захарыч в этом отношении, была вполне им заслужена. Никто, конечно, не мог подать столь благого совета, никто не мог так утешить, обнадежить и умудрить, как делал это Гегемониев. Гонимые судьбой возвращались от него бодрыми, недугующие – исцеленными, печальные – радостными, слепые – прозревшими, безнадежные – утешенными и просветленными.

На беду Потанчикова, хозяйка квартиры, в которой жил Гегемониев, объявила ему, что Зиновей Захарыч со вчерашнего дня слег в постель и в настоящую минуту находится чуть ли не при смерти.

– В подпитии, конечно-с? – робко заметил Потанчиков.

Но хозяйка положительно заверила, что барин целые сутки маковой росинки в рот не брал и умирает без всякой аллегии. Потанчиков уже хотел удалиться, как из соседней комнаты послышался дребезжащий голос самого Гегемониева, призывавший хозяйку.

– Пожалуйте! – сказала она, возвращаясь чрез минуту к Потанчикову.

– Больны, Зиновей Захарыч? – спросил Потанчиков, садясь у изголовья Гегемониева.

– Да... перепустил, видно... на именинах третьего дня у Разумника Семеныча был... ну, и поплясал тоже...

– Это пройдет, Зиновей Захарыч; от радости худо не бывает-с.

– Да, в наше время, это точно, что люди от веселья не хварывали, а нынче, брат, и радость-то словно не на пользу; везде ровно темнеть какая обстоит... Ты зачем?

– А вот-с, становым на всю жизнь осчастливили... желательно было бы от вас позаимствоваться-с...

– Спасибо. Спасибо тебе, что меня, старика, вспомнил. Это точно, что я напутствовать могу, потому я произошел... я много, брат, в жизни произошел! Плохо вот только мне; даже словно душит в груди... однако ничего, попробую...

– Вертоград этот, – начал Гегемониев, по временам прерывая рассказ свой удушливым кашлем, – вертоград, о котором мы будем беседовать, весьма необыкновенный. В самое короткое время, с небольшим в каких-нибудь сто лет, разросся, приумножился и изукрасился он преестественно.

Говоришь ты мне: «Становым на всю жизнь осчастливлен», а знаешь ли, что есть «становой»? Думаешь ты, может быть, что становой есть Потанчиков, есть Овчинников, есть Преображенский? А я тебе скажу, что все это одна только видимость, что и Потанчиков и Овчинников тут только на приклад даны, в существе же веществ становой есть, ни мало ни много, невещественных отношений вещественное изображение... шутка!

Скажу я тебе по этому самому случаю аллегию.

В молодых моих летах хаживал я, сударь, в школу и не мало-таки розгачей и мученических венцов, просвещения ради, принял. И сказывали нам тогда, как в старые годы отцы наши варягов из-за моря призывали и как варяги порядок у нас производили, и не обошлось тут без того, чтоб гости хозяев легонько не постегали.

И всему этому я, по невинности своей, в ту пору верил, и все это вышла, однако ж, одна новейшего произведения аллегория. Разберем это дело по пунктам.

Ну, скажи ты мне на милость, зачем было отцам нашим из-за моря варягов призывать, когда у нас и свои всегда налицо? И скажи ты мне еще, каким бы родом эти варяги, если бы это не была аллегория, могли и доселе все в том же виде остаться, без всяких в нравах и обычаях перемен? Это пункт первый.

Невинные рассказы. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru
Второй пункт: «Земля наша велика и обильна...» Если бы это не был вымысел, разве мог бы летописец таким образом выразиться? Разве не было ему известно, что, за тысячу-то лет, всю матушку-Русь на одну ладонку посадить, а другую прикрыть было можно? Что ж это значит? не то ли, что некто, взирая на нынешнее пространство России, увлекся восторженностью своей до того, что даже забыл, что пишет о временах давно прошедших? Ясно?

Третий пункт: «а порядку в ней нет...» Что сей сон значит? А значит это, что вообще порядку нет и не может быть, пока три брата в надлежащую ясность дела не приведут. Стало быть: «приходите княжить и володеть нами»... Ну и пришли. Пришли, сударь, три брата: первый-то брат – капитан-исправник, второй-то брат – стряпчий, а третий братец, маленький да востренький, – сам мусье окружной!

«Они же бояхусь звериною их обычая и нрава»... Это значит, что точно спервоначалу было им будто робостно, а после, однако, ничего: сжились да начали володеть и взаправду!

Ну-с, сударь мой, пришли, значит, три брата, а как земля наша велика и обильна, то и выходит, что им втроем управиться в этом изобилии стало совсем неспособно. И пошли у них братцы меньшие, примерно, хоть ты или я: чем больше порядку, тем больше братцев, и до того, сударь, дошло, что, кроме порядка, ничего у хозяев-то и не осталось. Где было жито – там порядок; где худоба всякая была – там порядок; где даже рожицы росли – и там завелся порядок. И стало, сударь мой, хозяевам куда как радостно: земля, говорят, наша хоть и не изобильна, да порядок в ней есть... резон!

Вот и выходит, что вся эта история одно инословие изображает, и если, примерно, тебя определяют теперь в становые, то ты так и знай, что ты тот самый Трувор и есть, о котором сказано, что для порядку призван.

А порядок что такое? А порядок есть такое всех частей вертограда сего соответствие, в силу которого всякому действию человеческому свой небуыственный ход заранее определяется. А небуыственность что? А небуыственность есть такое качество, в силу которого ты, человек простой, шагу без того сделать не можешь, чтоб перметте не сказать. В этом-то перметте и заключается вся сущность и сила, так как оно простирает свое домогательство ко всем действиям человеческим без изъятия. И так как обладатели его мы, три брата: Рюрик, Синеус и Трувор, то и выходит, что жизнь человеческая вся в наших руках совершается.

В былые времена, когда я к служебным сладостям еще приобщен был, действовали мы на этом поле очень удачно. Главное тут – воображение иметь, чтоб оно тебе на всякий час пищу для действия доставляло. Воображаю я, например, что ты фальшивую монету делаешь; воображаю я это не потому, чтоб ты в самом деле монету делал, а просто потому, что воображение у меня есть и никто для него предела не заказал. Хорошо. Вот беру я белый лист бумаги и изображаю на нем тако: «По дошедшим слухам, имеется подозрение, что такой-то Потанчиков занимается якобы деланием фальшивой монеты. Подтверждаются эти слухи частью необыкновенным образом жизни, который ведет Потанчиков (ибо в доме его по ночам весьма часто усматривается выходящий как бы из подполья тусклый свет), частью чрезвычайным появлением в сей местности фальшивых денег, преимущественно же тем, что жена Потаичикова, будучи такого-то числа на базаре, купила беличий салоп, причем похвалялась, говоря: «Скоро и не такой еще куплю!» А потому и т. д.». Все это, сударь мой, это я себе вообразил, и никакого огня, ни фальшивых денег не бывало. Однако тебе, Потанчикову, от этого не легче. Призываю я меньшого своего братца, который хоть и весь в меня, а считается будто твоим депутатом, и идем мы вместе к тебе с обыском. Супруга у тебя стонет, ребятушки зевают, собаки на дворе воют... ну, и одаряешь ты, сударь, нас по силе-возможности – только, мол, отвяжитесь, ради Христа!

Ты, дружище, пойми это, что в тебе и начало, и середина, и конец человеческого существования заключается. Ты, сударь, истинную веру охраняешь, ты уважение к властям посеваешь, ты здоровье, благоденствие и продовольствие всюду распространяешь, ты от глада и града, от труса и наводнения, от мора и поветрия сирых и беспомощных освобождаешь! И все ты один, становой пристав Никанор Перегринов Потанчиков, у которого под началом единый писец состоит да десятка два-три сотских! Мало того: потребуются начальству птицу финик ссыпать – ты и птицу сыщешь! потребуются статистике сочинить – ты и статистику сочинишь! Ты всеми добродетелями и науками от бога награжден должен быть: ты и хозяин добрый,

Невинные рассказы. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru и сыщик злохитрый, и химик изрядный, и статистик урожденный! А так как ты всего этого, по ограниченности природы человеческой, исполнить не в силах и так как про эту твою ограниченность и начальству, яко из человеков же состоящему, неизвестно, то какое из сего прямое следствие истекать должно? А то следствие, что ты если не дело делать, так, по крайности, выгоды свои должен соблюсти!

Это тебе философия, а вот и практика. Прежде всего помнить ты должен, что всякая статья должна, по силе-возможности, сок дать, чтоб жажду твою утолить и гладного тебя накормить. Поначалу оно будто робостно, а по времени в такой вкус и азарт войдешь, что словно вот соловей: поешь и сам себя даже не чувствуешь... Пробовал я тоже и зарок на себя класть: буду, мол, сидеть смиренно, – так нет, никогда больше двух суток воздержаться не мог! Потому, во-первых, что я своему телу разве враг? А во-вторых, и потому, что есть, сударь, в нашем ремесле притягательная сила, против которой хоть будь ты семи пядей во лбу, – не устоишь! И томит тебя, и душит, и подымает всего... покуда свой натуральный круг действия не совершишь!

Одно нашего брата губит – это питье безмерное. Залезешь это в трущобу, театров нет, балов не имеется – и пошел курить! Слоняешься иной раз по дорогам и в слякоть, и в стыть; и в глаза-то тебе хлещет, и сквозь-то тебя пронимает – ну, и воскликнешь: «жажду!». Иной раз сутки целые слова путем не вымолвишь; все или молчишь, или ругаешься – ничего для души нет... Другие, женившись, думают себя соблюсти, так слушай ты меня: не верь тем, кто тебя этим предметом соблазнять будет! Наш брат опричник на все должен быть готов: и в болоте увязнуть, и от меча погибнуть, и от пламени огненного сгореть. Стало быть, зачем тут жена? Затем разве, чтоб руки тебе связать да трусостью сердце твое обуять? Ты пойми это, что в нашем ремесле ты осторожностью да выжиданием ничего не возьмешь; а ты коли хочешь пользу иметь, так жест у тебя должен быть вольный, широкий, чтоб и вдоль забирал, и поперек захватывал, да и вглубь и ввысь и рвал и метал... Зачем тут жена?

А все-таки надо правду сказать: хоть ты бейся, хоть не бейся, а как придется концы с концами сводить, в результате все ничего и очень мало выходит... Вот и я, например... я ли, кажется, не поревновал, а все под старость голову приклонить негде! Хоть и сказал в ту пору его превосходительство, хлопнувши меня по животу, что тут, мол, все курочки да гусочки хапаные сидят, а ведь, коли по совести-то сказать, какие же это курочки? Наши, брат, курочки русские: худенькие, маленькие да жиденькие – в силу ими насытиться. Вот тех бы индюшек попробовать, которые к его превосходительству на стол от откупщика подаются, ну, тогда точно: вышли бы мы и телом побелее, и ростом поавантажнее... Так вот и смекай ты, как в свете жить, беспечальну быть!

Однако сытым быть можно. Главное, мнение надо в себе победить, кичливость плотскую смиренномудрию духовному покорить, а пуще всего под суд не попадать, потому что в уголовную хоть и однажды попадешь, однако после того всю жизнь будешь счастлив, все равно как бы на затылке тебе кожу взрезали или на лбу клеймо напечатали. А наш брат как дорвется до теплого местечка, так не то чтоб смелостью, а больше озорством действует: я-ста да мы-ста – ну, и разбросает все зря: того ему не надо, то для него презрительно... А ты, коли хочешь невредимым быть, все бери, ничем не брезгуй, да не плюй в бороду-то, не плюй! а пуще ее погладь, потому что и жизнь-то твоя вся в бороде заключается.

И еще: его сивушество иерусалимского князя Полугарова паче звезд уважай. Помни: он по всей земле, всех кабаков, выставок всерадостный обладатель и повелитель... кто ж ему равен?

Итак, сударь, ты от меня напутствован. Иди же ты с миром и не сомневайся... А меня оставь... потому что я умирать хочу!

ЗУБАТОВ

Генерал Зубатов, бог ему судья, не очень-таки долюбивал меня. «У вас, – говорит, бывало, – слишком голова горяча, милостивый государь, – вы диалектике, милостивый государь, предаетесь!.. служба требует дела, а не соображений, милостивый государь!.. она требует фактов, фактов и фактов!»

И все этак строгим манером.

И держал он меня, по случаю диалектики, в великом загоне; пройти, бывало, по

Невинные рассказы. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru
улице совестно; словно и заборы-то улыбаются и шепчут тебе вслед: «Диалектик, диалектик, диалектик!»

А под диалектиком разумел Семен Семеныч отчасти такого человека, который пером побаловать любит, отчасти такого, который на какой-нибудь официальный вопрос осмеливается откликнуться «не могу знать», а отчасти и такого, который не бежит сломя голову на всякий рожон, на который ему указывают.

К балующим пером Семен Семеныч адресовался обыкновенно следующим образом:

– Что вы мне, милостивый государь, там рассказываете? Какие вы там нашли еще препятствия? Разве вам велено вникать в препятствия? Разве вас об этом спрашивают? Я, милостивый государь, тридцать пять лет служу и, благодарение богу, никогда никаких препятствий не видал!

– Помилуйте, ваше превосходительство, ведь это все равно что на камне рожь сеять...

– Ну, что ж-с!.. и посеем-с!..

– Да ведь рожь-то не вырастет!

– Вырастет-с! а не вырастет, так будем камень сечь-с!

– А она и от этого не вырастет!..

– И опять будем сечь-с! нам до этого дела нет, что можно и что нельзя... а мы будем сечь-с!

К «немогузнайкам» Семен Семеныч обращался так:

– Что вы мне там доносите и два и три? вы должны сказать мне прямо или два, или три... служба не терпит этой неопределенности...

– Осмелюсь доложить вашему превосходительству, что...

– Знаю я это, милостивый государь, очень знаю... но ведь мне нужны не «или» ваши, а настоящая цифра, потому что я эту цифру должен в ведомости показать, и итог... да, и итог, сударь, подвести!.. в какую же силу я ваше «или» тут сосчитаю?..

Но всего более антипатичен был для него третий сорт диалектиков.

– Я вам приказал, сударь... почему вы не исполнили? – говорил он им, принимая самые суровые тоны.

– Так и так, ваше превосходительство, я был на месте и убедился, что указываемый вами рожон совсем не рожон...

– А разве об этом вас спрашивали? а знаете ли вы, милостивый государь, что за подобные рассуждения в военное время расстреливают?

И так далее, в том же тоне и духе. Одним словом, генерал любил, чтоб чиновник смотрел у него весело, не рассуждал и тем менее противоречил, не сомневался, не провидел и на ногу был легок.

И вдруг, в одно прекрасное утро, он задумался. Долго он думал и сначала, по-видимому, скорбел и вздыхал, но наконец приятная улыбка озарила уста его.

– А что ж, – сказал он, – в самом деле! надо же и им дать вздохнуть... трудненько оно будет... правда... а впрочем, что за вздор – не боги же горшки обжигали!

В этот же день я был приглашен к его превосходительству и удивлен следующей речью:

– Вот, любезный друг, – сказал он мне ласково, – оказывается теперь, что мы с вами до сих пор спали, то есть не то чтоб совсем спали, а так, знаете, скользили по поверхности... составляли там ведомости... наблюдали, чтоб входящие и исходящие не были закапаны... Выходит, что все это было не нужно... д-да!

Невинные рассказы. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru

– Д-да! – повторил я в изумлении.

– Выходит, что от этого у нас и торговля не развивается... и фабрик нет... и богатство народное... тово...

Я видел по его лицу, как все эти непривычные выражения мучительно зарождались в его голове и еще мучительнее сходили с языка.

– Выходит, нам надо теперича заняться настоящим делом! – сказал он решительно.

– Слушаю-с, ваше превосходительство!

– Да; теперь это нужно... теперь вот и Европа на нас посматривает... ну, да и время совсем не то! ведь, в самом деле, как подумаешь, что значит время-то!

Генерал улыбнулся и начал загонять ногою в угол валявшуюся на полу бумажку.

– Вот хоть бы вчера, – продолжал он, – ведь как казалось все гладко, все прекрасно... плыли мы, можно сказать, по океану и воды даже под собой не слышали... а нынче...

– Отчего же, однако, вашему превосходительству кажется, что нынче все изменилось?

– Да нет! неужто ж вы этого не чувствуете? ведь пора же, пора нам наконец сбросить с себя это скифство!.. надо же и нам когда-нибудь стать в уровень с Европой... ведь этак мы того дождемся, что нас поместят в число пастушеских народов!.. И дождались бы!

Глаза Семена Семеныча сверкнули гневом.

– Разве ваше превосходительство получили какие-нибудь известия из Петербурга? – спросил я робко.

– Нет, вы меня не понимаете! Я просто убедился, что не может это так оставаться, и потому на первый раз призывал уж нынче частного пристава Рогулю и сказал ему, чтоб он отнюдь не смел волюшкам давать... потому что ведь это, наконец, нельзя же: все в рыло да в рыло!

При этих словах я вспомнил, что действительно Рогуля еще утром приезжал ко мне весь встревоженный и объявил, что его превосходительство находится в восторженном состоянии.

– А что? – спросил я.

– Да помилуйте, – отвечал он, – чуть свет меня поднял... я думал, что какое-нибудь упущение или пожар... скажу, и что же-с? «Я, говорит, затем тебя призвал, чтоб напомнить, чтоб ты не дрался, а действовал кротостью и собственным примером; если ж ты будешь драться, так я тебя, подлеца, самого таким образом откатаю, что ты три дня садиться не будешь»... посудите сами, ваше высокоблагородие!

В ту минуту я не разобрал хорошенько этого обстоятельства и даже утешал Рогулю, что, должно быть, его превосходительству во сне что-нибудь нехорошее привиделось; но теперь... теперь я сам начинал догадываться, что тут действительно есть какой-то пункт, который не далее как в прошедшую ночь зародился в голове его превосходительства, но к утру вырос и распространился вширь с погибельною быстротой.

– Я и прежде всегда утверждал, – ораторствовал между тем его превосходительство, – что не нужно слишком натягивать струны... потому что, вы понимаете, мы, наконец, отупели с этим натягиванием.

Семен Семеныч взглянул на меня, как бы вызывая на размышления; но я стоял сконфуженный и подавленный; мой нос инстинктивно нюхал в воздухе, глаза сами собой устремлялись на барометр, как бы ища опоры для объяснения этой внезапной перемены.

Невинные рассказы. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru
– Так вы, пожалуйста, займитесь, – продолжал генерал, – надо нам... тово... идти рядом с веком...

– Что же прикажете, ваше превосходительство?

– Ну, да вы меня понимаете... я бы хотел, чтоб этак тово... новенькое что-нибудь... Знаете ли что? – прибавил он весело, как бы озаренный внезапной мыслью, – устроимте-ка здесь биржу!

– То есть как же биржу?

– Ну да, биржу... как в Петербурге или вот в Москве... Теперь у нас все это в младенчестве... они все сделки свои в трактире за парой чая делают... Ну, а если мы заведем биржу, торговля-то, знаете ли, как двинется вперед!..

– А если купцы на биржу не станут ходить?

– Надобно, *mon cher*, [1] на первое время сделать для них обязательным, чтоб ходили... потому что иначе какие же могут быть у нас усовершенствования?

– Это точно, ваше превосходительство!

– Ну, так вы, стало быть, займетесь этим?.. Кстати! Анна Ивановна жалуется мне, что вас давно не видать у нас... так приходите сегодня обедать... запросто!

Само собою разумеется, что я не позабыл о приглашении и ровно в три часа был в гостинной Зубатовых.

Но, к величайшему моему удивлению, я нашел Анну Ивановну в столь же восторженном настроении духа, как и Семена Семеныча. В то время, как я вошел в гостиную, она вела оживленную беседу с товарищем председателя уголовной палаты Семионовичем.

– Согласитесь, однако ж, со мной, что тут еще многое остается сделать, – говорила она, – *мосье Щедрин!* вы, я надеюсь, поддержите меня...

– Но позвольте, Анна Ивановна, – вступился Семионович, – вы напрасно думаете, что я принадлежу к числу отсталых. Я полагаю, что нам следует только объясниться, и все недоразумения устроятся сами собою...

– *C'est inouï ce que nous avons souffert!* [2] – продолжала Анна Ивановна, обращаясь ко мне. – Изумительно даже, как могли мы дышать!

«Кроткая *Annette!* что с тобой сделалось! что с тобой сделалось! – подумал я, переходя от изумления к совершенному остолбенению, – ты, которая до сих пор позволяла себе думать только о наслаждениях предстоящей минуты, ты, которая смотрела на жизнь как на ряд милых и грациозных сцен, вроде пословиц Альфреда Мюссе, ты ожесточена, ты говоришь о какой-то духоте, о каких-то прошедших страданиях... Боже!»

– Вот это-то именно и есть единственный пункт, насчет которого я несколько расхожусь с вами, Анна Ивановна, – возразил между тем Семионович, – я нахожу, что страдание – самая лучшая школа жизни... Недаром великий поэт сказал:

Но не хочу, о други, умирать,
Я жить хочу, чтоб мыслить и страдать...
стало быть, страдание не совсем-то дурная вещь... стало быть, в страдании возможно даже своего рода наслаждение, которое высоко ценится знатоками!..

– Не знаю; быть может, я не принадлежу к числу знатоков, но, признаюсь вам, я не охотница до страдания... Мне кажется так приятно, так легко, когда меня никто не беспокоит, *si l'on me laisse jouir en paix de mon existence...* *n'est-ce pas*, [3] *мсье Щедрин?*

– Нет сомнения, что жить спокойно гораздо приятнее, нежели пользоваться тревогами, – отвечал я.

– Но я и не утверждаю, что страдание должно быть нормальным состоянием человека, – возразил Семионович, – я говорю только, что страдание – школа, и надеюсь, что

Невинные рассказы. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru самое это слово доказывает, что здесь идет о нем речь, как о мере временной, преходящей, о той мере, про которую говорит поэт:

Ведь в наши дни спасительно страданье...

– Я надеюсь, что мы с честью выйдем из этой школы, – сказала Анна Ивановна, – хотя, признаюсь вам, на первый раз это будет ужасно трудно... nous sommes encore si peu habitués de jouir des bienfaits de la civilisation...[4] я сегодня утром говорила с мужем: это ужас, сколько надобно сделать... il faut faire ceci et cela...[5] везде, куда ни обернитесь, везде надобно снова начинать...

– Да, это так, – отвечал Семионович задумчиво, – не знаю... я как-то опасаюсь... мне все кажется... que nous n'avons pas assez de forces... que nous succomberons à la tâche, en un mot![6]

– О, это опасение совершенно напрасное! puisque au fond le peuple russe est avant tout un grand peuple... C'est une justice, que l'Europe entière se plaît à lui rendre...[7]

– А! здравствуйте! об чем это вы так горячо тут спорите? – прервал Семен Семеныч, входя в это время в гостиную и подавая поочередно всем нам руку, чего прежде никогда с ним не случалось.

– Продолжение давишнего разговора, ваше превосходительство, – отвечал я.

– А! это любопытно!

– Вот мсье Семионович находит, что мы недостаточно созрели, – отозвалась Анна Ивановна.

– То есть для чего? – спросил генерал.

Анна Ивановна затруднилась; она была вполне уверена, qu'il s'agit d'une très bonne chose, [8] но как называется эта chose, [9] не знала. А впрочем, что мудреного: может быть, так она и называется... chose! Семионович, однако ж, вывел ее из затруднения.

– Мы не поняли друг друга, Анна Ивановна! – сказал он несколько обиженным тоном, – мое воспитание... мое прошедшее, наконец... все это достаточно говорит в мою пользу... Поверьте, я не принадлежу к числу отсталых!

– Ну да, ну да! – сказал Семен Семеныч, – нынче уж оно и не ко времени!

– Я говорю только, что наше перерождение достанется нам не без труда!

– О, насчет этого я совершенно с вами согласен... я, например, придумал теперь одну штучку. Конечно, это будет очень полезно... однако и за всем тем не могу поручиться, чтоб она принялась так, как было бы желательно!

– Позволено ли будет узнать, ваше превосходительство, в чем заключается ваше намерение? – спросил Семионович.

– Так... я хочу... биржу здесь устроить! – отвечал генерал с тою поспешностью и вместе усилием, которыми всегда сопровождается желание высказаться как-нибудь понебрежнее. При этом он, неизвестно от каких причин, застыдился и покраснел.

– Vous n'avez pas l'idée, comme ils nous trompent, ces marchands![10] – вступилась Анна Ивановна, – а тогда мы будем все на бирже покупать!

– Ты мне, мамаша, на бирже новую курточку купишь! – пролепетал маленький сынок Анны Ивановны, прислушавшись к разговору.

– Извините меня, Анна Ивановна, – заметил Семионович, пользуясь случаем, чтоб отмстить генеральше за предположение об его отсталости, – но мне кажется, что вы не совсем верно смотрите на значение биржи...

– Ну да, ну да, – сказал генерал, снисходительно улыбаясь, – эти дамы только и думают, что о нарядах... Они даже на переворот готовы смотреть с точки зрения

Невинные рассказы. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru
тряпок... ха-ха!

– А впрочем, мысль Анны Ивановны об устройении такого магазина, который представлял бы все ручательства относительно добросовестности и дешевизны, тоже весьма счастливая мысль, – возразил Семионович, спеша на помощь подломившейся на льду либерализма генеральше и таким образом умеряя язвительность великодушием.

– Mais... n'est-ce pas?[11] – сказала Анна Ивановна, отдыхая.

Известие, что готово кушать, прекратило на время разговор, но за обедом он возобновился с новою силою. И генерал и генеральша так увлекательно доказывали необходимость оставить рутину и идти новыми, неизведанными доселе путями, что даже суровый Семионович согласился, qu'au fait il y a quelque chose à faire.[12] Я и сам чувствовал, что в воздухе была разлита какая-то непривычная теплота, что по временам моего обоняния касались живительные ароматы, что кровь с усиленною быстротой прилиwała к голове и сердцу...

Но не могу не сознаться, что все это происходило как будто во сне и что самые звуки говоривших кругом меня голосов ложились в мой слух как-то смутно, неопределенно.

– Прежде всего надо позаботиться о торговле, – говорил генерал, – потому что торговля – это нерв...

– Да... и железные дороги, – сказал Семионович, – вот где для нас предмет первой важности! пространство нас одолевает, ваше превосходительство, наша собственная карта нас давит!

– Ну, с этим как-нибудь справимся, с божьей помощью! – рассудил генерал.

– Однако ж... это ужасно... сколько приходится сделать! – задумчиво продолжал Семионович, внезапно всем телом вздрогнув.

– Еще бы! – заметила генеральша.

– Вы забыли еще о грамотности, – отозвался генерал и, обращаясь ко мне, присовокупил: – Кстати, чтоб не забыть! не худо бы нам с вами и насчет этого что-нибудь... знаете, в таком же роде...

– Позвольте, однако ж, ваше превосходительство, – возразил Семионович, – мне кажется, что грамотность... я думаю, что для этого у нас еще почва недостаточно, так сказать, взрыхлена?

– Да, признаюсь вам, я и сам так думал прежде... но теперь... Я скорее склоняюсь в пользу того мнения, что тут совсем никакой почвы не надобно.

– Однако ж, ваше превосходительство, специалисты на основании достоверных фактов утверждают, что на пятьсот грамотеев двести непременно оказываются негодьями... как хотите, а эта пропорция...

– Мамаша! я не хочу учиться... я не хочу сделаться негодяйкой! – неожиданно закричал сынок Семена Семеныча.

– Полно, душечка, это о мужичках говорят! – утешала его Анна Ивановна.

– Коли хотите, и я в душе с вами согласен, – продолжал между тем Семен Семеныч, – но...

Генерал развел руками, как будто хотел сказать: Que voulez-vous que je fasse![13]

Много и еще было говорено разных умных речей, и всякий раз, когда кому-либо из собеседников приходила счастливая мысль, генерал обращался ко мне и говорил: «Кстати, чтоб не забыть! не мешает и на это обратить серьезное внимание!»

Читателю, быть может, странным и невероятным покажется, что большая часть моих героев словно во сне или в тумане действуют. В справедливости этого замечания должен сознаться я и сам, но что же мне делать, если таково вообще

Невинные рассказы. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru
свойство всех умирающих людей? От умирающего нельзя требовать ни последовательности в суждениях, ни даже совершенно округленных периодов для выражения последних; все их мысли, все их чувства представляются в виде каких-то клочков, в виде ничем не связанных отрывков, в которых мысль и чувство являются в состоянии почти эмбрионическом. К сожалению, я должен сказать здесь, что мир полон такого рода умирающих; между ними очень мало злых и очень много недалёковидных. Вообще я убежден, что на свете злые люди встречаются лишь случайно; в существе, они те же добряки, только кожу у них судьба-индейка стянула, рыло перекосила и губы помазала желчью. Да и то, по большей части, от своей собственной глупости люди делаются злыми, потому что умный человек сразу поймет, что злиться не из чего, да и не расчет. Что же касается до недалёковидных людей, то это точно, что ходят в народе слухи, будто их немало по белу свету шатается; однако не могу скрыть, что я очень редко встречал таких, которые бы откровенно признавали себя дураками. Напротив того, обыкновенно случается так, что, например, Петр Иваныч, встретивши друга своего, Ивана Петровича, и поговорив с ним немного, уже восклицает мысленно: «Господи! да как же глуп Иван Петрович... неужто он этого не знает!» А Иван Петрович в это самое время, в свою очередь, тоже мысленно восклицает: «Господи! да как же глуп Петр Иваныч... неужто он этого не знает!» И выходит тут в некотором смысле таинственно-духовный маскарад. Но, прося у читателя извинение за такое отступление, спешу продолжать рассказ мой.

На другой день я получил от Семена Семеныча записку. Очевидно, мысль о новом характере, который должна была принять его деятельность, до такой степени жгла его, что он не мог выносить даже малейшую медленность в этом отношении. Казалось, он в одну минуту хотел облагодетельствовать всех и каждого и преисполнить край плодами цивилизации. В записке было изображено:

«Виды и предположения:

- 1) Биржа. Правильность торговли. Огромные запросы и так далее. Развить.
 - 2) Грамотность. Смягчение нравов. Уменьшение преступлений. Облегчение обязанностей полиции и т. д. Развить.
 - 3) Пути сообщения, а буде можно, то и железные дороги. Сколько средним числом провозится ежегодно товаров до Н. пристани? Развить.
- 23
- 4) фабрики и заводы. Польза от них. Средства к достижению сего: поощрения и награды. (Известно, что русские купцы и т. д.) Развить.

Весьма обяжете, ежели все сие исполните в возможно непродолжительном времени».

Прочитав эту записку, я струсил. С одной стороны, меня, конечно, соблазняла красивая сторона предприятия; с другой, я не мог не испугаться его огромности. Но напрасны были мои опасения. Генерал был так добросовестен, что счел необходимым, предварительно принятия решительных мер относительно развития торговли и промышленности, посоветоваться об этом с почетнейшими лицами торгующего сословия. Эта добросовестность испортила, однако ж, все дело. При первом намеке на возможность учреждения биржи купцы попадали в обморок, несмотря на то что все они были телосложения необыкновенно крепкого и с честью выдерживали самые побои.

– Что-о? – сказал Семен Семеныч грозно, – стало быть, вы сопротивляться задумали?

– Помилуйте, ваша милость, уж очень это будет для нас обидно, – отвечал один из купцов, прежде всех очнувшийся, – нельзя ли вместо биржи-то просто чем ни на есть обложить нас на общепольное устройство?

– Что-о? ты что за выскочка? и как ты смеешь за всех говорить?.. Николай Иваныч, запишите его фамилию!

Между торговцами воцарилось молчание; передняя шеренга держала руки по швам.

– Так вот, друзья мои, – продолжал Семен Семеныч, – вы слышали мои слова, знаете

Невинные рассказы. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru
мои желания... остается, следовательно, изыскать средства к приведению их в исполнение... Конечно, некоторые из вас, как видно, еще не понимают намерений, которые клонятся единственно к вашей же пользе, но само собой разумеется, что это не должно останавливать ни меня в моих предположениях, ни вас в содействии к выполнению их.

Сказав это, Семен Семеныч удалился, и долг справедливости заставляет меня сказать, что он не только не дрался в этом случае, но даже и за бороду никого не вытряс.

Но дело не удалось. Купцы, оставленные на произвол судеб, без кормила и весла, объявили, что для них затея Семена Семеныча слишком обидна, чтоб они решились сами на себя руку наложить.

– Ну что, как наше дело? – спросил меня генерал, когда я, после продолжительного совещания с обществом, явился к нему с отчетом.

– Не соглашаются, ваше превосходительство!

– Гм...

Глубоко опечаленный генерал стал лицом к окну и долго безмолвствовал. По временам до слуха моего долетали звуки, несомненно доказывавшие, что его превосходительство барабанил в это время пальцами по стеклу.

– Напрасно, ваше превосходительство, совещались с ними, – сказал я, сгорая желанием утешить Семена Семеныча, – эти вещи надо делать секретно от них, так чтоб они не опомнились...

Семен Семеныч повернулся ко мне и с чувством пожал мне руку.

– Вы правы, – сказал он взволнованным голосом.

– Они, ваше превосходительство, своей пользы понимать не могут, – продолжал я, увлекаясь преданностью к особе моего начальника.

– Вы правы, – повторил генерал.

– Такого рода предположения всего удобнее приводить в исполнение посредством полиции, – снова начал я.

– Вы правы... да, к несчастью, вы совершенно правы!

– Если они не понимают своих выгод, то весьма естественно, что нужно делать им добро против их желания...

– Это совершенно справедливо... но... К сожалению, я должен сказать вам, *mon cher*, что время нынче такое... велено все кротостью да благоразумными мерами распорядительности... Ах, друг мой, ремесло администратора становится слишком тяжело, и если бы я не любил мое отечество (Семен Семеныч махнул рукой)... давно бы пора на покой старые кости сложить!..

– Прикажете продолжать настаивать? – спросил я.

– Нет, уж зачем... оставимте их в покое... пусть делают, как знают!.. Горько, Николай Иванович!

Разговор на этот раз прекратился, но не прекратилась благонамеренная деятельность Семена Семеныча. Проекты следовали за проектами, и в нашей маленькой канцелярии закипела непривычная и небывалая дотоле жизнь.

Но увы! – ни проект о распространении грамотности, ни проект о путях сообщения – ничто не удавалось, несмотря на таинственность и тишину, среди которых они вырабатывались. Проекты эти похожи были на те объявления о новоизобретенных средствах против моли и клопов, которые (то есть средства) так удачно действуют на бумаге, в действительности же бессильны убить самого тощего и изможденного клопа.

Невинные рассказы. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru
Семен Семеныч сделался скучен. Уныло ходил он целые дни по кабинету, заложив руки за спину и грустно покачивая головой. С ужасом сознавал он, что месяц тому назад он был совершенно бодр и деятелен, был распорядителен и исполнительен в одно и то же время, одним словом, способен и достоин, а теперь... теперь, когда наступило, по-видимому, «благорастворение воздухов и изобилие плодов земных», он вдруг, без всякой видимой причины, оказывается чуть-чуть не злостным банкротом... ужасно! Все, что он ни придумает, звучит пусто, словно лукошко, у которого вышибли дно; все, за что он ни возьмется, отзывается мертвечиной. И ему внезапно стало так тошно и несносно жить на свете, что не мила казалась Анна Ивановна, не радовал милый сынок Сережа, а меня не мог он даже видеть без некоторого озлобления, потому что я являлся хотя и неумышленным, но тем не менее горьким и постоянным свидетелем его неудач.

Однажды утром я получил от Анны Ивановны приглашение пожаловать к ней как можно скорее. Я застал ее заплаканною и расстроенною.

– Вы не знаете, какое нас постигло несчастье, – сказала она, – Simon! бедный Simon!

– Что такое, Анна Ивановна? – спросил я встревоженный.

– Ah, mais voyez plutôt vous-même, cher[14] Николай Иванович!

С этим словом она отворила дверь в кабинет Семена Семеныча, и странное зрелище представилось глазам нашим. Семен Семеныч сидел за письменным столом и чертил на бумаге чудовищный пароход; волосы его были растрепаны, в глазах блуждал дикий огонь.

Я тотчас же понял ужасную истину: нет сомнения... генерал лишился рассудка!

– А! – воскликнул он, увидев меня, – ну, теперь, кажется они не отвертятся от меня... я все обдумал!

– Simon! успокойся, друг мой! – убеждала Анна Ивановна.

Семен Семеныч сделал рукой движение, как будто хотел отогнать докучную муху.

– Я надеюсь, что начальство оценит труды мои, – сказал он с какой-то блаженной улыбкой, – скоро будет святая, и тогда...

Он показал на левую сторону груди.

– Это несомненно, ваше превосходительство, но в настоящее время вам больше всего нужен отдых, – заметил я.

– Убедите, убедите его, Николай Иванович! – умоляла Анна Ивановна, – Simon! тебе следует почивать!

Генерал снова сделал движение рукой.

– А не правда ли, что я много на свою долю потрудился? – сказал он, – вы, Николай Иванович, видели, вы можете засвидетельствовать перед всеми, что я именно был неусыпен!

Анна Ивановна всхлипывала; Семен Семеныч, глядя на нее, тоже не выдержал и залился целым потоком слез. Положение мое было весьма тяжело.

– Друзья мои! – сказал генерал, рыдая, – я умираю! я умираю, потому что много трудился! Если б я меньше заботился, а больше гулял, меньше вникал и больше кушал, я остался бы жив!

ПРИЕЗД РЕВИЗОРА

I

В 18** году, декабря 9 числа, статский советник Фурначев получил из С.-Петербурга, от благоприятеля своего, столоначальника NN департамента, письмо следующего содержания:

«Милостивый Государь!

Семен Семеныч!

Поспешаю почтеннейше известить вас, что в непродолжительном времени имеет быть к вам на губернию статский советник Максим Федорович Голынцев. Будет у вас под предлогом освидетельствования богоугодных заведений, в действительности же для доскональных разузнаний о нравственном состоянии служащих в вашей губернии чиновников. Качества Максима Федоровича таковы: словоохотлив и добросердечен; любит женский пол и тонкое вино; выпивши, откровенен и шутив без меры; в особенности уважает людей, которые говорят по-французски, хотя бы то были даже молокососы; в карты играет, но насчет рук и так далее – ни-ни! Засим, вверяя себя и свое семейство вашему неоставлению, прошу вас принять уверение в совершенном почтении уважающего вас

Филиппа Вертявкина.

Р. S. Милостивой государыне Настасье Ивановне от меня, от жены и от всех детей нижайшее почтение.

NB. Еще любит Г., чтоб его называли «вашим превосходительством». Чуть не забыл».

– Однако это скверно! – говорит статский советник Фурначев, прочитавши письмо, – что бы такое значило: «насчет рук ни-ни»? Ведь это выходит, что он... ни-ни!

Семен Семеныч в волнении ходит по комнате и, наконец, кричит в дверь:

– Настасья Ивановна! Настасья Ивановна!

Входит Настасья Ивановна, облаченная в глубокий неглиже. Глаза ее несколько опухли, и вообще выражение лица сердито, потому что она только что часок-другой соснула. Семен Семеныч посмотрел на ее измятое лицо и с досадою плюнул.

– Опять ты спала! – сказал он, глядя на нее с глубоким омерзением, – хоть бы ты в зеркало, сударыня, посмотрела, на что ты сделалась похожа! И откуда только сон у тебя берется!

– Если вы только за тем меня позвали, чтоб ругаться, так напрасно трудились!

Настасья Ивановна хочет удалиться.

– Да постой, постой же, сударыня! получил я сегодня письмо... едет к нам ревизор... и, как видно, неблагонамеренный... потому что тово... ни-ни...

Семен Семеныч топчется на месте и не знает, как выразиться. Он убежден, что ревизор человек неблагонамеренный, но почему-то не умеет сформулировать оснований, на которых зиждется это убеждение.

– Так вы тово... поприоденьтесь немного! – продолжает он, совсем спутавшись.

– Вот как вы испугались, что уж и бог знает что говорите! – замечает Настасья Ивановна, читая письмо Вертявкина, – точно уж и приехал ваш ревизор! Однако я по всему вижу, что он должен быть очень милый человек, этот ревизор, потому что любит дамское общество!..

– Да, только не наше с вами... эй, человек! лошадь!

Семен Семеныч отправляется к генералу Голубовицкому и застает его в большом беспокойстве. До сведения его превосходительства дошло, что один из важнейших в городе чиновников, будучи на собственном своем сговоре, происходившем по случаю предстоящего бракосочетания его с дочерью потомственного почетного гражданина Хрептюгина, внезапно вскочил из-за стола и начал бить стекла в окнах беломраморного зала нареченного тестя.

– Ты это что, ваше высокородие, делаешь? – спросил его изумленный хозяин.

– А вот я таким манером всех проявляющихся мне сокрушаю! – отвечал жених и с этими словами вышел из дома.

Невинные рассказы. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru
Встревоженный генерал большими шагами ходит по комнате. Он справедливо рассуждает, что если высшие сановники, эти, так сказать, административные дупельшнепы, в порывах горячности допускают себя до подобного малодушества, то каким же образом должны поступать зуйки, поручейники кулички и прочая мелкая болотная дичь?

– А мы еще как радовались за Павла Тимофеича, что они такую прекрасную партию делают! – замечает стоящий в углу маленький чиновничек, занимающий должность доверенного лица при особе его превосходительства.

– Что ж, пьян, что ли, он был?

– Должно быть, не без того-с, ваше превосходительство; они, смею вам доложить, довольно-таки этому привержены... только все больше в одиночестве занимаются-с и велят себя в этих случаях запирать... Ну, а тут и при народе случилось...

Генерал продолжает ходить и волноваться.

– И еще случай есть, ваше превосходительство, – робко говорит чиновник.

– Ну, что там еще?

– В Песчанолесье стряпчий с городничим-с... тоже на именинах дело было-с...

– Нельзя ли докладывать скорее, без мазанья!

– И стряпчий городничему живот укусил-с! – оканчивает скороговоркой чиновник.

– Господин Фурначев приехали, – докладывает лакей.

– Ну, этого зачем еще черт принес! – восклицает взволнованный генерал, – просить!

Семен Семеныч входит и улыбается. С одной стороны, он очень рад видеть его превосходительство в добром здоровье, с другой стороны, ему весьма прискорбно, что имеет сообщить известие, которого последствий никто, даже самый проницательный человек, предугадать не в силах.

– Да что же такое? неужто еще кто-нибудь подрался? – спрашивает генерал.

– Никак нет-с, ваше превосходительство, но наша губерния... впрочем, может быть, это и к лучшему-с...

– Да говорите же! что вы душу-то мне тянете!

– Ревизор, ваше превосходительство, ревизор к нам в скором времени прибыть должен!

При слове «ревизор» с генералом едва не делается дурно.

– Кто сказал «ревизор»? какой ревизор? откуда ревизор? – спрашивает он, вдруг весь вспыхнув и уже застегивая машинально пальто на все пуговицы.

– Успокойтесь, ваше превосходительство! – продолжает Семен Семеныч, – ревизор, сказывают, охотник больше до дамского общества...

– Гм... от кого же вы получили это известие?

– Есть в Петербурге один благодетельствованный мною столоначальник-с...

– Это неприятно! это тем более неприятно, что тут же разом случились две пасквильные истории... Скажите, пожалуйста, вы были у Хрептюгина в то время, как Павел Тимофеич стекла бил?

– Как же-с; я был в числе приглашенных...

– Что же такое с ним сделалось? Вот чего я понять не могу!

Невинные рассказы. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru – С Павлом Тимофеичем это нередко бывает, ваше превосходительство! только он до сих пор умел это скрыть-с. Сидели мы целый вечер, и все как будто ничего; и он тоже тут был – ну и тоже ничего-с... Только за ужином – должно быть, не присмотрели за ним, – вот он сначала хереску-с, потом мадерцы-с, да вдруг и встал из-за стола: «Музыканты! камаринскую!» – говорит. Я, видевши, что он уж вне себя, подозвал Хрептугина и говорю ему: «Ведь Павла-то Тимофеича надобно убрать!» Не успел я это сказать, как уж и пошел по зале набат-с... Впрочем, это еще, ваше превосходительство, уладится: Павел Тимофеич уж объяснился с нареченным тестем...

– Ну, а слышали вы другую историю – это еще почище будет: в Песчанолесье стряпчий городничему живот прокусил!

– Ах, страм какой!

– Расскажи-ка, братец, расскажи! – обращается генерал к доверенному чиновнику, – нечего сказать, хорош сюрприз для ревизора будет!

– Были они, – начинает чиновник, – на именованном вечере; только и начал стряпчий хвастаться: «Я, говорит, здесь все могу сделать!» Ну, городничему это будто обидно показалось; он возьми да и ударь стряпчего по лицу: «что-то, мол, ты против этого сделаешь!» А стряпчий, как ростом против городничего не вышел, впечился ему зубами в живот-с...

– Ах, страм какой! – повторяет господин Фурначев.

– И вот, после этого милости просим тут пользу какую-нибудь для края принести! – говорит генерал, разводя руками.

II

Весть об ожидаемом приезде ревизора мгновенно разнеслась по городу. У тех из чиновников, у которых всякое душевное волнение выражается трясением поджилков, таковое совершилось благополучно. Город оживился, но это оживление было какое-то бездушное, похожее на ту суету, которая начинется во всяком губернском городе с утра каждого высокотожественного праздника и продолжается ни более, ни менее, как до известного, судьбой определенного срока. Петр Борисыч Лепехин, охотник поиграть в двухкопеечный преферанс, внезапно вспомнил, что высшее начальство непоощрительно смотрит на такое невинное препровождение времени, и призадумался. Он почел долгом немедленно справиться об этом в Своде законов, и хотя ничего похожего на угрозу там не нашел, но на всякий случай, пришедши вечером в клуб, не только сам не торопился составить партию, но даже отказался наотрез от карточки, которую предлагал ему Порфирий Петрович.

Федор Герасимыч Крестовоздвиженский, пришедши в присутствие, потребовал немедленно к себе какие-то четыре дела («знаете: те дела, по которым...») и, обнюхавши их, вдруг пришел в восторженность, замахал руками и закричал: «Завтра же! сегодня же! катать их! под суд их!»

Иван Павлыч Вологжанин неумоимо начал разъезжать по всем знакомым и собирать полезные сведения о житье-бытье крутогорских обывателей, дабы, в случае надобности, преподнести этот букет господину ревизору и чрез то заявить свою деятельность и преданность.

В будку, которая с самой постройки своей никогда не видала будочника и оставлена была без стекол, поставили первого и вставили последние.

Пожарных лошадей выкормили, как индеек Ивана Ивановича. [15]

Словом, всякий готовился к принятию ревизора по-своему. Только частный пристав Рогуля оказал при этом твердость духа, достойную лучшей участи. Когда ему сказали, что будет, дескать, ревизор и не мешало бы по этому случаю поболее бодрствовать и поменьше спать, то он только поковырял в носу, испил квасу, до которого был большой охотник, и молвил:

– Знаем мы этих ревизоров! не первый год на свете живем!

Но самая хлопотливая и трудная часть деятельности выпала на долю генеральши Голубовицкой. Она кстати вспомнила, что бедные города Крутогорска что-то давно

Невинные рассказы. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru не получали никакого пособия и что такое благотворительное дело всего приличнее могло быть устроено в глазах ревизора. Поэтому на совете, составленном из лиц приближенных и известных своею преданностью, было решено: немедленно устроить благородный спектакль, а если окажется возможным, то и живые картины.

– Помилуйте, Дарья Михайловна! какие же могут быть у нас живые картины! вы посмотрите на наших дам! – возражает старинный наш знакомый, Леонид Сергеич Разбитной. [16]

Но Дарья Михайловна, которая имеет весьма развитой стан и вообще удачно сложена, настаивает на необходимости живых картин. Выбор останавливается на четырех картинах: «Рахиль, утоляющая жажду Иакова», «Любимая одалиска», «Молодой грек с ружьем», «Дон-Жуан и Гаиде».

– Я могу взять на себя фигуру Иакова! – говорит молодой товарищ председателя уголовной палаты, Семионович, и поспешно прибавляет: – А если угодно, то и Дон-Жуана...

Дарья Михайловна в недоумении. Семионович, без сомнения, очень достойный молодой человек и отлично знает уголовные законы, но, во-первых, он имеет привычку постоянно издавать носом какой-то неприятный свист, а во-вторых, и фигура у него какая-то странная, угловатая... очень будет нехорошо! Дарья Михайловне хотелось бы отдать эти две фигуры учителю гимназии Линкину, который имеет и все нужные для того качества и к которому она чувствует род тихой дружбы.

– Вы, мсьё Семионович, будете слишком утомлены спектаклем, – говорит она.

– Это ничего, – отвечает Семионович, – я работаю скоро и легко...

– Ну, Гаиде, Одалиска и Рахиль – об этих фигурах нечего и говорить! – вступается кругленький помещик Загржембович, – эти фигуры по праву принадлежат Дарье Михайловне; но кому отдать Ламбро?

– Архивариусу губернского правления! – предлагает Разбитной.

– Вы всегда с вашими шутками, мсьё Разбитной! – говорит Дарья Михайловна, – *messieurs*, [17] кто желает взять на себя Ламбро?

– Я бы охотно ее взял, – вступается Семионович, – но у меня Дон-Жуан!

– Так вы Дон-Жуана уступите... хоть мсьё Линкину!

– Признаюсь вам, для меня положение Дон-Жуана больше симпатично... тут есть страсть, есть жизнь...

– Зато Ламбро может одеться в красный плащ, – замечает весьма основательно Разбитной, – и тут может быть великолепный *effet de lumière*! [18]

– Итак, Дон-Жуан – мсьё Линкин, Ламбро – мсьё Семионович, – говорит Загржембович, – но здесь возникает вопрос, на счет каких сумм сделать костюм для Дон-Жуана, потому что мсьё Линкин не имеет даже достаточно белья, чтобы ежедневно пользоваться чистою рубашкой?

– Можно как-нибудь из благотворительных сумм, – отвечает Дарья Михайловна.

– Да кстати бы уж и рубашку ему чистую сшить, – прибавляет Разбитной, которому досадно, что Дон-Жуаном будет не он, а Линкин.

– Вы опять с вашими шутками, – сухо замечает Дарья Михайловна.

– Ну-с, хорошо-с; эта статья устроена; теперь кто же будет «Молодой грек с ружьем»?

Молодого грека должна взять на себя особа женского пола – это несомненно; ружье можно достать из гарнизонного батальона – с этой стороны тоже нет препятствия. Но кто же из крутогорских дам согласится изобразить фигуру, которая в некотором смысле делает ущерб общественной нравственности? Первое благо, которым должен обладать Молодой грек, заключается в большом и остром носе – кто из дам таковым

Невинные рассказы. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru обладает? Судили-судили, и наконец глас народный указал на коллежскую асессоршу Катерину Осиповну Немиолковскую, которая, имея точь-в-точь требуемый нос, охотно согласится облачиться и в противоестественный мужской костюм. Постановлено: отправить завтрашний день к Катерине Осиповне депутацию и усерднейше просить ее пожертвовать собой на пользу общую.

– Стало быть, живые картины улажены.. Что же касается до спектакля, *messieurs*, – говорит Дарья Михайловна, – то он будет составлен из следующих пьес:

В ЛЮДЯХ АНГЕЛ, НЕ ЖЕНА,

ДОМА С МУЖЕМ САТАНА

Комедия в 3-х действиях

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦАГ. Славский Мечислав Владиславович Семионович,

Г-жа Славская Аглайда Алексеевна Размановская,

Г-жа Трефкина Анфиса Петровна Луковицына.

34Г-жа Небосклонова Анна Семеновна Симиас.

Размазня Федор Федорович Шомполов (самородный комик, процветающий в палате государственных имуществ в должности помощника чего-то или кого-то).

Прындик Леонид Сергеич Разбитной.

Лакеи 1-ый } Экзекутор губернского правления Стуколкин.

лакей 2-ой

чиновник

Комедия в 1-м действии

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА: Княгиня Дарья Михайловна Голубовицкая.

Полковник Леонид Сергеич Разбитной.

Мисхорин Семен Семенович Линкин.

Надимов Мечислав Владиславович Семионович.

Дробинкин Федор Федорович Шомполов.

– Кажется, *messieurs*, таким образом будет хорошо? – прибавляет Дарья Михайловна, прочитав список ролей.

Все находят, что отлично.

– Теперь, господа, – вступается Семионович, – необходимо выбрать нам режиссера... Я предлагаю возложить эту обязанность на Алоизия Целестиновича Загржембовича.

– Аксиос! – возглашают преданные.

Алоизий Целестиныч кланяется и благодарит за доверие. Он дает слово, что употребит все усилия, чтоб оправдать столь лестное поручение.

– Алоизий Целестиныч! – говорит Разбитной, – вы не забудьте, что для Шомполова необходимо, чтоб на репетициях был ерофеич и колбаса.

Все берутся за шляпы и намереваются разойтись.

– Господа! господа? – возглашает Загржембович, – как режиссер, я должен вас остановить, потому что не решен еще один важный пункт: кто будет суфлером?

– Мамаса! – говорит младший сынок Дарьи Михайловны, – я хочу быть суфьеём.

Невинные рассказы. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru

- Нет, душечка, ты будешь казачком.
- я уз бый казачком, я хочу быть суфьеём.
- Ну, полно, душечка, ты будешь шоколад подавать!
- Я, господа, предлагаю выбрать суфлера из учеников гимназии: им часто приходится суфлировать друг другу!
- Великолепная мысль! вы золотой человек, Алоизий Целестинич.
- L'incident est vidé! [19] – восклицает Разбитной.

Все уходят, и Семионович, заранее предвкушая доставшуюся ему роль и искрививши судорожно рот, декламирует на лестнице: «И к горю моего звания, я должен сказать, что я и обижаться не вправе, пока у нас будут взяточники». В швейцарской он уже полон негодования: «Надо крикнуть на всю Россию, – провозглашает он, – что пришла пора, и она действительно пришла, – искоренить зло с корнями», – и вместе с тем делает рукою жест, как будто действительно копается ею в земле.

По всему видно, что Семионовичу пришлось очень кстати роль Надимова. Он человек молодой и горячий и потому надеется поместить в этой роли, как в ломбарде, весь внутренний жар, беспредметно накипевший в его груди.

Что касается до Разбитного, то он хотя тоже не совсем равнодушен к ожидающим его впереди сценическим тревогам, но выражает свои чувства несколько иначе, а именно: на каждой площадке лестницы производит по одному в высшей степени козлообразному антраша, – и отправляется откусать рюмку водки к доброй знакомой своей вере Готлибовне Пройминой.

III

Наступил наконец и день первой репетиции. В провинции благородные спектакли всегда составляют эпоху и на долгое время оставляют за собой отрадные воспоминания. Особливо любят их дамы, для которых эпоха спектакля как-то фаталистически совпадает с порою возрождения и любви. Статистические исследования с последнею очевидностью доказывают, что потребность в благородных спектаклях обнаруживается преимущественно после десятого декабря, то есть в то время, когда солнце, как известно, поворачивается на лето. Хотя на дворе и гвоздят еще крещенские морозы, но в теплых гостиных уже чувствуются запахи весны; появляются цветочки на окнах, и вместе с тем начинают расцветать и сердца. И вот мало-помалу в четырех закопченных стенах провинциального театра полагается первоначальная закваска той интимной, крохотной драмы, которая потом исчерпывает собою весь провинциальный карнавал. Сценическое искусство служит здесь только предлогом, или, лучше сказать, кулисами, за которыми развиваются домашние интриги, устраиваются свидания, разыгрываются сцены ревности и т. д. С одной стороны, мечутся в глаза лица совершенно счастливые и довольные; с другой, печально выступают вперед ипохондрики, страдаемые завистью и злобой при взгляде на чужое счастье; с одной стороны, слышится тот мягкий, как будто детский смех, который самое счастье озаряет еще новым и более ярким светом, и рядом с ним раздаются болезненные вздохи, сосредоточенно вылетающие из груди какого-нибудь отвергнутого трезора. Здесь же, как будто бы для того, чтоб лучше оттенить картину, явится перед вами какой-нибудь Шомполов, который смотрит на предстоящий спектакль как на подвиг всей своей жизни, и добродушная физиономия режиссера, который обыкновенно избирается из так называемых «мышинных жеребчиков», обладающих любовным жаром в самой умеренной степени и потому способных сохранять постоянный нейтралитет. Иногда картина разнообразится наездом слишком ревнивых мужей, желающих собственными глазами удостовериться, в каком положении находится супружеская верность; но и это как-то не огорчает, а, напротив того, умиляет, потому что если уж признавать силу солнечного поворота на лето, то это признание должно быть равносильно и для мужей, и для жен. Впрочем, наезды подобного рода весьма редки, потому что провинциальные мужья народ вообще добродушный и, при объявлении им о наряде их жен для предстоящего спектакля, высказывают досаду свою отрывисто и невинно головою. «Ну, пошла пыльня в ход! – говорят они, – семь без козырей! Порфирий Петрович – вы что?»

Часы бьют семь, и Шомполов достаточно уж увлажил свои внутренности из

Невинные рассказы. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru графинчика, содержащего в себе настойку, известную под именем ерофеича. Он ходит по сцене и грустит, что случается с ним всегда, когда ерошка-маляр намалюет баканом на лице его итальянский пейзаж с надписью: «Извержение Везувия». От нечего делать он обращается к сторожу.

– Меня, брат Михеич, здесь понимать не могут! – говорит он уныло. – Здесь и люди-то, брат, не люди, а так, какие-то сирены, только навыворот: хвост человеческий, а стан рыбий... Ну, скажи ты сам: какой же я комик! и сложение и голос – все во мне трагическое!.. тут пахнет убийством, брат, злодеяниями – вот что!

Михеич слушает и искося посматривает на водку.

– Что, видно, водочки захотелось? ну, выпьем, брат, выпьем... я добрый!.. Намеднись вот заставили меня Падчерицына играть... теперь Дробинкина! А Надимова небось не дали, а дали его Семионовичу – он, дескать, товарищ председателя! где ж тут справедливость, Михеич? ну, какой я Падчерицын?

– Мое, сударь, дело занавес опустить или вот сад на место поставить, – отвечает Михеич.

– Что ж это, наконец, будет? ведь я, наконец, к публике прибегну!.. я актер, я настоящий актер!.. Так вот нет же, Михеич! не могу, брат, я к публике прибегнуть, руки у меня связаны!.. жена, брат, шестеро детей! Откажись я играть, так завтра и от должности, пожалуй, отрешат... вот что горько-то!

Входят Загржембович и Разбитной. Последний в весьма приятном расположении духа, скачет вдруг обеими ногами на лестницу и мурлыкает куплетцы из роли Прындики.

– Алоизий Целестинич! – обращается Шомполов к Загржембовичу, – вы справедливый человек! за что они меня обидели? За что мне Размазню дали, а Надимова отдали Семионовичу?

– Вы пьяны, Шомполов, – замечает Разбитной, живописно раскидываясь на диване.

– Нет, я не пьян, Леонид Сергеич! я выпил, потому что обижен, а я не пьян! нет, я далеко не пьян... Я хочу сказать, что я актер, настоящий актер, а не затычка!

– Ха-ха! «затычка»! Нет, это бесподобно: *mais vous êtes imrayable, mon cher Chompoloff!* [20]

– Кто меня затычкой зовет? – кричит Шомполов, уже забыв, что он сам наградил себя этим прозвищем. – Кто надо мной смеяться смеет?

– Ха-ха! *imrayable! imrayable!* [21]

– Кто меня затычкой зовет? – продолжает Шомполов, – не хочу я играть Размазню.. я Гамлет, я Чацкий, я Налимов, а не Размазня!

Приезд Дарьи Михайловны и Аглаиды Алексеевны Размановской полагает конец спору.

– Ah, *vous voilà, messieurs!* [22] – говорит Дарья Михайловна и вместе с тем ищет чего-то глазами.

– Мсьё Линкина еще нет! – в упор отвечает Разбитной, и отвечает с ехидством, потому что между ним и Линкиным есть яблоко раздора, и это яблоко – сама Дарья Михайловна.

Разбитной вообще считается «*l'enfant chéri des dames*» [23] и потому очень оскорбляется, если кто-нибудь осмеливается предпочитать ему другого.

– Мсьё Разбитной! вы должны сегодняшней вечер занимать меня – это так следует по пьесе! – говорит Аглаида Алексеевна, садясь возле Разбитного.

– Вот Шомполов говорит, что ему водки не дают! – начинает «занимать» Разбитной.

– Фи, мсьё Шомполов, вы опять с вашей противною водкой! как это вы ее пьете!

– Помилуйте, Леонид Сергеич, когда же я жаловался?

Невинные рассказы. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru

– Все равно; по вашему лицу видно, что вы грустите.

– А знаете что, мсьё Разбитной, – прерывает Аглаида Алексеевна, – я один раз, разумеется украдкой от тапан, попробовала выпить этой гадкой водки... и если бы вы знали, что со мной было?.. Вы, впрочем, не проболтайте... это секрет!

Входят: Катерина Осиповна Немиолковская (она же и Грек с ружьем), сопровождаемая Линкиным.

– Вы всегда опаздываете, мсьё Линкин! – сухо замечает Дарья Михайловна.

Но Линкин в ту же минуту пристраивается к Дарье Михайловне, и лицо ее проясняется.

– Начинать, господа, начинать! – кричит Загржембович, хлопая в ладоши.

– Господа! у нас в палате сегодня вечернее заседание было! извините, что опоздал! – кричит Семионович, влетая сломя голову.

Приезжает и Анфиса Петровна Луковицына с дочерью своей, по муже Симиас, дамой, обладающей лицом аквамаринового цвета. Прибытие их проходит, однако ж, незамеченным.

На сцену выступает Аглаида Алексеевна и ужасно махает руками, желая показать этим, что она обрывает звонки.

Разбитной, пользуясь этим случаем, в одно мгновение ока направляется в тот темный уголок, в котором расположилась Дарья Михайловна с Линкиным.

– Сердце женщины – это целая бездна! вы странный человек, Линкин, вы хотите постигнуть то, что само себя иногда постигнуть не в состоянии! – томно говорит Дарья Михайловна.

Линкин слушает молча; он знает, что Дарья Михайловна любит не только поговорить, но даже насладиться звуками своего собственного голоса, и потому не смеет прерывать очаровательницу.

– Читали ли вы Гетевы «Wahlverwandtschaften»? [24] – продолжает Дарья Михайловна.

– Читал-с.

– Помните ли вы ту минуту, когда Шарлотте... делается вдруг так совестно?.. ну, я ручаюсь, что вы не поняли этого!

– Я, признаюсь, не заметил этого места.

– И не удивительно, что вы не заметили. Такую тонкую, почти неуловимую черту может понять только женщина... Сегодня, кажется, вечер у Балтазаровых? – продолжает Дарья Михайловна, заметив приближение Разбитного.

– Кажется, – отвечает Линкин.

– Вы с ними знакомы?

– Нет.

– Это жалко.

Разбитной хотя и достиг своей цели, прервав интимный разговор, но чувствует себя самого внезапно поглупевшим и не находит в голове ни одного путного слова. Он топчется на одном месте, то краснеет, то бледнеет, несколько раз сряду разевает рот, чтоб сказать что-нибудь острое, и не может.

– Вам, кажется, начинать скоро, Дарья Михайловна, – говорит он наконец не без усилий.

В эту минуту на сцене раздается потрясающий вопль. Оказывается, что Шомполов

Невинные рассказы. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru
ущипнул очень больно мадам Симиас.

– Господа! к сожалению, репетиция не может продолжаться! – возглашает Загржембович, – мсьё Шомполов не совсем здоров.

– Кто нездоров? Как нездоров? – вступается Шомполов. – Она меня оскорбила, она сказала мне, что я пьян!

– Господа! репетиция кончилась!

IV

Между тем статский советник Голынцев уже приближался к Крутогорску. Ехал он довольно медленно, потому что на всякой станции собирал под руку от станционных писарей и ямщиков сведения о генерале Голубовицком. Сведения оказывались, впрочем, весьма удовлетворительные.

– Известно, генерал-с! – отвечали писаря в одно слово, будто сговорившись, – на то они и начальники, чтоб взыскивать!

«Гм... стало быть, строг и распорядителен – это хорошо!» – подумал Голынцев.

– Шибко уж очень ездят! – отвечали, в свою очередь, ямщики.

«Гм... стало быть, деятелен – это похвально!» – зарубил себе на нос Голынцев.

Наконец, декабря 20 числа 18 ** года в восемь часов пополудни возок Максима Федорыча въехал в Крутогорск. На заставе встретил его полицеймейстер.

– Ва... вашему пре-е-восходительству...

– Вы, должно быть, озябли? – прервал Максим Федорыч, видя, что полицеймейстер, вместо того чтоб рапортовать, только щелкает зубами, – вы можете простудиться, мой любезный!

Возок помчался на отводную квартиру, а полицеймейстер с своей стороны поспешил доложить генералу, что Максим Федорыч не человек, а ангел.

Максим Федорыч, приехав в квартиру, спросил самовар и позвал к себе хозяина, потому что и тут, несмотря на утомление, первую его мыслью было не спать лечь, а, напротив того, узнать что-нибудь под руку. Вообще, он понимал свою обязанность весьма серьезно и знал, что осторожность в полицейском чиновнике есть мать всех добродетелей. Хозяин явился в круглом фраке и оказался весьма милым негоциантом, чему Голынцев очень приятно изумился и выразил при этом надежду, что и в прочих городах России со временем купцы последуют примеру этих aimables Kroutogoriens. [25]

– Ну, скажите, что ваш добрый генерал? – начал испытывать Максим Федорыч стороною.

– Слава богу-с, ваше превосходительство!

«Ваше превосходительство» подействовало на Максима Федорыча успокоительно.

«Mais ils sont très bien élevés ici!» [26] – подумал он и вслух прибавил:

– Да, да! он у вас такой деятельный!

– Попечение большое имеют, ваше превосходительство!

– Ну, и генеральша тоже, она ведь милая?

– Дарья Михайловна-с?.. смею доложить вашему превосходительству, что таких дам по нашему месту-с... наше место сами изволите знать какое, ваше превосходительство!

– Гм... это хорошо! Ну, и веселятся у вас, бывают собрания, театры, балы?

– Как же-с, ваше превосходительство! благородным манером тоже собираются-с... в

Невинные рассказы. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru карты поиграть-с, или в клубе-с... все больше Дарья Михайловна попечение имеют...

– Это хорошо! я так скажу, что это один из главных рычагов администрации, чтоб всем было весело! Если всем весело, значит, все довольны – это ясно, как дважды два! К сожалению, не все администраторы обращают на этот предмет должное внимание!

– Уж что же хорошего будет, ваше превосходительство, как все, насупившись, по углам сидеть будут.

– Ну да, ну да! очень рад! очень рад познакомиться с таким милым и образованным негодником.

Максим Федорыч заметил, однако, что уж довольно поздно, и потому решил отдохнуть. Но прежде чем отойти ко сну, – до такой степени серьезен был его взгляд на служебные обязанности, – он вынул свою записную книжку, в которой уже были начертаны слова: «строг, но справедлив», «деятелен, распорядителен», и собственноручно сделал в ней следующую отметку: «общежителен и заботится о соединении общества, в чем немало ему помогает любезная его супруга, о которой существуют в губернии самые лестные отзывы».

V

На другой день у генерала Голубовицкого был обед. За обедом присутствовали: Змеищев, Фурначев, Порфирьев, Крестовоздвиженский и прочие сильные мира; кушали также и некоторые молодые люди, но исключительно из числа тех, от которых ничем не пахнет, и именно: Разбитной, Семионович и Загржембович. Из дам присутствовала одна хозяйка дома.

Еще накануне Степан Степаныч призвал к себе повара и имел с ним серьезное объяснение.

– Завтра у меня гость обедать будет, ты пойми это! – сказал он повару.

– Это понять можно, ваше превосходительство, не в первый раз столы готовим!

– Ну, что же ты сделаешь?

– Горячее суп с кнелью изготовить можно.

– Господи! просто, братец, воображения у тебя никакого нет!..

– А то можно и уху сварить.

– Суп с кнелью да уха, только и слов! ну, черт с тобой, делай что хочешь!

Тем и кончилось совещание, но обед все-таки вышел хороший. Подавали суп с кнелью (повар поставил-таки на своем), на холодное котлеты и ветчину с горошком, на соус фрикасе из мозгов и мелкой дичи, в которую воткнуты были оловянные стрелы, потом пуш глясе, на жаркое индейку и в заключение малиновое желе в виде развалин Колизея, внутри которых горела стеариновая свечка, производя весьма приятный эффект для глаз.

Максим Федорыч, как дамский поклонник, садится поближе к Дарье Михайловне, и между ними завязывается очень живой разговор.

– И вы не скучаете? – спрашивает Максим Федорыч.

– Иногда... а впрочем, нет! я так всегда занята, что некогда и подумать о скуке!

– Ах да, я и забыл, что у вас есть дети... chers petits anges! ils sont bien heureux d'avoir une mère comme vous, madame! [27]

– Mais... oui! je les aime... [28]

Дарья Михайловна треплет старшего сына по щечке.

– Ей, Максим Федорыч, скучать некогда: она даже и теперь устраивает благородный спектакль, – отзывается с другого конца генерал, внимательно следящий за всеми

Невинные рассказы. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru
движениями Голынцева.

– Vraiment? mais savez-vous, [29] мне ужасно покровительствует счастье... я без ума от спектаклей, особенно от благородных... и я вас заранее предупреждаю, что вы найдете во мне самого строгого критика.

– Мы таки частенько здесь веселимся, – снова вступается генерал.

– Это хорошо! удовольствия, а особливо невинные... это, я вам скажу, даже полезно: это нравы очищает, не дает, знаете, им зачерстветь...

– Это несомненно!

– А позволено ли будет узнать, si ce n'est pas une indiscretion toutefois, [30] какие пьесы будут играть?

– «Чиновника», – отвечает Дарья Михайловна.

– Ah! c'est sérieux! c'est très sérieux! [31] только я вам скажу, тут надо актеру... par ce que c'est très sérieux! [32]

Дарья Михайловна рекомендует Семионовича.

– Вы, конечно, поняли эту роль! – спрашивает его Максим Федорыч, – вы извините меня, что я делаю такой вопрос: дело в том, что это ведь очень серьезно!

Семионович вертит головой в знак согласия.

– Я видел в этой роли первоклассных наших актеров и, признаюсь, не совсем удовлетворен ими. Нет, знаете, этого жару, этого негодования... ну, и манеры не те... Вы ведь вообразите, что Надимов старинный дворянин, que c'est un homme de bonne famille, [33] и вдруг этот человек решился не только принести себя в жертву отечеству, но и разорвать всякую связь с «старинным русским развратом»... Mais il est presque révolutionnaire, cet homme! [34]

– Я именно так и понял это, ваше превосходительство! – отвечает Семионович.

– Да, тут надо много, очень много жару, чтоб передать эту роль... О княгине я не спрашиваю: эта роль по всем правам должна принадлежать вам, – обращается Голынцев к Дарье Михайловне.

– А еще будут играть комедию, где Аглинька звонки рвет! – перебивает старший сын Голубовицких.

– А я буду сакаляд подавать, – продолжает младший сын.

– «Сакаляд», душечка? oh, le charmant enfant.. [35] Я понимаю, что вы не должны, не можете скучать, Дарья Михайловна!

Дарья Михайловна треплет по щечке и младшего сына.

– Мамаша. Сеничка хочет в Аглинькин шоколад песку насыпать, – докладывает старший сын.

– Фи, душечка!

– Oh, le charmant enfant... quel âge a-t-il, madame? [36]

– Sept ans. [37]

– Mais savez-vous, madame, qu'il est très développé pour son âge? [38] Тебе, душечка, куда хочется, в военную или штатскую?

– Я хочу в кьясном мундиейе ходить!

Все смеются и с нежностью смотрят на маленького пичугу, который уже желает красного мундира.

Невинные рассказы. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru
– Нынешнее молодое поколение удивительно как быстро развивается! – замечает Голынцев, – я уверен, что Надимову всего каких-нибудь шестнадцать лет в то время, когда он вступает на сцену... Notez bien cela, [39] – прибавляет Голынцев, обращаясь к Семионовичу.

– Извините меня, ваше превосходительство, – возражает Семионович, – но Надимов перед этим путешествовал, был на Ниле...

– Это так, но разве он не мог путешествовать с своими родителями? или с гувернером?

– Путешествовать – так! но быть на Ниле – согласитесь сами, что это довольно трудно!

– Может быть, может быть... Au fond, vous êtes, peut-être, dans le vrai... [40] но все-таки вопрос заключается в том, что молодые люди нынче чрезвычайно как быстро развиваются... qu'en pensez-vous, madame? [41]

– Mais... je pense que oui... [42]

– Я, впрочем, отнюдь не против этого... Конечно, опытность... l'expérience n'est pas à dédaigner, et nous autres, vieux galopins, nous en savons quelque chose... [43]

– Опытность великая вещь, ваше превосходительство, – замечает генерал, который по временам тоже не прочь преждевременно произвести Максима Федорыча в следующий чин.

Порфирий Петрович побрякивает в знак сочувствия.

– Я против этого не спору, ваше превосходительство; есть вещи, против которых нельзя спорить, потому что они освящены историей... Но все-таки жар, энергия... все это такие вещи, которых нам с вами недостает... mais n'est-ce pas, madame? [44]

Дарья Михайловна очень мило улыбается; присутствующие также смеются, и даже довольно шумно, но тем не менее благовоспитанно и добродушно, как будто хотят сказать генералу: «А что, попались? ваше превосходительство!» Генерал сам признает себя побежденным и ставит себя в уровень с общим веселым настроением общества.

– Зачем же вы, однако ж, себя включаете в число стариков? – очень любезно замечает Дарья Михайловна Голынцеву.

– Vous êtes bien aimable, madame, [45] – отвечает Максим Федорыч, – но, увы! я должен сознаться, что время мое прошло!

– Должно быть, тоже изволили развиваться быстро? – шутливо замечает генерал.

– А что вы думаете? ведь это правда! в бывалые годы я тоже недурно проводил время... mais que voulez-vous! la jeunesse – c'est comme les vagues de l'océan: cela s'en va et ne se retrouve plus! [46]

В это время желе с стеариновой свечкой отвлекает общее внимание. Максим Федорыч с любопытством следит за блюдом, пока обносят им всех гостей, и в заключение находит, que c'est joli. [47] Встают из-за стола и отправляются в гостиную, где опять возобновляется живой и интересный разговор.

– Я никак не ожидал, чтоб в таком отдаленном городе можно было так приятно проводить время... Vraiment! [48] – замечает Максим Федорыч.

– Если бы вашему превосходительству угодно было удостоить меня посещением сегодня вечером на чашку чаю?... – говорит Порфирий Петрович, подходя к Голынцеву и переминаясь с ноги на ногу.

– С величайшим удовольствием... вы меня извините, что я не был у вас с визитом...

– Помилуйте, ваше превосходительство!..

И Порфирий Петрович, сделав полуоборот на одном каблучке, кашлянув и несколько

Невинные рассказы. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru
покраснев, удаляется.

– Et demain, nous allons en pique-nique: j'espère, que vous en serez?[49] – спрашивает Дарья Михайловна.

– Madame, vous pouvez disposer de mon temps et de ma personne selon votre bon vouloir...[50]

– В таком случае я сама за вами заеду, – любезно продолжает генеральша.

– Ah, madame! vous êtes d'une bonté![51]

Наконец все начинают чувствовать некоторое обременение желудка и мало-помалу раскланиваются с хозяевами. Голынец замечает это и также спешит отретироваться.

Все очень довольны.

– Ах, какой приятный человек! – говорит Порфирий Петрович, обращаясь к Крестовоздвиженскому.

– Просто именно добрейший человек! – отвечает Крестовоздвиженский и внезапно начинает размахивать руками, как человек, который не в состоянии овладеть своими чувствами.

Семионович уходит, обдумывая замечания Голынцева по поводу роли Надимова, и решается припустить еще более жару в выражении того спасительного негодования, которым проникнута эта роль. Леонид Сергеич Разбитной выражает свое удовольствие тем, что скачет с одной ступеньки на другую обеими ногами вдруг, и на одной ступеньке говорит: «pique», а на другой: «pique».

VI

На другой день часу в третьем пополудни огромный поезд останавливается перед домом, в котором имеет резиденцию Максим Федорыч. Впереди всего поезда едет полицеймейстер на лихой тройке, подобранной волос в волос из числа пожарных лошадей. За полицеймейстером следуют четвероместные сани, в которых обретаются генерал и генеральша Голубовицкие и двое детей. Тут же садится и Максим Федорыч.

Поезд трогается; ямщикам приказано быть веселыми, вследствие чего они поют песни и помахивают кнутами. Максим Федорыч замечает, что такого рода загородные поездки, кроме того что представляют много удовольствия, весьма полезны для здоровья.

– Et regardez, comme c'est joli![52] – обращается он к Дарье Михайловне, указывая на длинную вереницу саней, растянувшуюся на полверсты, – как это напоминает запоздалых путников, которые спешат на ночлег!

И действительно, картина очень милая, потому что день ясный, и лучи солнца, упавая на белую снеговую равнину, обливают ее сверкающим, почти нестерпимым блеском; сани быстро скользят по едва пробитой дороге, а пристяжные лошади, взрывая копытами снег, одевают экипажи серебристым облаком пыли, что также очень недурно.

– У нас удивительно здоровый климат, – говорит генерал, – поверите ли, ваше превосходительство, странно сказать, а даже в простом народе никогда никаких болезней не происходит!

– Да? стало быть, состояние народного здоровья можно назвать удовлетворительным?

– Больше чем удовлетворительным!

– Ну, а народная нравственность?

– Насчет народной нравственности тоже могу сказать, что довольно удовлетворительна... конечно, бывают там между ними... ну, да это домашними средствами!..

– Гм... это хорошо! это очень утешительно, что народная нравственность в удовлетворительном состоянии... Потому что народ, ваше превосходительство... это

Невинные рассказы. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru его, можно сказать, единственная забота, чтоб быть нравственным... Если уж и в народе нет нравственности, что же такое будет?

– Это справедливо, ваше превосходительство... в этом отношении, я могу сказать... я очень счастлив... Народ здесь очень нравствен! Одно только обстоятельство меня огорчает; ябедников здесь очень много.

– Д-да?

– Точно так-с; я, конечно, не стал бы жаловаться вам на это, если бы не имел удовольствия так близко познакомиться с вами и не убедился вполне, что вы не заподозрите меня... Но теперь могу сказать прямо: да, ябедничество слишком укоренилось здесь!

– Скажите пожалуйста!.. но чем же вы объясните такое явление? вероятно, оно откуда-нибудь занесено сюда, потому что не может же быть, чтоб здесь были какие-нибудь причины жаловаться... Везде, где я был, передо мной проходили все лица совершенно довольные.

– Из Новгорода, Максим Федорыч, из Новгорода... Поверьте, что это все старая новгородская кляуза действует!..

– Гм... стало быть, здешний народ стоит на довольно высокой степени развития? – замечает Голынцев, вспомнив о Марфе Посаднице.

– О да! с этой стороны я могу почесть себя совершенно счастливым! я могу сказать, что имею дело с людьми развитыми, и если бы не ябедничество...

– Однако ж надо бы принять меры против распространения этого зла, ваше превосходительство... Я, с своей стороны, готов содействовать!

– Я, с своей стороны, полагаю, ваше превосходительство, что для уничтожения этого зла необходимо между народом распространить «истинное просвещение»...

– То есть как это истинное просвещение... грамотность, хотите вы сказать?

– О нет, упаси боже! грамотность-то именно и распространяет у нас ябедников...

– Гм... да! я понимаю вас! вы хотите сказать, что если бы не было грамотных, то некому было бы просьбы писать? Так, кажется?

– Точно так, ваше превосходительство!

– А что вы думаете: ведь в этом много правды! несомненно, что тогда административная машина упростилась бы чрезвычайно... ну, и сокращение переписки... Однако мне весьма бы любопытно было знать, что вы разумеете под «истинным просвещением»?

Генерал задумывается; он хочет выразиться как-нибудь аллегорически, упомянуть про невинность души, про доверчивость, про веселое и безгорестное выражение физиономии и другие несомненные признаки «истинного просвещения», но так как в ораторском искусстве он никогда не имел случая упражняться (потому что и вообще в России искусство это находится в младенчестве), то весьма естественно, что мысли его путаются и в голове его поднимается такой сумбур, для приведения которого в порядок необходимо было бы учредить целое временное отделение с тремя столами, из коих один заведовал бы невинностью души, другой – доверчивостью и т. д. Дарья Михайловна замечает это и спешит выручить супруга своего из беды.

– Ah, messieurs, vous aurez encore tout le temps de causer affaire![53] – замечает она, очаровательно улыбаясь.

– Это правда. Мы, ваше превосходительство, были очень неучтивы перед Дарьей Михайловной! – говорит Максим Федорыч и потом снова прибавляет, указывая на поезд: – Mais regardez, comme c'est joli![54]

Однако виднеется уже и цель поездки: одноэтажный серенький домик, в котором устроено все нужное для принятия гостей. Неподалеку от дома генеральскую тройку обгоняют сани, в которых сидят Загржембович, Семионович и Разбитной, то есть сок

Невинные рассказы. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru крутогорской молодежи. Разбитной восседает на облучке, и в то время, как тройка равняется с саями Дарьи Михайловны, он старается держать себя как можно лише и вместе с тем усиливается смотреть по сторонам и разговаривает с своими спутниками, чтоб показать, что он лихой и все ему нипочем.

В небольшой зале уже накрыт стол и батальонная музыка играет весьма усердно. Хотя это дело обыкновенное и всем давно известно, что батальон вместе с кузницей и швальной непременно обладает и полным бальным оркестром музыки, но Максим Федорыч считает долгом приятно изумиться.

– Да у вас тут целый оркестр! – говорит он Дарье Михайловне, – *maie... c'est très joli!*

За обедом начинается тот же милый, летучий разговор, которого образчики приведены в предыдущей главе, с тою разницею, что теперь он непринужденнее и вследствие этого еще милее. Дарья Михайловна ни на шаг не отпускает от себя дорогого гостя. За общим шумом и говором между ними заводится интимная беседа, в которой Дарья Михайловна открывает Максиму Федорычу все тайные сокровища своего ума и сердца. Беседа, разумеется, ведется на том милом французском диалекте, о котором наши провинциальные барыни так справедливо выражаются: «этот душка французский язык».

– Если кто хочет найти доступ к сердцу женщины, тот должен постучаться в двери ее воображения, – утверждает Максим Федорыч.

– Вы думаете?

– Я совершенно в этом уверен... Кто произносит при мне слово «воображение», тот вместе с тем произносит и слово «женщина», и наоборот...

– А я думаю, что на бедных женщин клеветают, говоря, что у них воображение развито на счет сердца... возьмите, например, чувство матери!

– О, чувство матери – это так! – *c'est sublime, il n'y a rien à dire!*[55] но я не об нем и говорю... Мы возьмем женщину, свободную от всяких такого рода отношений, женщину, созданную, так сказать, для того, чтоб только любить... *madame Beauséant*, [56] например?

– Но я вам могу указать против этого на Марту, на Лукрецию Флориани...[57]

– И все-таки я утверждаю, что все эти героини именно потому и оказались слабы сердцем, что в них слишком развито было воображение.

Дарья Михайловна задумывается.

– Нет, вы не знаете женщин! – говорит она положительно.

– *Oh, mais je vous demande pardon, madame!*..[58]

– Нет, потому что вы отнимаете у женщины ее лучшее сокровище – сердце!.. А впрочем, я и забыла, что вы мужчина...

– А все-таки главное в женщине – это ее воображение...

– Вы странный человек, мсьё Голынец; вы хотите уверить меня, что постигнули женщину... то есть постигли то, что само себя иногда постигнуть не в состоянии...

– *Oh, quant à cela, vous avez parfaitement raison, madame!*[59]

– Читали ли вы Гетевы «*Wahlverwandtschaften*»?

– О, как же!

– Помните ли вы там одно место... ту минуту, когда Шарлотта, отдаваясь своему мужу, вдруг чувствует... скажите: сердце ли это или воображение?

Максим Федорыч безмолвствует, потому что, признаться сказать, он в первый раз слышит о Шарлотте, да сверх того и вопрос Дарьи Михайловны слишком уж отзывается

Невинные рассказы. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru метафизикой.

– Вы потому ошибаетесь в женщине, – продолжает Дарья Михайловна томно, – что ищете чувства в одном ее сердце... Но ведь оно везде, это чувство, оно во всем ее существе!

Максим Федорыч решительно побежден.

– О, если вы берете вопрос с этой точки зрения, – говорит он, – то, конечно, против этого я ничего не имею сказать.

Таким образом, победа остается за Дарьей Михайловной, но, как женщина умная, она очень хорошо понимает, что одолжена своим торжеством не столько самой себе, сколько великодушью своего противника.

После обеда время проводится очень приятно; в зале устраиваются танцы, в соседней комнате раскладываются карточные столы. Следовательно, и юность, увенчанная розами, и маститая старость, украшенная благолепными сединами, равно находят удовлетворение своим законным потребностям.

Максим Федорыч играет в карты легко и чрезвычайно приятно. Он не кряхтит, не подмигивает, не говорит «тэк-с» и вообще не выказывает никаких признаков душевного волнения. Партию его составляют: генерал Голубовицкий, Порфирий Петрович Порфирьев и Семен Семеныч Фурначев. Занятие картами не мешает Максиму Федорычу вести вместе с тем весьма приятный и оживленный разговор; во время сдачи он постоянно находит какую-нибудь новую тему и развивает ее с свойственным ему увлечением. Так, например, он находит, что Англия сделала в последнее время на промышленном поприще гигантские успехи, а что во Франции, напротив того, *L'ère des révolutions n'est pas close...*[60]

– Ах, какой приятный человек! – замечает Порфирий Петрович, когда Голынец оставляет на минуту своих партнеров, чтобы посмотреть на танцующих.

– И, кажется, много начитан! – прибавляет от себя Семен Семеныч.

Но вот начинается мазурка, и Максим Федорыч по необходимости должен кончить игру, потому что дамы единодушно сговорились выбирать его для фигур. Само собою разумеется, что Максим Федорыч в восторге; он забывает почтенный свой возраст и резвится, как дитя: хлопает в ладоши во время шэнов и рондов, придумывает новые фигуры и с необыкновенною грациею ловит платки, которые бросаются, впрочем, дамами именно в ту сторону, где находится Голынец. Одним словом, день проходит незаметно и весело. Во время сборов в обратный путь Максим Федорыч очень суетится и хлопочет. Он лично наблюдает, чтоб дамы закутывались теплее, и до тех пор не успокоивается, покуда не убеждается, что попечительные его настояния возымели надлежащее действие.

VII

Я не стану говорить об обедах и вечеринках, данных по случаю приезда Максима Федорыча сильными мира сего, пройду даже молчанием и великолепный бал, устроенный в зале клуба... Во все время своего пребывания в Крутогорске Максим Федорыч был положительно разрываем на части, и за всем тем не только не показал ни малейшего утомления или упадка душевных сил, но, напротив того, в каждом новом празднестве как бы почерпал новые силы для совершения дальнейших подвигов на этом блестящем поприще.

Перлом всех этих увеселений остался все-таки благородный спектакль, на котором я и намерен остановить внимание читателя. Максим Федорыч сам неусыпно следил за ходом репетиций, вразумлял актеров, понуждал ленивых, обуздывал слишком ретивых и даже убедил Шомполова в том, что водка и искусство две вещи совершенно разные, которые легко могут обойтись друг без друга.

Прежде всего шла пьеса «В людях ангел» и проч., и все единогласно сознались, что лучшего исполнения желать было невозможно. Аглаида Алексеевна Размановская играла решительно, *comme une actrice consommée!*[61] Хотя в особенности много неподдельного чувства было выражено в последней сцене примирения, но и на бале у Размазни дело шло нисколько не хуже, если даже не лучше. Отлично также изобразила госпожа Симиас перезрелую девицу Небосклонову, а пропетый ею куплет о Пушкине произвел фурор. Но Разбитной, по общему сознанию, превзошел самые смелые

Невинные рассказы. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru ожидания. Он как-то сюсюкал, беспрестанно вкладывал в глаза стеклышко и во всем поступал именно так, как должен был поступать настоящий прындик. Один Семионович был неудовлетворителен. Он никак не мог понять, что Славский – дипломат, который под конец пьесы даже получает назначение в Константинополь, и вел себя решительно как товарищ председателя. Даже Фурначев понял, что тут что-то не так, и сообщил свое заключение Порфирию Петровичу, который, однако ж, не отвечал ни да, ни нет, а выразился только, что «с нас и этого будет!».

Начались и живые картины. Максим Федорыч лично осмотрел Гаиде и нашел, что Дарья Михайловна была *magnifique*. [62] Шомполов, бывший в это время за кулисами, уверял даже, будто Максим Федорыч прикоснулся губами к обнаженному плечу Гаиде и при этом как-то странно всем телом дрогнул. Впрочем, надо сказать правду, и было от чего дрогнуть. Когда открылась картина и представилась глазам зрителей эта роскошная женщина, с какою-то страстною негой раскинувшаяся на турецком диване, взятом на подержание у советника палаты государственных имуществ, то вся толпа зрителей дико завопила: таково было потрясающее действие обнаженного плеча Гаиде. Напрасно насупливался мрачный Ламбро, напрасно порывался вперед милостивый Дон-Жуан, публика не замечала их полезных усилий и всеми чувствами стремилась к Гаиде, одной Гаиде.

Вторая картина была также прелестна. Несколько приятных молодых дам и девиц, *un essaim de jeunes beautés*, [63] в костюмах одалиск и посреди их Дарья Михайловна с гитарой в руках произвели эффект поразительный.

Третью картину спасла решительно Дарья Михайловна, потому что Семионович (Иаков) не только ей не содействовал, но даже совершенно неожиданно свистнул, разрушив вдруг все очарование.

Грек с ружьем прошел благополучно.

Но само собой разумеется, что главный интерес все-таки сосредоточивался на «Чиновнике». В публике ходили насчет этой пьесы разные несообразные слухи. Многие уверяли, что будет всенародно представлен становой пристав, снимающий с просителя даже исподнее платье; но другие утверждали, что будет, напротив того, представлен становой пристав, снимающий рубашку с самого себя и отдающий ее просителю. Последнее мнение имело за себя все преимущества со стороны благонамеренности и правдоподобия, и потому весьма естественно, что в общем направлении оно оправдалось и на деле. Максим Федорыч сильно трусил. Он видел, что Семионович совсем не так понял свою роль.

– *Mais veuillez donc comprendre, mon cher*, [64] – говорил он, – ведь Надимов человек новый, но вместе с тем и старый... то есть, вот видите ли... душа у него новая, а тело, то есть оболочка... старая!.. Здесь-то, в этом безвыходном столкновении, и источник всей катастрофы... *vous comprenez?* [65]

Но Семионович не понимал; он, напротив того, утверждал, что у Надимова душа старая, а тело новое... и что в этом-то именно и заключается не катастрофа, а поучительная и вместе с тем успокаивающая цель пьесы: это, мол, ничего, что ты там языком-то озорничаешь, мысли-то у тебя все-таки те же, что и у нас, грешных.

Максим Федорыч был в отчаянии и не скрывал даже чувств своих.

– Все идет отлично, – говорил он в партере окружавшим его губернским аристократам, – но Надимов... признаюсь вам, я опасюсь... я сильно опасюсь за Надимова... какая жалость!

И действительно, вместо того чтоб представить человека по наружности холодного, насквозь проникнутого бесподобнейшим *compte à l'fait* [66] и только в глубине души горящего огнем бескорыстия, человека, собирающегося высказать свою тоску по бескорыстию на всю Россию, однако ж, по чувству врожденной ему стыдливости, высказывающего ее только княгине, Мисхорину, полковнику и Дробинкину, Семионович выходил из себя, драл свои волосы и в одном месте дошел до того, что прибил себя по щекам. Даже крутогорская публика как-то странно охнула при таком явном нарушении законов естественных и человеческих, а Порфирий Петрович весь сгорел от стыда.

Наконец представление кончилось. Слово «*joli*» [67] слышалось во всех углах, только канцелярские чиновники, обитатели горних и страшные зоилы, остались не

Невинные рассказы. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru совсем довольны, да и то потому, что их заверили, что будет непременно представлен становой, да и не какой-нибудь другой становой, а именно второго стана Полорецкого уезда – Благоволенский.

На другой день в губернских ведомостях была напечатана в виде письма к редактору следующая статья:

«Позвольте и мне, скромному обитателю нашего мирного города, поговорить о прекрасном торжестве, которого мы были вчера свидетелями. Известно вам, милостивый государь, какое благодетельное влияние имеют зрелища (а в особенности благородные) на нравственность народную. С одной стороны, примером наказанного порока смягчая преступные наклонности, зрелища, с другой стороны, несомненно возвышают в человечестве эстетическое чувство; эстетическое же чувство, в свою очередь, пройдя сквозь горнило нравственности, возвышает сию последнюю и через то ставит ее на ту ступень, где она делается основой всякого благоустроенного гражданского общества. С этой точки зрения намерен я обозреть критически вчерашнее торжество.

Первое, что представляется при этом моему умственному взору, – это цель, которой служили благородные жрецы искусства. Не одна слеза будет отерта, не один вздох благодарности вознесется, в виде теплой молитвы, за благородных благотворителей... Один французский ученый сказал, что дама, которая покупает шаль, подает с тем вместе милостыню бедному... святая и глубокая истина! И наши добрые крутогорцы вполне ее поняли! Но не стану больше распространяться об этом предмете; я знаю, что скромность и даже некоторая стыдливость есть нераздельная принадлежность всякого благотворительного деяния, и потому... умолкну.

Но не могу умолчать о благотворной мысли, присутствовавшей при выборе пьес. В настоящее время, когда умственное око России должно быть обращено, по преимуществу, внутрь ее самой, наши добрые крутогорцы вполне доказали, что они стоят в уровень с обстоятельствами. Выбор такой пьесы, как «Чиновник», положительно доказывает это. Мы сами были свидетелями потрясающего действия этой пьесы, которое в соединении с истинно пластической игрой исполнявшего роль Надимова члена благородного крутогорского общества останется навсегда незабвенным на страницах нашей летописи. Да! мы можем смело давать на нашей сцене «Чиновника»! мы можем без горечи выслушивать страстные и благонамеренные филиппики г. Надимова! Эти укоры, эти филиппики не до нас относятся! Благодарение богу, мы уже поняли свой долг относительно любезного нашего отечества и, положив руку на сердце, можем сказать: Г-н Надимов! в ваших словах заключается горькая правда, но этой правде нет места в Крутогорской губернии!

Скажу несколько слов и об исполнении, но, не желая оскорбить прекрасное чувство скромности, которым одушевлены наши благородные благотворители, вынужден умолчать о многом, что накопилось на дне благодарной души. Прежде всего, должен я упомянуть о трудах ее превосходительства Дарьи Михайловны, по мысли и наставлениям которой было устроено настоящее торжество. Затем, все исполнители, принявшие участие в деле благотворения, были безукоризненны. Как хороша была княгиня! Как увлекательно-наивна была Славская! Как... но нет, я чувствую, что перо мое начинает переходить само собою за пределы той скромности, о которой я говорил... Итак, умолкну!

Мужайтесь, благородные труженики! боритесь с препятствиями и преодолевайте их! Не смотрите на то, что на пути вашем иногда растут не розы, а терния – таков уж удел всех действий человеческих! Помните всегда, что за вашими невинными занятиями стоят толпы иных тружеников, которые посылают к небу горячие мольбы о ниспослании вам сугубых сил на новые подвиги!»

Сочинитель этой статьи, коллежский секретарь Песнопевцев, удостоился в тот же день чести быть приглашенным к обеденному столу его превосходительства Степана Степановича.

VIII

Наконец, в одно прекрасное утро, Максим Федорыч спохватился, что пора уж ехать, тем более что репертуар увеселений начинал истощаться. Он собрал свои воспоминания, посоветовался с записною книжкой и нашел, что материалов для будущего донесения предостаточно. О генерале Голубовицком и преимущественно о генералыше предположил он высказаться с особенною теплотою. В пользу их можно, пожалуй, даже пожертвовать двумя-тремя субъектами, чтоб лучше и явственнее

Невинные рассказы. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru оттенить картину. Само собою разумеется, что нельзя же всех чиновников найти добродетельными; это невозможно, во-первых, потому, что самая природа в своих проявлениях разнообразна до бесконечности; а во-вторых, потому, что и начальство не поверит этой эпидемии добродетели и, чего доброго, заподозрит еще способности ревизора. Поэтому выбраны были в жертву так называемые пререкатели и беспокойные, которых и оказалось двое: советник губернского правления Евфратский и член приказа Семибашенный. Евфратский жил весьма уединенно, ни к кому не ездил и вследствие того был заподозрен в вольнодумстве и в намерении восстановить в России патриаршеское достоинство, о чем будто бы он и выражался стороною там-то и тогда-то. Семибашенный же хотя и не мечтал о восстановлении патриаршеского достоинства, но взамен того неоднократно предъявлял пагубную склонность к исламу и даже публично называл турок счастливыми, приводя в основание такого мнения лишь грубые поползновения своей чувственности. Само собою разумеется, что такие лица не заслуживали ни малейшего снисхождения.

Прощание было очень трогательно. На обеде, данном по этому случаю генералом Голубовицким, было сказано много теплых слов и выпито немало тостов за здоровье дорогого гостя.

– Скажу вам откровенно, – выразился при этом генерал, с чувством пожимая руку Максима Федорыча, – я давно, очень давно не имел такого приятного гостя!

– Позвольте и мне, в свою очередь, удостоверить, ваше превосходительство, что давно, очень давно я не имел таких приятных минут, какие провел здесь, в вашем любезном обществе, – отвечал Максим Федорыч взволнованный.

– Mais revenez nous voir, [68] – любезно сказала Дарья Михайловна.

– Impossible, madame! [69] мы, люди службы, люди деятельности, не всегда можем следовать влечениям сердца...

Все присутствовавшие были растроганы. Когда же после обеда наступил час расставания и Максим Федорыч долго, в каком-то тяжком безмолвии, держал в своих руках руку Дарьи Михайловны, то его превосходительство Степан Степаныч не мог даже выдержать. Он как-то восторженно замахал руками и бросился обнимать Голынцева, а Семионович, стоя в это время в стороне, шепотом декламировал:

When we two parted
In silence and tears... [70]

Вечером, часу в девятом, ровно через месяц по приезде в Крутогорск, Максим Федорыч уже выезжал за заставу этого города. Частный пристав Рогуля, сопровождавший его превосходительство до городской черты, пожелал ему счастливого пути и тут же, обратившись к будочнику, сказал:

– Ну, вот и ревизор! что ж что ревизор! нет, кабы вот Павла Трофимыча Перегоренского к ревизии допустили – этот, надо думать, обревизовал бы!

В эту же ночь послал бог снежку, который в каких-нибудь два часа закрыл самый след повозки Максима Федорыча.

УТРО У ХРЕПТЮГИНА
Драматический очерк
ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА:

Иван Онуфрич Хрептюгин, 55 лет, негоциант.

Дмитрий Иваныч, иначе Démétrius, сын его, 20 лет, служит при губернаторе.

Статский советник Семен Семеныч Фурначев, 50 лет, имеет к Хрептюгину начальственные отношения.

Майор Станислав Фаддеич Понжперховский, 40 лет, ремеслом проходимец.

Иван Петрович Доброзраков, отставной штаб-лекарь, 55 лет.

Леонид Сергеич Разбитной, чиновник особых поручений при губернаторе, молодой человек.

Невинные рассказы. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru
Отставной подпоручик живновский, 50 лет.

Титулярная советница Степанида Карповна Гнусова, 45 лет, экономка Хрептюгиных.
Действие происходит в губернском городе.

СЦЕНА I

Театр представляет богато убранную гостиную в доме Хрептюгина. В середине и направо от зрителя двери. На столе перед диваном поставлена закуска и водка.

Гнусова (пожилая женщина, одета в черное шелковое платье; на плечах у нее желтая шаль; на голове чепец. При открытии занавеса она занимается приготовлением закуски). Шутка сказать, скоро одиннадцатый час, а он еще дрыхнет! И не убьет же бог громом этакого асида! По естеству-то, ему бы теперь на босу ногу бегать да печки затоплять, а он вот валяется... Да и спать ведь не спит, а именно валяется, потому, дескать, что в Питере благородные люди таким манером делают. (Задумывается.) Вот я и благородная, и муж титулярным советником был... так хоть бы за стол с собой посадили, и того нет!

СЦЕНА II

Гнусова и Понжперховский (видный мужчина, в военном сюртуке; усы нафабрены и тщательно завиты, волосы на голове приглажены; вертляв и занят собой; говорит с сильным акцентом).

Понжперховский. Иван Онуфрич не вставали?

Гнусова. Где же ему встать, батюшка!

Понжперховский. Это лучше-с; я, признаюсь вам, даже не люблю, когда ваш Онуфрич перед глазами торчит... Поговорить можно и без него, выпить и закусить тоже-с...

Гнусова. Конечно, сударь!

Понжперховский. Я вам доложу, почтеннейшая Степанида Карповна, что на этих людей нужно смотреть с философической точки зрения... Вот я, например: люблю и в карточки перекинуть, и хорошую сигару выкурить, и пообедать изящно, и побеседовать... все это у Хрептюгина я нахожу-с. Следственно, что ж мне за дело до того, что он еще вчерашнего числа невесту в какой родословной записан был? Возьмем хоть бы теперь: закуска, я вижу, на столе приготовлена, водка есть... ну, и ваша приятная беседа тоже-с... за ваше здоровье, Степанида Карповна! (Пьет и закусывает.)

Гнусова. На здоровье, сударь. Оно точно, вы люди наезжие... вам оно ничего, как он колобродит, да и колобродить-то при вас он еще не больно осмелится...

Понжперховский. Это всеконечно-с... потому что мы иногда можем и до лица коснуться...

Гнусова. А каково-то нам, грешным? Бедняк, сударь, что муха: где забор, там двор, где щель, там постель! Намеднись вот чуть со двора меня не согнал: «Хочу, говорит, чтоб у меня немка в экономках была!» Ну, рассудите вы сами. Станислав Фаддеич, хуже, что ли, я немки-то!

Понжперховский. Сс... да он должен был бы радоваться, что ему дворянка служит!

Гнусова. Тоже и я говорю... насилиу уж его Аксинья Ивановна уняла!

Понжперховский. Д-да-с... так вот видите: стало быть, Аксинья-то Ивановна добрая!

Гнусова. И, сударь, не говорите! тоже озорница выросла!

Понжперховский. Это можно изменить-с... Будет не только шелковая, а даже бархатная; на это манера есть-с... А вы исполнили порученьице-то, моя почтенная?

Гнусова. Говорила, сударь... только она все чтой-то мнетса... сначала было подалась, а потом и опять на попятную.

Понжперховский. Да что же такое-с?

Невинные рассказы. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru

Гнусова. Да говорит, что ты больно по гостям шататься любишь, а я, говорит, желаю, чтоб муж у меня бессменно при мне сидел...

Понжперховский. Ну, скажите пожалуйста! Ведь вот жадность какая! Да вы бы внушили ей, моя почтеннейшая, что и без того ей уж под тридцать!

Гнусова. Говорила я, так она все свое: папаша, говорит, коли захочет, так для браку и из Петербурга генералы приедут!

Понжперховский. Д-да... а как хотите, это ведь правда, что дрянная-то кровь, как ты там ее ни перегоняй сквозь куб, а все скажется... Мне не ее-с, а вот приложений-то жалко!

Гнусова. Что и говорить, сударь!

СЦЕНА III

Те же и Доброзраков (роста большого и несколько при этом сутуловат; смотрит угрюмо; в военном сюртуке).

Доброзраков (становясь в дверях). Пану полковнику здравия желаем! Чи добрже маешь, пане?

Понжперховский. Что нам делается, доктор! от нас вам пожива плохая.

Доброзраков. Ну, это еще бабушка надвое сказала... об этом будет у нас в то время разговор, как ноги, дружище, протягивать станешь! (Устремляет взор на водку.) А! и водка на столе! это добрже! А ну, полковник, испытаем-ка целебные свойства этой жидкости! Мне, я вам скажу, что-то сегодня нездоровится: стара стала, слаба стала... потуда и жив, покуда внутри водкой сполоснешь! Да и та нынче изменять стала! (Пьет.) Было, было и наше времечко! выпьешь, бывало, сколько подымеешь, а нынче... сколько глазом окинешь! (Все смеются.)

Понжперховский. А что вы думаете, доктор: может быть, от этого-то всполаскивания оно и не действует. Вот в наших сторонах помещик был, тоже занимался этим, так, поверите ли, внутренности-то у него даже выгорели все – так и скончался-с!

Доброзраков. Вздор, сударь! (Ударяет себя по животу.) Эта печка такого сорта, что как ее ни топи, все к дальнейшей топке достойна и способна... Я вот шестой десяток на свете живу и могу сказать, бывала-таки у нас топка... да, изрядная! А все хоть сейчас в поход готов!.. (Гнусовой.) Иван Онуфрич встал?

Гнусова. Никак нет еще, Иван Петрович: как можно!

Доброзраков. То есть он и проснулся, пожалуй, да тот еще час, видно, не пробил, в который дуракам просыпаться прилично... Э-э-эх! то-то вот и есть: мужика сколько ни вари, все сыростью пахнет! Издали-то он ни то ни се, а что ближе, то гаже!

Гнусова (иронически). Ну так, сударь. Известно, возвысил бог куликов род – как же и не покуражиться ему!

Доброзраков. Люблю за то, что, по крайней мере, не говоря худого слова, ноги на стол задрал! Повторим, полковник. (Подносит Понжперховскому рюмку; оба пьют.)

Понжперховский. Это вы истинную правду, доктор, сказали: человек, покуда в диком состоянии находится–ничего... даже можно сказать, что это именно почтенный человек-с! Но коль скоро повезла ему фортуна или успел он, так сказать, надуть себе подобного, то это именно даже удивительно, какой вдруг переворот в нем бывает!

Доброзраков. Какой тут переворот? Первым делом – ноги на стол... этот переворот и хавронья сделать может!

Понжперховский. Правда, доктор! Я сам иногда, глядя на него, думаю, зачем он, например, бороду бреет?

Доброзраков. С бородой-то, по-моему, еще лучше. Борода глазам замена: кто бы плюнул в глаза – плюнет в бороду!

Все смеются.

Понжперховский. Или, например, зачем ему такой дом? Он еще не знает, как и ходить-то по паркету... Кабы этикие-то средства да человеку образованному, сколько бы можно добра тут сделать!

Доброзраков. Нет, вы лучше скажите, зачем ему годовой врач? вот вы что скажите! Ведь у него, кроме прыщей на носу, и болезней-то никаких не бывает!

Гнусова (иронически). Чтой-то уж и не бывает! Вы, Иван Петрович, уж, кажется, не в меру его конфузите!

Доброзраков (смотрит на часы). Однако надо ему сказать, что пора бы и перестать валяться-то... Уж и султан турецкий давно поди встал!

СЦЕНА IV

Те же и Дмитрий Иванович (вбегают стремительно; одет франтом и завит).

Дмитрий Иванович. Где папаша? где папаша? Двенадцатый час, а он там прокладается! Вы-то чего ж смотрите, Степанида Карповна!

Гнусова (оскорбляясь). Помилуйте, Дмитрий Иванович! я ведь дама... разве могу я в опочивальню к вашему папаше входить?

Дмитрий Иванович (останавливаясь в изумлении перед Гнусовой). Дама?!..а кто же вам сказал, что вы дама?

Гнусова. Все же, чай, не мужчина, сударь!

Дмитрий Иванович. Так вы говорите «женщина», а то «дама»!

Доброзраков. Да что ж такое случилось, Дмитрий Иванович?

Дмитрий Иванович (размахивая руками). Князь... князь... желает узнать о папашинем здоровье... поняли, что ли?

Гнусова, всплеснув руками, стремительно убегает.

Доброзраков (начиная застегиваться). Ах ты, господи! сам его сиятельство едет!

Дмитрий Иванович. Кто вам говорит про его сиятельство! Поедет к вам его сиятельство! Будет с вас и того, если и Леонида Сергеича пришлет!

Доброзраков (расстегиваясь). А! Разбитной! ну при этом и в рубашке быть предостаточно!

Дмитрий Иванович. Вы, доктор, кажется, забываетесь! Вы не понимаете, в каком доме находитесь!

Доброзраков (озираясь кругом). А в каком? в каменном!.. Ну, да полноте, Дмитрий Иванович, я ведь это так, шутки ради... Известно уж, Леонид Сергеич особа не простая... где ж нам против них! Я вам так даже скажу, что я и купаться-то бы перед ним в одной рубашке не осмелился, а так бы вот в мундире и полез в воду...

Дмитрий Иванович. Вы все с своими шутками!

Доброзраков. Старик ведь я, Дмитрий Иванович, кому же и пошутить-то!

Понжперховский. А мне, видно, уйти покудова... не люблю я этого Разбитного!

Доброзраков. Что так?

Понжперховский. Гордишка-с!

СЦЕНА V

Дмитрий Иванович и Доброзраков.

Невинные рассказы. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru
Дмитрий Иванович. Ну, скажите, доктор, зачем, например, этот выходец сюда таскается?

Доброзраков. А так вот, просто потому, что есть умок сладенько поесть... Вы уж очень строги, Дмитрий Иванович.

Дмитрий Иванович. Нет, я не строг, доктор! я только желаю, чтоб в этом доме чистый воздух был... понимаете? Знаете ли, как у меня здесь наболело, доктор? (Указывает на сердце.) Ведь на улицу выйти нельзя: свинья там в грязи валяется, так и та, чего доброго, тебе родственница!

Доброзраков. Да, это зрелище тово... нельзя сказать, чтоб пейзаж живописен был!

Дмитрий Иванович. Нет, вы войдите в мое положение, доктор! Намеднись вот иду я в хорошей компании мимо рядов; ну, и княжна тут... Только откуда ни возьмись – бабушкин брат; весь в кубовой краске выпачкан: «А это, говорит, кажется, наш Митюха с барами-то ходит!» Вы поймите, что я тут должен был вытерпеть!

Доброзраков. А вы бы, Дмитрий Иванович, дедушку-то под салазки! Знаете, и пословица гласит: «Еремея потчуют умея, за ворот да в три шеи!» Ну, и вы бы так-с!

Дмитрий Иванович. Вы все шутите, доктор, а мне уж не до шуток, право! (Подходит к закуске.) Господи! даже закуски порядочной подать не могут! грибы, да рыжики, да ветчина! Эй, кто тут есть?

Является горничная.

Да позови ты лакея, варвары вы этакие! ведь ты и при гостях, пожалуй, сюда вломишься! Возьми поднос да вели приготовить закуску – генеральскую, слышишь?

Горничная берет поднос и уходит. За дверьми слышен шорох.

А! да вот, кажется, и папаша идет!

Доброзраков (вполголоса). Раздайся грязь, навоз ползет!

СЦЕНА VI

Те же и Хрептюгин (в пестрых брюках и коротеньком сюртуке; на шее повязан неглиже желтый батистовый платочек; в руках трубка, из которой он полегоньку покуривает; ходит с маленьким развальцем и шаркает ногами).

Хрептюгин. А! Démétrius! видно, его сиятельство стосковался по нас? Леонид Сергеич, что ли, изволит жаловать? Ну, что ж, милости просим! приготовлений не делаем, а запросто – милости просим!

Доброзраков. Что вам, Иван Онуфрич? разумеется, вы люди сильные, вам не в диковинку высоких гостей принимать!

Хрептюгин. Какие, братец, это гости! между нами, просто шавера! Вот в Петербурге... это точно... там я на своем месте..

Доброзраков. Что и говорить! я вот насчет здоровья узнать приехал...

Хрептюгин. Да что, братец! ни шатко, ни валко, ни на сторону! Желудок все... чуть, знаешь, съешь что-нибудь этакое... не совсем легкое... просто, братец, дело дрянь выходит!

Доброзраков. Да вы бы поберегли себя. Ведь ваше здоровье не то, что, например, наше. Мы и помрем, так никто не заметит: все равно что муха померла; ну, а вы совсем другое дело...

Хрептюгин. Знаю, братец, знаю, да что прикажешь делать? С волками жить, по-волчьи выть – иногда и перепустишь!.. Démétrius! ты бы, дружок, закуску велел приготовить; скажи Гнусовой, что там на третьей полке жестянка непочатая стоит.

Дмитрий Иванович. Я уж сказал... Да что это у вас, рара, с утра до вечера точно кабак! только и делают, что водку пьют... ведь это свинство!

Невинные рассказы. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru

Доброзраков. Ах, Дмитрий Иваныч! да ведь папенька вам сказывали, что с волками жить, по-волчьи выть... ну, и водка, стало быть, поставлена тут правильно!

СЦЕНА VII

Те же и Живновский (входит из средних дверей).

Живновский. Благодетелю Ивану Онуфричу низжайше кланяюсь. Дмитрий Иваныч! Иван Петрович!

Хрептюгин. Откуда бог принес?

Живновский. Все хлопотал-с... Кто что, а я все на пользу общую-с... На вчерашнем пожарище был-с.

Хрептюгин. Потух, что ли?

Живновский. Дымится, благодетель, дымится! По этому-то случаю я и был. Распорядиться, знаете, некому! полициимейстеришка дрянь, пожарные тоже-с – вот и пришлось за них работать! всю ночь провозились, да и утро так между пальцев ушло!

Доброзраков. Ишь тебя нелегкая носит! точно тебе тысячи за это дают!

Живновский. Помилуйте, Иван Петрович! ведь человечество погибает!

Доброзраков. А я так думаю, что пожар-то тебе за-место праздника!

Живновский. Нельзя же-с! (Озираясь.) А водочка-то, видно, «ау» сказала?

Доброзраков. Ау, брат!

Живновский. Эхма! а не худо бы после трудов выпить!

Хрептюгин. Ну, и подождешь – не умрешь. Рассказывай, кого же ты на пожарище видел?

Живновский. Сама княжна Анна Львовна там была, и с Леонидом Сергеичем... Пожелали тоже о подробностях узнать – ну, я им все это в живой картине представил... Вдова, говорю, пятеро детей... все это, знаете, в необходимом лишь, по ночному времени, ношебном платье. Да, не дай бог никому – вот я как скажу! бывал я, конечно, в переделах: и тонул-с, и со второго этажа прыгивал... ну, а от огня бог избавил! А впрочем, Леонид-то Сергеич к вам ведь едет.

Хрептюгин. Разве говорили что-нибудь?

Живновский. Говорили, благодетель, как не говорить! Как я, знаете, пересказал им все это, так княжна тут же к Леониду Сергеичу обратилась: иль фо, [71] говорят, Khrerptioughine.

Дмитрий Иваныч (озабоченно). Деньги при вас, папаша?

Хрептюгин. Небось вот у него (показывает на Живновского) займы попрошу... ха-ха! А как ты думаешь, Иван Петрович, четвертной довольно!

Дмитрий Иваныч. Что вы, что вы, папаша! да Леонид Сергеич и не возьмет! Нет, уж жертвовать так жертвовать – меньше сторублевой нельзя!

Хрептюгин. Ну, можно и сторублевую... Конечно, и то сказать: у них только и надежды что на меня!

Доброзраков. Что и говорить, Иван Онуфрич: на нас, грешных, какая же надежда! Мы люди простые: живем богато, со двора покато, чего не хватись, за всем в люди покатись!

Хрептюгин. Только, братец ты мой, одолели уж они меня очень – даже словно вот мухи: и в глаза, и в нос, и в уши так и лезут! Намеднись вот на приют: от князя полиция приезжала – нельзя, говорит, меньше тысячи; через час места председатель

Невинные рассказы. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru чиновника присылает – ну, пятьсот; потом управляющий... как-то оно уж и надоело, братец!

Доброзраков. Зато честь большая, Иван Онуфрич!

Хрептюгин. Ну, конечно...

Живновский. Уж там честь ли, не честь ли, а отдать все-таки придется... Так по-моему, уж лучше честью...

Хрептюгин (величественно). Ну, ты что еще!

Дмитрий Иванович. Я удивляюсь, папаша, как вы говорите о таких пустяках... это все прежнее сквалыжничество в вас действует! А вы вспомните, что князь в надворные советники вас представил!

Хрептюгин. Ну, конечно... А впрочем, мы здесь промежду себя, так я вам могу по секрету сказать, что этот господин надворный советник уж давно меня измаял! Может, и желудок-то от этого беспокойства расстроился!

Живновский. Это сушая правда, Иван Онуфрич! всякое огорчение прежде всего на желудок кидается.

Хрептюгин (Доброзракову). Да, брат, могу сказать, что я эти пожертвования именно знаю! Еще княжой предместник эту историю-то поднял: «Пожертвуй да пожертвуй на общепольное устройство!» Ну, и пожертвовал: в саду беседок на мои денежки настроили, решетку чугунную вывели... ну, и прислали в ту пору признательность...

Живновский. Поди, чай, как сердцу-то прискорбно было!

Хрептюгин. Я к его превосходительству: «Так, мол, и так, говорю, что ж это за мода!» А он мне: «Ну, говорит, видно, еще жертвовать приходится – давай, говорит, плавучий мост через реку строить!» Делать нече, позатянулся уж я в это болото маленько, стал и мост строить!.. Ну, и прислали медаль... и что ж бы ты, сударь, думал: мне же его превосходительство по этому случаю пир задать велел!

Дмитрий Иванович. Ах, папаша! право, вас даже тошно слушать, что вы говорите!

Доброзраков. А что, Иван Онуфрич! ведь коли по правде-то сказать, в ту пору и медаль-то для вас, чай, куда лестно было получить: ведь вы тогда только-только разве не в мужиках были!

Живновский. Правильно.

Хрептюгин (смущаясь, живновскому). Ну, ты чего еще!

Дмитрий Иванович (смотря в окно). Едет, едет! Ах ты, господи! А эта бестолковая Степанида Карповна и закуски не дает! Голова кругом идет!

СЦЕНА VIII

Те же и Разбитной (входит гордо и даже с некоторою осмотрительностью).

Разбитной. Здравствуйте, Иван Онуфрич, здравствуйте! Ну, как ваше здоровье? (Жмет ему руку.)

Хрептюгин (развязно). Милости просим, Леонид Сергееч... Слава богу-с... Очень благодарен его сиятельству.

Разбитной. Да, я от князя. Князь сегодня встал в очень веселом расположении духа... Ночью, знаете, пожар этот был, и это очень старика развлекло. Князь поручил мне осведомиться о вашем здоровье, любезнейший Иван Онуфрич, – право! Сегодня, знаете, кушает он чай и говорит мне: «А не худо бы, mon cher, [72] тебе проведать, как поживает мой добрый Иван Онуфрич».

Хрептюгин. Премного благодарны его сиятельству... Démétrius!

Дмитрий Иванович. Сейчас, папаша! (Выходит на короткое время и потом возвращается.)

Невинные рассказы. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru

Разбитной. Он очень часто о вас вспоминает – такой, право, памятный старикашка! Я вам скажу, что если бы этому человеку руки развязать, он, я не знаю, что бы наделал!

Хрептюгин. Попечение имеют большое; я сколько начальников знал, а таких заботливых именно не бывало у нас!

Доброзраков. Взгляд просвещенный, Иван Онуфрич!

Разбитной. Д-да; он ведь у нас в молодости либералом был, как же! И теперь еще любит об этом времени вспоминать: «Я, говорит, *mon cher*, смолоду-то сорвиголова был!» Преуморительный старикашка.

Входит лакей во фраке с подносом, на котором поставлены разные закуски; в дверях показывается Гнусова; в течение всей сцены она стоит за дверьми и по временам выглядывает.

Хрептюгин. Милости просим, Леонид Сергеич, закусить!

Разбитной. Э... я охотно съем этого страсбургского пирога. (Подходит к столу и ест.) Да вы гастроном, почтеннейший Иван Онуфрич!

Хрептюгин. Уж куда нам, Леонид Сергеич!.. вот здоровье мое все плохо... все, знаете, желудок! иной раз и готов бы просить его сиятельство сделать мне честь хлеба-соли откусать...

Дмитрий Иванович. А что, в самом деле, папаша! князь к нам так милостив, что с нашей стороны даже свинство, что мы не покажем ему нашей признательности.

Хрептюгин. Если его сиятельству угодно, то я завсегда готов... Для нас, Леонид Сергеич, это большого счета не составляет.

Разбитной. Хорошо-с... я скажу князю; он, вероятно, назначит вам день, когда вы можете принять его... Однако пирог этот так хорош, что я решаюсь съесть еще кусочек... *Ma foi, tant pis pour le dîner du prince!*[73] А вы, доктор?

Доброзраков. А вот сейчас-с. Мы, признаться, ко всем этим тонкостям не привыкли; по-нашему, этак колбасы кусок, чтоб, знаете, жевать было что.

Разбитной. Вы добрый, доктор!

Доброзраков (налив рюмку водки, кланяется). За здоровье его сиятельства, князя Льва Михайлыча!

Жив нов с кий. А мне, видно, без потчеванья выпить! (Подходит к столу.)

Хрептюгин (Доброзракову). Что ты, что ты, Иван Петрович! – кто ж пьет здоровье водкой... *Démétrius*, что ж?

Дмитрий Иванович. Сейчас, папаша! (Убегает.)

Разбитной (вслед ему). *Mais dites, mon cher, qu'on donne des verres et que le Champagne soit frappé.*[74] (Хрептюгину.) Мы вашего сына таки вышколим, Иван Онуфрич.

Лакей вносит поднос с стаканами и бутылку шампанского; Дмитрий Иванович наливает всем, кроме Живновского.

За здоровье его сиятельства, князя Льва Михайлыча! (Выпивает.)

Дмитрий Иванович. Ура! (Выпивает.)

Доброзраков. Желаю здравствовать! (Выпивает.)

Живновский. Что ж, и мне, видно, выпить! Я, признаться, не охотник до виноградного! – ну уж для его сиятельства! (Наливает сам себе стакан и пьет.)

Невинные рассказы. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru
Хрептюгин. Сто лет жить да богатеть! Вот это я вино люблю, Леонид Сергеич!
потому что оно вино легкое... тонкое...

Разбитной. Господа! я требую слова!

Дмитрий Иваныч. Шш...

Все умолкают.

Разбитной. Господа! мне приятно будет засвидетельствовать перед князем о тех чувствах искренней преданности, которые я нашел в вас. Поверьте, господа, что для сердца начальника дороже всяких почестей, дороже всех богатств сердечное расположение подчиненных. Нет сомнения – и история нам доказывает это с последнею очевидностью, – что все сильные государства до тех пор держались, покуда в сердцах подчиненных жили чувства любви и преданности. Как скоро эти истинные, основные начала благоустроенных обществ исчезали, самые общества переставали быть благоустроенными. Я говорю это, господа, здесь, в этом доме, потому что нигде в другом месте слова мои не могут иметь такого смысла. Здесь я вижу почтенного отца семейства, жертвующего всею жизнью на пользу общую (указывает на Хрептюгина); вижу старых воинов, принявших грудью не один удар во имя любви к отечеству (указывает на Доброзракова и Живновского; последний крутит усы), и, наконец, вижу юношу, полного надежд и веры в будущее... И все эти лица: и маститая старость, и увенчанная розами юность – соединяются в одном общем чувстве преданности к любимому начальнику... Господа! мае приятно от лица князя изъявить вам полную его признательность! Господа! я пью за здоровье любезнейшего нашего хозяина! (Подходит с стаканом к Хрептюгину и жмет ему руку.) Иван Онуфрич! да продлит бог ваш век для того, чтоб вы могли на долгие времена следовать влечению вашего доброго сердца и отирать слезы сирых, лишенных крова... (Выпивает.)

Дмитрий Иваныч. Ура! (Пьет.)

Доброзраков (в сторону). ловко подпустил!..

Живновский (в сторону). А по-русски это значит: пермете... ле бурс[75] (показывает руками). Молодец!

Хрептюгин. Очень, очень вам благодарен, Леонид Сергеич! утешили вы меня... Именно это правда, что на пользу общую! Вчера был пожар, Леонид Сергеич, остались там вдовы... смею просить вас принять от трудов моих двести рублей на общественное устройство! (Вынимает из бумажника деньги и отдает Разбитному.)

Живновский. Молодец, Иван Онуфрич!

Хрептюгин. Мало жертвовать, Леонид Сергеич, не стоит-с, так, по крайности, пущай хоть богу за нас помолят! а деньги что-с? деньги – дело наживное-с!

Живновский. Разумеется, благодетель, разумеется... вот в вино вассервейнцу малую толику подпустите – ан пожертвование-то в тот же карман и возвратится... дивны дела твои, господи!

Хрептюгин. Я, Леонид Сергеич, люблю благодетельствовать... Я коли деньги имею, так желаю, чтоб всякий, можно сказать, от лозы виноградной вкусил!

Разбитной (кладя деньги в карман). Поверьте, Иван Онуфрич, князь сумеет оценить...

СЦЕНА IX

Те же и Фурначев.

Фурначев (останавливается в дверях и говорит за кулисы). Скажи, братец, моему кучеру, чтоб он ехал домой и доложил Настасье Ивановне, что я прибыл в дом Ивана Онуфрича благополучно. Да сейчас же чтоб и воротился... Иван Онуфрич! Леонид Сергеич! Доктор! (Жмет всем руки. кроме Живновского.) Вы, господа, кажется, с утра за делом!..

Доброзраков. По благотворительной части, Семен Семеныч!

Живновский. Призираем этак вдов и сирот-с... А больше насчет вдов-с...

Хрептюгин. Да не угодно ли присесть вашему высокородию! (Суетится около Фурначева.)

Фурначев. Не трудись, любезный, я сяду сам!.. Так вы, господа, по благотворительной части? что ж, это хорошо! всякий из нас должен уделять от избытков своих!

Разбитной. Скажите, пожалуйста, Семен Семеныч, вы не были сегодня у князя?

Фурначев. Не был, Леонид Сергеич, не был, потому что не имел чести быть приглашенным.

Разбитной. Странно! а он хотел вас просить!.. знаете, вчера был пожар, погорела вдова с детьми... что-то много их там... княжна очень интересуется положением этих сирот.

Фурначев. Это наш долг, Леонид Сергеич, отирать слезы вдовых и сирых; это, можно сказать, наша священная обязанность... Я не о себе это говорю, Леонид Сергеич, потому что у меня правая рука не знает, что делает левая, а вообще...

Вносят стаканы с шампанским.

Разбитной. Так вы заезжайте к князю: ему будет очень приятно. (Берет стакан и намеревается пить без тоста.)

Хрептюгин. Нет, Леонид Сергеич, позвольте! (Берет стакан.) Господа! за здоровье Леонида Сергеича!

Доброзраков делает Хрептюгину знаки, указывая на Фурначева; Хрептюгин спохватывается, подбегает к Фурначеву и говорит вполголоса.

Извините, ваше высокородие! обмолвился... мы ваше здоровье после-с... на прохладе выпьем.

Фурначев (тоже вполголоса). Что раз уж сделано, того воротить нельзя, любезный! Все воротить можно, а сделанное воротить невозможно.

Разбитной. Господа! я не нахожу слов выразить всю мою признательность! Почтенный хозяин, предложивший этот тост, почтил не меня самого, а в лице моем упорный труд и непоколебимое бескорыстие на высоком поприще общественного служения! Господа! не под влиянием винных паров, но под влиянием благотворных движений моего сердца говорю я: девизом нашим должен быть труд скромный, но упорный, труд, никем не замечаемый, но честный, труд, сегодня оканчивающийся, а завтра снова начинающийся. Господа! настала для нас пора обратить наше умственное око внутрь нас самих, ознакомиться с нашими собственными язвами и изыскать средства к уврачеванию их. Не блестящая эта участь, и не розами, но терниями усыпан путь неизвестного труженика, в поте лица возделывающего землю, плодами которой воспользуются потомки! Но благословим его скромный, невидный труд, пошлем ему вслед самые искренние пожелания нашего сердца... Вспомним, что только они могут осветить лучом радости безотрадную пустыню, пред ним расстилающуюся, – вспомним это и не пожалеем ни добрых слов, ни теплого участия, ни ободрений... Я сказал, господа! (Пьет.)

Дмитрий Иваныч. Ура! (Пьет.)

Фурначев (жмет Разбитному руку). Вы благородный человек, Леонид Сергеич! (Отпивает немного и ставит стакан).

Живновский (в сторону). И черт его знает, где он говорить научился!

Хрептюгин (Фурначеву). Сделайте ваше одолжение, ваше высокородие! опростайте стаканчик-то!

Фурначев. Не могу, Иван Онуфрич, не могу. Здоровья я пожелал Леониду Сергеичу от глубины души, а пить не могу. Утром, знаете, натура не принимает.

Разбитной. Господа! я не могу больше! сердце мое совершенно переполнено... Будьте

Невинные рассказы. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru уверены, мой любезнейший Иван Онуфрич, что я со всею подробностью передам князю те приятные впечатления, которые доставило мне утро, проведенное у вас... Прощайте, господа! (Уходит.)

Дмитрий Иванович провожает его за двери.

СЦЕНА X

Те же, кроме Разбитного.

Фурначев (Хрептюгину). А за что же ты, любезный, меня обидел?

Хрептюгин. Помилуйте, ваше высокородие, извините!

Фурначев. Нет, ты скажи: кто статский советник и кто титулярный советник?

Живновский (в сторону). Да, брат, дал ты маху, Хрептюга!

Хрептюгин. Да уж помилуйте, ваше высокородие! язык просто сдуру, по течению речи сказал!

Фурначев. А язык надо сдерживать... на то, братец, голова человеку дана, чтоб язык сдерживать!

Доброзраков. Это правда, Семен Семеныч! Только я вам именно доложу, что Иван Онуфрич снежевничал больше от необразованности... не привык еще, знаете, в хорошем обществе жить... все ему и кажется, что кругом-то свиньи!

Живновский (в сторону). Заступился!

Хрептюгин (насильственно улыбаясь). Все шутит... ах, Иван Петрович, Иван Петрович! (Фурначеву.) Мы вашему высокородию за нашу провинность после трикраты послужим!

Фурначев. То-то «послужим»! ты смотри же, этого слова не забудь!

Дмитрий Иванович (возвращаясь). Нет, каково говорит-то Леонид Сергеич, каково говорит! А еще удивляются, что княжна им интересуется! Да я вам скажу: будь я женщиной, да начни он меня убеждать, так я и бог знает чего бы не сделал.

Фурначев (с расстановкой). Мягко стелет, но жестко спать.

Живновский. Это правильно!

Фурначев. В голове-то у него ветер ходит! Ему, конечно, еще незнакома наука жизни, а ведь куда корни учения горьки!

Хрептюгин. Истинная правда, ваше высокородие, истинная правда!

Фурначев. Тоже приглашает к пожертвованию! А почему он знает: может быть, тот, которого он, по легковёрности своей, считает Лазарем богатым, и есть тот самый убогий Лазарь, о котором в Писании сказано! (Краснеет и на секунду умолкает.) В чужом кармане денег никто не считал... Про то только владыко небесный может знать, что у кого есть и чего нет! А если и подлинно деньги есть, так они, быть может, чрез великий жизненный искус приобретены! (Умолкает.)

Наступает несколько минут тягостного безмолвия, в продолжение которого Живновский выпивает две рюмки водки.

Хрептюгин (осторожно возобновляя разговор). Что нового в городе делается, ваше высокородие?

Фурначев. По палате у нас, славу богу, благополучно. Вчерашнего числа совершился заподряд... Слава всевышнему, благополучно!

Хрептюгин. Почему же за ведро-с?

Фурначев. По пятидесяти пяти копеек. Цена настоящая.

Живновский. Ну, и на нищую братию, чай, пришлось... это правильно!

Невинные рассказы. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru

Хрептюгин. Молчи, сударь, молчи! Ваше высокородие! прикажите его с лестницы спустить!

Фурначев. Оставь!

Хрептюгин (Живновскому). Ничтожный ты человек! вот как его высокородие про тебя разумеет!

Фурначев. Оставь!

Вновь наступает несколько секунд молчания, в продолжение которых Фурначев величественно барабанит об ручку дивана, а Хрептюгин несколько раз порывается возобновить разговор, но не может.

Хрептюгин (решительно). Не прикажете ли холодененького, ваше высокородие?

Фурначев. Не нужно!

Хрептюгин. Или из закусок чего-нибудь?

Фурначев. Это... можно.

СЦЕНА XI

Те же и лакей.

Лакей (подает Хрептюгину письмо). С почты-с.

Хрептюгин (рассматривая письмо). От кого бы? А! от Антонионаки! (К Фурначеву.) Позвольте, ваше высокородие?

Фурначев. Можешь.

Доброзраков. Ишь ведь, и знакомые-то у него какие: все аки да идросы!

Живновский. Питейная часть-с... греки, римляне, финикияне... вавилон-с!

Фурначев снисходительно смеется.

Хрептюгин (читает). «Спешу уведомить тебя, любезный друг Иван Онуфрич, что дело о твоём чине приняло самую неприятную турнюру. Известный тебе и облагодетельствованный тобой столоначальник оказался величайшим вертопрахом, ибо не только не употребил врученных тобою денег по назначению, но, напротив того, истратил их все сполна на покупку картин непристойного содержания»... (Останавливается совершенно растерянный.) Гм... да... эта штука... могу сказать... ловкая, черт побери! (Усмехается и вздрагивает.)

Дмитрий Иванович (подбегая к отцу). Ну что ж за беда! надо еще жертвовать – вот и все! есть от чего приходиться в отчаяние!

Живновский. Правильно! это значит только, что карьер нужно сызнова начинать!

Доброзраков. Может, вы недоложили сколько-нибудь, Иван Онуфрич?

Хрептюгин (в раздумье). Нет, да что ж это такое? Жизни, что ли, они меня хотят лишить? (К Фурначеву). Ваше высокородие!..

Фурначев. Жаль мне тебя, Иван Онуфрич! Пострадал, брат, ты... это именно, что пострадал! Однако ты еще в том можешь утешение для себя сыскать, что совесть у тебя спокойна... а много ли, скажи ты мне, много ли найдешь ты на свете людей, которые с чистым сердцем могут взирать на своего ближнего? Ты вот что в соображение, друг мой, возьми... и утешься!

Живновский. Позвольте, благодетель, я стишки вам на этот случай скажу... я ведь в молодых-то летах на все руки был, даже и стихи сочинял... (Припоминает.) Как бишь? «Не унывай»... «не унывай»... «не унывай»... эх, позабыл, канальство! ну, да все равно... главное-то «не унывай»... стало быть, и вам унывать не следует.

Невинные рассказы. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru
Хрептюгин (тоскливо). Господи! денег-то, денег-то что изведено!

Занавес опускается.

ДЛЯ ДЕТСКОГО ВОЗРАСТА

Вечер. Юный поэт Кобыльников (он же и столоначальник губернского правления) корпит над мелко исписанным листом бумаги в убогой своей квартире и с неслышанным озлоблением грызет перо и кусает ногти. Уже седьмой час; еще час, и квартира советника Лопатникова озарится веселыми огнями рождественской елки; еще час, и она выйдет в залу, в коротеньком беленьком платьице (увы! ей еще только пятнадцать лет!), выйдет свеженькая и улыбающаяся, выйдет вся благоухающая ароматом невинности!

– А что, мсьё Кобыльников, вы исполнили свое обещание? – спросит она его.

При этой мысли Кобыльников вскочил со стула как ужаленный и схватил себя за голову. Он начинал сознавать, что заложил слишком большой фундамент своему стихотворению. Уж две строфы, каждая в восемь стихов, готовы и переписаны, но, судя по развитию, которое принимала основная мысль, нельзя было даже приблизительно предвидеть, какой будет исход ее. Он уже принес достаточную дань восторгов возникающим красотам милой девочки; упомянул и о платьице, и о шейке лилейной, и о щечках «словно персик пушистых»...

И о том, о чем хотел бы,

Да не смею говорить...

Теперь он задал себе вопрос: кому суждено обладать всеми этими сокровищами, старцу ли бессильному или поэту чернокудрому? Уж он начертал два первых стиха:

О, скажи ж, чей мощный образ
Эту грудь воспламенит?
Эти перси...

Но тут воображение окончательно отказывалось служить. Рифма на «образ» решительно не приходила; то есть, коли хотите, и приходило кое-что в голову, но все какая-то чушь: «вобраз», «нообраз» – черт знает какая дребедень!

– Нет, да каково же! каково же! – вопиял он в отчаянии, – каково это с первого же раза подлецом себя выставить!

А время между тем равнодушно смотрело на его горечь и подвигало да подвигало вперед часовую стрелку. Кобыльников тоскливо взглянул на часы и увидел, что до семи остается только пять минут.

– Нет, ни за что на свете не поеду! – воскликнул он, бросаясь в изнеможении на стул, – лучше один просижу, лучше без ужина останусь, нежели подлецом себя выставлю!

«Нобраз!» – насмешливо шептало между тем воображение.

– Фу! мерзость! и прилежут же в голову такие пошлости, что ни складу ни ладу нет!

Кобыльников плюнул с досады.

– Ни за что не поеду! – повторил он, но вслед за этим ни с того ни с сего раздумался.

Молодость вдруг заговорила в нем ласкающими голосами. Перед глазами его рисуется залитая светом зала; посреди ее стоит елка, вся изукрашенная разноцветными лентами и фольгой; елка, которой ветви гнутся под бременем пастилы и других соблазнительных сластей. А вон и беленькое платьице, вон и головка, обрамленная темными кудрями! Господи! что за грация в очертаниях этой головки! что за свежесть, что за сокровища в этой едва-едва начинающей развиваться груди! И что за веселые звуки пролетают по комнате, когда эта милая девочка засмеется! Точно вот солнышко выглянет из-за хмурых туч, и все вдруг кругом улыбнется: и речка, которая до тех пор лениво катила серые волны, и ближняя лужайка, скрывавшая свой цветной ковер от дождей и холодов угрюмого ненастья, и статский советник

Невинные рассказы. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru
Поплавков, который сидит за карточным столом и двадцатый раз сряду озлобленно произносит «пас!». Вот она пошла танцевать – и все-то выходит у нее не так, как у других. Посмотрите, например, или, лучше сказать, прислушайтесь, как танцует Настя Поплавкова, Нюта Смущенская! «Конь бежит, земля дрожит!» А она! Неслышно, почти незримо летает она по крашеному полу, нимало не задевая крошечными ножками за землю, и вся как будто уносясь и исчезая вверх!

Но, кроме того, и ужин не лишен своей прелести. Уже накрывается длинный стол в задней комнате, и хотя руки дворового официанта Андрея не совсем чисты, но, судя по хлебосольным привычкам хозяина, нельзя сомневаться, что на столе будет и свежая осетрина, и жирный зажаренный лещ, и все, одним словом, что приличествует кануну такого великого праздника, как рождество Христово.

– И надо же быть такому несчастью! – рассуждает сам с собою Кобыльников, но рассуждает как-то вяло, без прежних порывов. Вообще видно, что картины, которые нарисовало ему воображение, произвели заметное расслабление во всем его организме.

В это время часы прошипели семь. Кобыльников машинально встал со стула и направился к платяному шкапу.

«Нобраз! нобраз!» – шепнул вдруг враждебный голос и остановил его на половине дороги.

С минуту еще длилась борьба его с самим собою, но наконец молодость взяла-таки свое. Кобыльников поспешно натянул на себя фрак и, взглянув на переписанные две строфы, покусился было попытать счастья, нельзя ли сбить их с рук в том виде, в каком они были, но, по внимательном прочтении, стихотворение показалось ему еще более недостаточным, нежели когда-либо. С досадою отшвырнул он его от себя и выбежал из квартиры.

На дворе стояла ночь, та слепая, досадная ночь, которая может случиться только в далеком, провинциальном городке, где откупщик еще не доведен кроткими мерами до сознания своей обязанности жертвовать достаточное количество спирта для освещения улиц. Злой и резкий ветер несея по улице, поднимая и крутя в воздухе целые столбы снежной пыли, и взвизгивал, и завывал, ударяясь об углы домов. Хорошо, что Кобыльникову предстояло пройти не более тридцати шагов, а не то пришлось бы ему, бедному, воротиться в квартиру и опять сесть за сочинение распроклятых стихов.

«Нобраз»! – взвизгнул вдруг ветер в самые уши поэта.

– Фу ты, черт! – пробормотал Кобыльников и, плотнее завернувшись в шинель, с усилием начал карабкаться вперед, утопая в сугробах снега, заваливших тротуар.

Но вот уж брезжит свет сквозь снежный туман: сначала он мелькает в виде крошечного круга, но мало-помалу круг разрастается, и освещенные окна советничьей квартиры представляются взору во всем их заманчивом великолепии. Издрогший и измученный, врывается Кобыльников в переднюю желанного дома и долгое время поправляет потерпевшие от снега части своего туалета.

– А! молодой человек! милости просим! – встречает его хозяин дома, Иван Кузьмич Лопатников, – ну что, одолели капустниковское дело?

– Кончил-с, – отвечает Кобыльников и мысленно говорит самому себе: «Что, если б ты знал, что я, вместо капустниковского дела, целые три часа корпел над сочинением стихов?»

– То-то, а не то нас с вами новый генерал совсем съест!

Но, разговаривая с хозяином, Кобыльников улучшает, однако ж, минуту, чтоб бросить взгляд в сторону, и с удовольствием примечает, что точно такой же взгляд выглядывает из-за елки и на него. Он спешит оставить гостеприимного хозяина и всеми силами души устремляется туда, откуда блеснул ему теплый луч привета и детской привязанности.

Читатель! не знаю, жила ли вы в провинции, но я, который благоденствовал в Вятке и процветал в Перми, жуировал жизнью в Рязани и наслаждался душевным

Невинные рассказы. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru спокойствием в Твери, я смею вас удостоверить, что воспоминания о виденных мною елках навсегда останутся самыми светлыми воспоминаниями пройденной жизни! Во-первых, какая-то умиротворяющая, праздничная струя носится в это время в воздухе, какая-то светлая, радостная мысль просится в душу при виде этих зажженных свечей, этих полных, румяных лиц, при звуках этого говора и смеха; а во-вторых, что за прелестные создания эти дети! как пытливо озираются их умненькие глазки! и как мало похожи они на своих отцов, тут же предстоящих и с томлением выжидающих момента, когда можно засесть за зеленый стол или приударить по питейной части! Иной родитель расползся поперек себя толще, лицо у него на круг швейцарского сыру похоже, даже носу словно совсем нет, а сынок у него, смотришь, шустренький, черномазенький, глазки так и прыгают, а носик римский, тоненький, словно выточенный; иной родитель похож на артиста, черноволосый, худощавый, бледный и вообще, что называется, интересный *jeune homme*, [76] а сынок у него похож на губернатора, который, в свою очередь, похож на копну. Вот и поди ты! Смотришь, бывало, на этих улыбающихся, кудрявых детей, смотришь и думаешь: неужели Ваня будет когда-нибудь советником питейного отделения? неужели эта резвая, быстроглазая Ляля будет когда-нибудь вице-губернаторшей? И, подумавши, взгрустнешь потихоньку.

Коля, мой друг! не отплясывай так бойко казачка, ибо ты не будешь советником питейного отделения! Скоро придет бука и всех советников оставит без пирожного! Но ты, быть может, думаешь, что ум человеческий изобретателен, что он и из патентов пирожное сделать сумеет – о, в таком случае веселись, душа моя! отплясывай казачка с свойственною твоим летам беспечностью и доверчиво взирай на будущее!

Ляля, милый мой ребенок! Не скругляй так своих маленьких ручек, не склоняй так кокетливо головушку на правую сторонушку, не мани так мило Митю Прорехина, ибо Митя не будет вице-губернатором! Скоро придет бука, и всех вице-губернаторов упразднит за ненадобность! Но, быть может, ты думаешь, что не в названье сила, что не исчезнет с лица земли русской чернилоносное чиновническое воинство, – о, в таком случае, мани, мани Митю Прорехина! ибо не малым будет он в этом воинстве архистратигом!

– Принесли? – спрашивает между тем Наденька у Кобыльников, который, пунцовый как вишня, стоит перед нею, переминая в руках шляпу.

– Я-с, Надежда Ивановна... я-с... я начал, но еще не окончил, – заикается Кобыльников.

– А я так думаю, что вы только похвастались, что умеете стихи писать!

И Наденька порхнула от него, как птичка.

– Я, Надежда Ивановна, много уж написал, – умолял вслед ей Кобыльников.

Но Наденька была уже далеко и щебетала, окруженная своими подругами.

– Ах, дай поскорее! – умоляла Нюта Смуценская.

– Mesdames! мы уйдем читать в спальную! – говорила Настя Поплавкова.

– Нечего читать! он только похвастался! он совсем и не умеет писать стихи! – отвечала Наденька голосом, которому она усиливалась сообщить равнодушный тон, в котором слышалась, однако ж, досада, – mesdames, мы его не будем принимать сегодня в наше общество!

В это время Кобыльников приблизился.

– Наденька! – сказал он умоляющим голосом.

Наденька вскинула головку и взглянула на него так гордо,

что бедный поэт внезапно почувствовал себя глупым.

– Вот еще новости! – сказала Наденька, и притом так громко, что Кобыльников осмотрелся во все стороны и не на шутку струсил, чтоб восклицания этого не услышал папа Лопатников.

Невинные рассказы. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru

После того вся юная компания порхнула в другую комнату, оставив Кобыльникова окончательно убитым.

– Какой он, однако ж, жалкий! – заметила при этом Нюта Смуценская.

– Вот еще, жалкий! хвостун – и больше ничего! – хладнокровно ответила жестокосердая Наденька.

Кобыльников стоял словно обданный холодной водой. На душе у него было смутно и пусто, и как на смех еще подвернулись тут два скверные и глупые стиха:

Ничто меня не утешает,
Ничто меня не веселит... –
которые так и жужжали, словно неотвязный комар, в ушах его.

«Что за проклятый вечер! Сначала эта рифма подлейшая, а теперь вот и еще какая-то мерзость лезет!» – подумал Кобыльников и даже сгорел весь от стыда.

А вечер между тем шел своим чередом.

Папа Лопатников без трех обремизил статского советника Поплавкова, несчастье которого до такой степени поразило присутствующих, что все, даже играющие, как-то сжались и притихли, как бы свидетельствуя этим скорбным молчанием о своем сочувствии к великому горю угнетенного многочисленным семейством мужа. Поплавков сидел красный как рак и как бы не понимал, что вокруг него происходит; даже ремиза не ставил, а бессознательно чертил пальцем по столу какую-то необыкновенную цифру. Супруга же его, заглянув в комнату играющих, тотчас повернула налево кругом и сказала во всеулышание:

– А мой дурак только и дела, что проигрывает!

Дети шумели и волновались: Митя Прорехин доказательно убеждал Васю Затиркина отдать ему свою долю орехов, приводя в основание такой резон, что у того, кто кушает много лакомства, делаются со временем соломенные ножки. Маня Кулагина упрашивала братца Сашу представить, как у них на дворе индейские петухи кричат: «Здравия желаем, ваше благородие!» Сеня Порубин, мальчик горбатенький и злоющий, как бы провидя, что происходит в душе Кобыльникова, подбегал к нему и начинал задирать насчет отношений его к Наденьке, причем позволял себе даже темные намеки относительно каких-то интимностей, будто бы существовавших между Наденькой и первоклассником-гимназистом Прохоровым, который в это самое время забился в угол и, видимо, наслаждался, ковыряя в носу. И Кобыльников никак не мог поймать Порубина, чтоб надрать ему хорошенько уши, потому что скверный чертенок, произведя ехидство, ускользал из рук его, как змея.

Наденька то и дело порхала по комнате и, как нарочно, смеялась и болтала с особенным увлечением именно в то время, когда проходила мимо огорченного поэта. Злую мысль внушил Кобыльникову Сеня Порубин.

– Еще бы не быть веселой, когда душка Прохоров здесь! – процедил он сквозь зубы в одну из минут, когда Наденька была близко него.

Наденька вспыхнула и как будто оступилась.

– Вы это что говорите? – спросила она, останавливаясь перед ним.

– Ничего; я говорю, что не мудрено, что некоторым людям весело: душка Прохоров здесь! – глупейшим образом настаивал Кобыльников, поигрывая ключиком от часов.

– Я надеюсь, однако, что от этой минуты между нами все кончено? – сказала Наденька и тотчас же удалилась.

– Это как вам угодно-с, – говорил вслед Кобыльников, – конечно, со мной расстаться что же значит, когда есть в запасе душка Прохоров!

Обида эта глубоко уязвила крошечное сердце Наденьки, тем более уязвила, что в упреке Кобыльникова была некоторая доля правды. Действительно, был короткий промежуток времени, но очень, впрочем, короткий, когда Наденька увлекалась

Невинные рассказы. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru
Прохоровым. Слишком рано развитый ребенок, она уже мечтала о чем-то; она украшала Прохорова различными достоинствами и добродетелями, которые создавало ее детское воображение; она любила уединяться с ним и с большою важностью говорила ему: «Теперь, Прохоров, потолкуемте о вашем будущем!»

Но Прохоров любил только ковырять в носу и говорил с увлечением единственно о лакомствах, потому что в душе был великий и страстный обжора. Увлечение Наденьки скоро прошло: она была даже убеждена, что никто ничего не заметил... и вдруг!! Наденька бегала около елки, суежилась и болтала без умолку, но сердце ее работало. Среди начатой фразы она вдруг почувствовала, что нечто теснит ее грудь, что нечто жгучее подступает к ее глазам. Она вырвалась из толпы и убежала во внутренние комнаты.

Кобыльников все это видел, но ничего не понял. Он видел, что Наденька весела, и понимал только то, что у Наденьки, должно быть, башмачок развязался, если она стремительно убежала.

А Наденька между тем, уткнувшись в подушку, обливала ее горячими слезами. И чем обильнее лились эти слезы, тем мягче и легче становилась самая обида, вызвавшая их, тем назойливее и назойливее смотрелось в душу иное чувство, чувство, которое в одно и то же время и заставляло ныть ее бедное сердце, и проливалось в него целые потоки радости и успокоения.

– Гадкий Кобыльников! – сказала она с последним всхлипыванием, – бедный Митенька! – повторила она вслед за тем, сладко задумавшись.

Елка между тем догорела; по данному знаку дети ринулись на нее всей толпой и тотчас же повалили на землю; произошло всеобщее замешательство; слышался визг, смешанный с кликами торжества; Сеня Порубин, несмотря на свою хилость и многочисленные изъяны, как-то так изловчился, что успел запихать в свои карманы чуть не половину гостинцев; Прохоров тоже полез было на фуражировку вместе с прочими, но ему не удалось достать ни одной палочки пастилы, потому что дети подкатывались ему под ноги и решительно не давали приняться за дело как следует; да к тому же и няня маленьких Поплавковых без церемонии поймала его за руку и вывела из толпы, сказав при этом строго: «Стыдись, сударь! такой большой вырос, а с детьми баловаться хочешь! еще Машеньке ручку отдавишь!»

Как было бы совестно Наденьке, если бы она видела эту сцену!

Но об ней вспомнили только тогда, когда елки уже не существовало. Папа Лопатников серьезно обеспокоился и собрался было на поиск за своею девочкой, как она появилась сама в дверях залы.

Наденька была несколько бледна, но на вопрос папаша: «не болит ли головка?» отвечала: «не болит», а на вопрос: «не болит ли животик?» отвечала: «ах, что вы, папаша!» и, вся вспыхнувши, спрятала свое личико на отцовской груди.

– Что же с тобой, душенька? – допрашивал папаша.

– Ах, папаша, какой вы! – отвечала Наденька и порхнула от него в сторону.

Во время этого допроса у Кобыльникова как-то все выше и выше поднималось сердце, и вдруг сделалось для него ясно, что он прескверную штуку сыграл, сказавши Наденьке такую пошлость. С злобою, почти с ненавистью взглянул он на Сеню Порубина и начал было показывать золоченый орех, чтоб подманить его к себе, но Сеня словно провидел, что делается в душе его, и, сам показывая ему целую кучу золоченых орехов, только смеялся, а с места не трогался.

«Ну, черт с тобой! когда-нибудь после разделаемся!» – подумал Кобыльников и в ту же самую минуту как бы инстинктивно взглянул в ту сторону, где была Наденька.

Оттуда глядели на него два серых глаза, и глядели с тем же безграничным простодушием, с тою же беззаветною нежностью, с какою они приветствовали его из-за елки в минуту прихода. Точно приросли к нему эти глубокие, большие глаза, точно не в силах были они смотреть никуда в другую сторону.

Кобыльникову почуялось, словно кровь брызнула у него из сердца и вот источается капля по капле и наполняет грудь его! Горячо и бодро вдруг стало ему.

Невинные рассказы. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru

– Посмотрите-ка, Надька-то! – шептала змеище Поплавкова горынчищу Порубиной, – глаз не может от этого молокососа отвести, словно съесть его хочет!

– Влюблена, Анна Петровна, как кошка влюблена! – отвечала татап Порубина и как-то злобно дрогнула при этом плечами.

– Удивляюсь, однако, чего этот старый дуралей смотрит!

– А чем же он не партия? Для бесприданницы и этакой хоть куда!

– Ну, да все же...

– Вы что же ко мне не идете? – спрашивала между тем Наденька Кобыльникова тем полушепотом, в который невольно переходит голос, когда идет речь о деле, затрагивающем все живые струны существа.

Кобыльников не отвечал; он просто-напросто задыхался.

– Вы что ко мне не идете? – повторила Наденька.

Он продолжал молчать, хотя сердце в нем умирало от жажды высказаться. Он чувствовал, что если вымолвит хоть одно слово, то не в силах будет выдержать. Может быть, он бросится к Наденьке и стиснет в своих руках это доброе, любящее создание; может быть, он не бросится, но зальется слезами и зарыдает...

– Вы отчего мне руки не даете? – настаивала Наденька.

– Наденька! – вырвалось из груди Кобыльникова.

– Вы зачем глупости говорите?

– Голубчик! – простонал Кобыльников.

– А когда будут стихи?

Кобыльников уж совсем было собрался отвечать, что стихи не миф, что стихи почти совсем готовы, что не только одно стихотворение, но десять, двадцать, сто стихотворений готов он настроичить на прославление своей милой, бесценной Наденьки, как вдруг скверный мальчишка Порубин испортил все дело.

– Вобраз! – пискнул он, едва-едва не проскакывая между ног Кобыльникова.

Кобыльникову показалось, что сам злой дух говорит устами мальчишки

– Ты почему знаешь? – сказал он, рванувшись в погоню за мальчиком и поймав-таки его, – нет, ты говори, почему ты знаешь?

– Мамаша, меня Кобыльников дерет! – завизжал во всю мочь Сеня.

При этом восклицании Кобыльников невольно выпустил из рук свою добычу и даже начал гладить Сеню по голове.

– Нечего, нечего гладить по голове! – шипел юный змееныш, – мамаша! он меня дерет за то, что я его поймал с Наденькой.

Началось следствие.

– Позвольте узнать, Дмитрий Николаич, что вам сделало невинное дитя? – допрашивала Кобыльникова оскорбленная татап Порубина.

– Ваш сын мне сказал дерзость! – отвечал совершенно растерявшийся Кобыльников.

– Мамаша! Я ничего ему не говорил! – с своей стороны жаловался Сеня, искусно всхлипывая.

– Ваш сын сказал мне: «вобраз»! – внезапно брякнул Кобыльников.

Невинные рассказы. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru
– «Вобраз»! что такое «вобраз»? и чем же это слово для вас обидно?

Говоря это, татап Порубина сомнительно покачивала головой и разводила руками.

– Ну да! вобраз, нобраз, собраз, побраз! – дразнил обозлевающий Сеня, приплясывая перед Кобыльниковым.

– Изволите видеть? – сказал Кобыльников.

– Вижу! все вижу! стыдно вам, молодой человек! Сеня! отойди прочь от них и не смей никогда с ними разговаривать!

Порубина величественно удалилась, уводя за руку Сеню и беспрестанно оглядываясь, как бы в опасении, что за ней бежит по пятам сама чума.

Кобыльникову сделалось скверно; он вдруг почувствовал, что не только скопрометировал Наденьку, но и сам сделался смешным в ее глазах. Сколько он сделал в этот вечер глупостей! он сделал их три: во-первых, увлекся нелепой рифмой, которая помешала ему кончить стихи, между тем как можно было бы один стих и нерифмованный вставить (самые лучшие поэты это делают!); во-вторых, сказал Наденьке какую-то пошлость насчет ее отношений к Прохорову; в-третьих, связался с пакостнейшим мальчишкой, который, наверное, произведет скандал на весь город. Кобыльникову показалось, что все глаза обращены на него, что все лица проникнуты строгостью и что даже служитель Андрей намеревается взять в руки метлу, чтоб вымести его из честного дома гнусного соблазителя пятнадцатилетних девиц. Кобыльникова бросило в жар; чтоб оправиться от своего смущения, он поспешил юркнуть в хозяйский кабинет.

Там за несколькими столами шла игра. Играл в ералаш председатель казенной палаты с губернским прокурором против советника казенной палаты и батальонного командира. Председатель казенной палаты был не в духе; к нему пришло двенадцать пик без туза и двойка червей; он сходил с двойки пик – туз оказался у партнера, который, однако, отвечать не мог.

– Сижу на капиталах! – жаловался председатель, – ведь это все франки! все франки!

Прокурор был смущен; он понял игру и старался только угадать, какая же у председателя тринадцатая карта. Председатель, как бы провидя его думу, поспешил рассеять все сомненья и откровенно показал свою двойку червей, убеждая только, чтоб прокурор играл скорее.

Напротив того, к советнику валило: во всем у него была и игра, и поддержка, но самое счастье не радовало его, ибо он чувствовал, что оно огорчает его начальника. Поэтому он всячески старался оправдаться: разбирая карты, пожимал плечами, как бы говоря: «ведь лезет же такое дурацкое счастье!»; делая ход, не клал карту на стол, а как-то презрительно швырял ее, как бы говоря: «вот и еще сукин сын туз!» Но председатель не принимал ничего в уважение, а, напротив того, взъелся на своего подчиненного.

– Вы зачем же игру-то свою раскрываете? – пристал он к нему.

Советник сделал ренонс.

– У вас трэф нет? – строго спросил батальонный командир.

– Нет-с... есть-с, – заикался советник.

«И солгать-то не умеет!» – подумал председатель.

А Кобыльников смотрел на играющих и все думал, как бы чем-нибудь таким увенчать этот вечер, чтоб за один раз искупить все три глупости. Ему вдруг сделалось хорошо и весело; ему представилась большая освещенная комната; посреди комнаты стоит Наденька в белом тарлатановом платье, а подле Наденьки стоит он; у них в руках бокалы с шампанским; к ним подходят гости, тоже с бокалами в руках, и поздравляют.

– Иван Дементыч! – сказал он дрожащим голосом, подходя, под влиянием этих

Невинные рассказы. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru
радужных мечтаний, к хозяину дома, – позвольте мне несколько слов вам наедине
сказать–с...

Иван Дементыч посмотрел на него с неудовольствием, потому что это неожиданное
вмешательство отвлекало его от игры. Однако, видя, что Кобыльников весь дрожал,
он встревожился.

– Что такое еще? уж не затерял ли капустниковского дела? – спросил он.

– Мне–с... наедине! – повторил Кобыльников. Иван Дементыч отошел с ним в сторону.

– Ну? – сказал он.

– Мне–с... я желаю... – заикался Кобыльников, к которому вдруг возвратилась вся его
робость.

– Да говори же, любезный, не мни! – с досадой торопил Иван Дементыч.

– Я прошу руки Надежды Ивановны! – скороговоркой проговорил Кобыльников.

Иван Дементыч повернул жениха к свету и на одно мгновение посмотрел на него с
любопытством. Потом тотчас же пошел на старое место, предварительно
отмахнувшись, как будто хотел согнать севшую на нос муху. Кобыльников остолбенел
и расставил не только руки, но и ноги; в глазах у него позеленело, комната
ходила кругом. Он понимал только одно: что эта глупость была четвертая и притом
самая крупная. Вдруг он почувствовал, что промеж ног у него что-то копошится –
то был Сеня Порубин.

– Ан, это четвертая! – дразнился скверный мальчишка, очевидно схватывая на лету
интимную мысль, терзавшую бедного Кобыльникова.

Кобыльников даже не слышал; он был уничтожен и опозорен, хотя рара Лопатников,
возвратясь на место, точно так же равнодушно объявил семь в червях, как бы
ничего и не случилось. А Порубин между тем все подплясывает да поддразнивает:
«Ан, четвертая! ан, четвертая!» Кобыльников крадется по стенке, чтоб как-нибудь
незаметным образом улизнуть в переднюю. Сеня Порубин замечает это и распускает
слух, что у беглеца живот болит. Кобыльников слышит эту клевету и
останавливается; он бодро стоит у стены и бравирует, но, несмотря на это,
уничтожить действие клеветы уже невозможно. Между девицами ходит шепот:
«Бедняжка!» Наденька краснеет и отворачивается; очевидно, ей стыдно и больно до
слез.

«Собраз»! – подсказывает проклятая память и Кобыльников, словно ужаленный,
бросается вон из комнаты, производя своим бегством игривое шушуканье между
девицами. .

И вот опять Кобыльников сидит в одинокой своей квартире, сидит и горько плачет!
Перед ним лежит капустниковское дело, а слезы так и текут на бумагу; перед ним:
просит купец Капустников, а о чем, тому следуют пункты – а у него глаза
заволокло туманом, у него сердце рвется, бедное, на части!

Сквозь эти слезы, сквозь эти рыдания сердца ему мелькает светлый образ милой
девочки, ему чудится ее свежее дыхание, ему слышится биение ее маленького
сердца...

– Митенька! – говорит она, вся застыдившись и склоняя на его плечо свою кудрявую
головку.

– Mesdames! – шепчут кругом девицы, – mesdames! у Кобыльникова живот болит!

Кобыльников вскакивает и начинает ходить по комнате, схватывая себя за голову и
вообще делая все жесты, какие приличны человеку, пришедшему в отчаяние.

«Вобраз»! – кричит вдруг неотвязчивая память.

Кобыльников закусывает себе в кровь губу от злости; он опять садится к столу и
опять принимается за капустниковское дело, в надежде заглушить в себе
воспоминания вечера.

А за перегородкой возятся хозяева-мещане. Они тоже, по всему видно, воротились из гостей и собираются спать. Слышны вздохи, слышно вынимание ящиков из комодов, слышен шелест какой-то, который всегда сопровождает раздевание и укладывание. Наконец все стихло.

– Дура ты или нет? – допрашивает хозяин свою хозяйку, – дура ты или нет?

– Ты проспиль, пьяница! ты опомнись, какой завтра праздник-то! – усовещивает хозяйка.

– Нет, ты мне скажи: дура ты или нет! – настаивает хозяин.

За перегородкой слышится потрясающее зеванье. Голова Кобыльниково мало-помалу склоняется и, наконец, совсем упадет на капустниковское дело. Ему снится елка, ему снится, что он стоит посреди освещенной залы и что рядом с ним вместо Наденьки, стоит купец Капустников и просит, а о чем, тому следуют пункты...

МИША И ВАНЯ

Забывшая история

В передней сидят два мальчика, Ваня и Миша, и ждут барыню из гостей. Скоро полночь, а барыня все не едет; сальный огарок оплыл и нагорел; тусклый и мелькающий свет его освещает только лица двух собеседников да стол, перед которым они сидят; вверху и по углам темно. В доме тихо, словно в гробу; горничные девки давно уж поужинали, воротились из кухни и улеглись спать где попало, наказавши мальчикам разбудить их, как только приедет барыня. В окна по временам показывается что-то белое; мелькнет-мелькнет и опять скроется; это сыплет снег, но мальчики думают, что выглядывает голова мертвеца, и вздрагивают.

Ваня мальчик крепкий, быстрый, черноволосый и черноглазый; он уверяет Мишу, что ничего не боится, что однажды он видел настоящего, заправского мертвеца – и того не струсил.

– Я ничего не боюсь, – говорит он, невольно, впрочем, бледнея, когда мороз вдруг ни с того ни с сего стукнет в стены барского дома, – мне только скучно, да и то с тобой ничего!

– А ну как мы сгорим? – робко спрашивает Миша.

– Сгореть мы не можем, – отвечает Ваня таким уверенным тоном, что Миша тотчас же успокаивается.

Миша, в противоположность Ване, мальчик слабенький, нервный, беленький, с белокурою головкой и большими синими глазами. Он часто посматривает на потолок и, увидевши, какой там сгустился мрак, вздрагивает и пожимается.

В ту минуту, как мы с ними знакомимся, они ведут оживленный, но несколько странный разговор.

– Холодным-то ножом, чай, больно? – спрашивает Миша, пристально глядя Ване в глаза.

– Это только раз больно, а потом ничего! – отвечает Ваня и покровительственно гладит Мишу по голове.

– А помнишь, как повар Михей резался! тоже сначала все хвастался: зарежусь да зарежусь! а как полыснул ножом-то по горлу, да как потекла кровь-то...

– Ну, что ж что повар Михей! Михейка и вышел дурак! Потом небось вылечился, а для чего вылечился? все одно наказали дурака, а мы уж так полыснем, чтоб не вылечиться!

– Ты ножи-то приготовил ли, Ваня?

– Когда не приготовил! еще с утра выточил! Только ты у меня смотри! чур не отступаться!

Миша вздохнул потихоньку; глаза его остановились на нагоревшей свечке.

Невинные рассказы. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru

– Что, разве снять со свечки... в последний раз? – сказал он слегка взволнованным ГОЛОСОМ.

– Что с нее снимать-то? а я тебе вот что скажу, Мишутка: коли мы это теперича сделаем, так беспременно в рай попадем, потому теперь мы маленькие и грехов у нас нет! А за-место нас попадет в ад Катерина Афанасьевна!

– А Ивану Васильичу будет за нас что-нибудь?

– Ну, Ивану Васильичу, может, и простит бог! потому он не сам собою тут действует!

– Катерину-то Афанасьевну, стало быть, мучить будут?

– Еще как, брат, мучить-то! не роди ты, мать-земля! Первым делом на железный крюк за ребро повесят, вторым делом заставят голыми ногами по горячей плите ходить, потом сковороду раскаленную языком лизать, потом железными кнутьями по голой спине бить... да столько, брат, мучений, что и сказать страсти!

– А ведь она не стерпит, Катерина-то Афанасьевна?

– Что ей, черту экому, сделается! – стерпит! Да там, брат Мишутка, на это не посмотрят! Там, брат, терпи! а не можешь терпеть – все-таки терпи!

Разговор на минуту смолк. Вдруг на улице завыла собака, завыла жалобно и тоскливо, как умеют выть только собаки.

– Ишь ты, это Трезорка покойника почуял! – сказал Миша изменившимся голосом.

– Ну, что ж что почуял! известно, почуял! А ты небось уж и трусу спраздновал!

– Нет, Ваня, я не боюсь! я так только... я только думаю, отчего это собака всегда покойника чувствует?

– А оттого, что собака – друг человека! Вот лошадь тоже друг человека, только она понятия не имеет, а собака – она все понимает, оттого и покойника чувствует!

– А что, Ваня, кабы утопнуть? – спросил вдруг Миша.

– Чудак ты, Мишутка! Ты мне расскажи сперва, какая нынче вода? Ты скажи, лето нынче, что ли?

– Да, нынче вода холодная... чай, в воду-то бултыхнешься, так и не стерпишь!

– Вот то-то же и есть! Утопнуть-то – надо в пролубь лезти; да еще барахтаться станешь, вылезешь, пожалуй! – что одних мучений тут примешь – пойми ты! А с ножом ловко! ножом как полыснул себя раз, тут тебе и конец! Разумеется, надо крепче!

– И бить никто больше не будет? – прошептал Миша.

– И бить не будет! Возьмут твою душу ангелы и понесут к престолу божьему!

– А бог – ничего?

– А бог спросит: зачем вы, рабы божи, предела не дождались? зачем, скажет, вы смертную муку безо времени приняли? А мы ему все и скажем!

– Мы все скажем, как нас Катерина Афанасьевна мучила, как нам жить тошнехонько стало, как нас день-деньской все били... все-то били, все-то тиранили!

Миша потупился; накупившие на сердце слезы горячим ключом хлынули из глаз. И текли эти слезы, текли свободно, без усилий, без гримас, как течет созревший источник из переполненной груди земли-матери. Ваня стал утешать расплакавшегося.

– А мы ловко ее завтра надуем, Катерину-то Афанасьевну, – сказал он, – завтра гости у нее за столом соберутся, а служить-то будет и некому!

Миша вздохнул в ответ.

– Я и ножи-то все попрятал! – продолжал Ваня, – и есть-то нечем будет.

А Миша все-таки никак не мог уняться; Ваня все возможное делал, чтоб как-нибудь развлечь его: сначала со свечи снял, потом глянул в окно и сказал: «А сивер-то! сивер-то какой разыгрался! ишь ты! ишь ты!», наконец тоненьким голоском запел: «Ах вы, ночки, ночки наши темные!» – но Миша не только продолжал плакать, но при звуках песни еще более растужился.

– Нюня ты! – сказал Ваня с нетерпением.

В зале загудели часы. Заслышавши эти шипящие звуки, Миша вздрогнул, в последний раз глубоко вздохнул и перестал плакать.

– Скоро барыня приедет, – робко сказал он, насчитавши двенадцать часов.

– Дождись – скоро! – отвечает Ваня, – эх, теперь бы вот соснуть лихо!

– Нет, уж ты не спи, Ваня, Христа ради!

– Небось боишься?

– Боюсь! – признался Миша и весь съезжился.

– Ну, дурак и есть! сколько раз я тебе говорил, что там ничего нет! – поучал Ваня, указывая на двери, которые вели в неосвещенный коридор, – хочешь, я сейчас туда пойду?

Однако угрозы своей не исполнил. Водворилось молчание, а с ним вместе водворилась и тишина, тоскливая, надрывающая сердце тишина... Мальчики пристально вглядывались в трепещущее пламя свечи; Ваня водил по столу большим пальцем, нажимая его, отчего палец сначала двигался плотно, а потом начинал подпрыгивать. На дворе опять завывала собака.

– Ишь ее! ишь ее! – вымолвил Ваня и вслед за тем прибавил – А что, Миша, где-то теперь Оля?

Оля была сестра Миши. Это была хорошенькая, белокурая и беленькая девушка, очень похожая на своего брата, ей было осемнадцать лет. С полгода тому назад она неизвестно куда пропала, и рассказов об этом внезапном исчезновении ходило между дворней множество. Говорили, что она от дурного житья скрылась, но говорили также, что и от стыда. Достоверно было то, что одним утром она пошла на речку стирать и не возвращалась; на берегу была найдена корзина с невыстиранным бельем, но ни одежды прачки, ни даже тела ее нигде найдено не было. Достоверно также, что за два дня перед тем она была острижена и что по этому случаю плакала, рвалась и убивалась. Барыня клялась и надсаживала себе грудь заверяя, что поганка Ольгушка утопилась не от дурного обращения, а для того, чтоб скрыть свой стыд. Тем не менее на всем этом происшествии лежала какая-то горькая тайна, и неизвестно было даже, действительно ли утопилась Ольга или только бежала. При следствии некоторые дворовые люди показали было, что житье Ольги было «нехорошее»; но исправник, производивший следствие (так как происшествие случилось в подгородной деревне Катерины Афанасьевны), ничему этому не поверил.

– Ну, вы это все врете! вы говорите правду, а не врете! – сказал он показателям и тут же приказал пригласить Катерину Афанасьевну.

Катерина Афанасьевна ахала и ссылалась на то, что у нее людей говядиной кормят. Позвали людей и спросили, действительно ли их кормят говядиной; ответ был, что кормят. Исправник подумал, посопел и записал: «Помещики содержат людей хорошо и даже говядиной кормят».

– Что же вы, бестии, врели? – обрattился он к дворовым.

Дворовые стояли бледные и переминались с ноги на ногу; у некоторых искусаны были до крови губы. Катерина Афанасьевна заметила эту нераскаянность и сочла справедливым упасть в обморок. Исправник бросился утешать ее, услав оторопевшего

Невинные рассказы. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru
Ивана Васильевича за спиртом. Результатом всего этого было краткое, но сильное объявление, написанное рукою самого исправника. Оно гласило:

«Утром 24 сего июня из сельца Полянок неизвестно куда скрылась принадлежащая отставному штаб-ротмистру Ивану Васильевичу Балящеву девка Ольга Никандрова. Приметами та девка: роста высокого, белокура, волосы стрижены, лицом бела, глаза синие, нос и рот умеренные, особая примета: над левой ноздрей небольшое родимое пятнышко; есть подозрение в беременности. Унесла с собой данное ей помещиком пестрядинное платье, в которое и была в тот день одета. Полицейские начальства, в ведомстве коих та беглая девка окажется, благоволят препроводить оную в Р – ий земский суд, для отдачи по принадлежности».

Тем это дело и закончилось. Катерина Афанасьевна на некоторое время присмирела, но месяца через два совсем забыла о происшествии и начала жуировать жизнью по-прежнему.

Катерина Афанасьевна была глубоко развращенная женщина, но не знаю, имею ли я право называть ее злою. По крайней мере, весь город к ней ездил, и целый день в ее доме было, что называется, разлитое море; весь город знал, какие она фарсы выдывает над Машками и Ольгушками, и тем не менее никто не решался отозваться об этих фарсах не только строго, но даже и уклончиво. Напротив того, ее все любили, потому что в своем кругу она была барыня веселая и даже добрая, многим из своих друзей делала разные одолжения и всех равно отлично принимала и кормила.

– Сегодня у Катерины Афанасьевны за обедом в супе таракана подали, – говорили про нее в городе, – что ж бы вы думали? она преспокойно себе позвала повара и приказала ему таракана съесть!

– Лихая баба!

– Бедовая!

Некоторые, конечно, делали изредка предположение, «как бы, дескать, не попасться Катерине Афанасьевне за эти фарсы», но очевидно, что в этом случае сомнение заползло совсем не по поводу самых фарсов, а по поводу глагола «попасться». Самые же фарсы служили как бы оселком для обнаружения своего рода остроумия, которого кровавости никто не замечал, своего рода изобретательности, которой ехидства никто не подозревал.

– Сенька! поди, лизни печку! – говорили Сеньке.

Сенька лизал печку и обжигал язык; он возвращался весь красный, лицо его как-то неестественно напыживалось; из глаз выжимались слезы.

– Ну, дурак, – еще реветь вздумал! – говорили одни.

– Рожа-то, рожа-то какая! – восклицали другие и затем следовал взрыв общего, веселого хохота. Хохот – и больше ничего...

Не ясно ли, что все это без злорадства делалось, что при этом главный расчет совсем не в том состоял, чтоб причинить Сеньке мучительную боль, а в том, чтоб посмотреть, какую Сенька рожу уморительную скорчит, как он напыжится... Самые кроткие люди молчали, когда Сеньку посылали лизать пылающую печь, самые кроткие люди не могли слегка не фыркнуть, когда Сенька возвращался, по совершении своего подвига, весь красный и пытящий... Они молчали и фыркали не потому, чтоб одобряли подобного рода увеселения, но просто потому, что такое уж время юмористическое было.

Теперь все это какой-то тяжкий и страшный кошмар; это кошмар, от которого освободило Россию прекрасное, великодушное слово царя-освободителя... Да, оно одно. Ибо кто же может ручаться, не лизал ли бы, без этого слова, Сенька горячую печку и до сей минуты? Не ходила ли бы девка Ольга Никандрова и до сей минуты стриженная и оплеванная гостями своей барыни? Где гарантии противного? В нравах, что ли? Но разве не известно, что славяне имеют нрав веселый, легкий и мало углубляющийся? В слезах, что ли? Но разве не известно, что слезы, которые при этом капают, капают внутрь, капают кровавыми каплями на сердце и все накипают, все накипают там, покуда не перекипят совершенно?

Никогда не бывает зло так сильно, как в то время, когда оно не чувствуется, когда оно, так сказать, разлито в воздухе. «Что это за зло? – говорят тогда добросовестные исследователи, которые имеют привычку рассматривать предметы не с одной, а со всех сторон, – это не зло, а просто порядок вещей!» – и на этом успокаиваются.

Кто же может утверждать, что такому порядку вещей не суждено было продлиться и еще на многие лета, если бы сильная воля не вызвала нас из тьмы кровавого добродушия и бездны ехидной веселости?

Повторяю: это был тяжкий и страшный кошмар, в котором и давящие, и давимые были равно ужасны.

Напоминание о сестре подействовало на Мишу болезненно. Он вдруг, словно под тяжестью какой, пригнулся; бледное его личико сделалось блее полотна, и на не обсохших еще глазах опять сверкнуло слезообильное облако.

– А ведь она барыне являлась! – продолжал Ваня.

– Врешь ты! – всхлипывал Миша чуть слышно.

– Являлась – это верно! Ключница Матрена сказывала, что барыня-то, словно мертвая, из спальни в ту пору выскочила! ни кровинки в лице нет!

– Врешь ты! она жива! – настаивал Миша, совершенно захлебываясь слезами.

– Ну, брат, нет! это погоди! Она утопла – это уж как дважды два! Из-за чего ж бы ей тогда барыне являться, кабы она не утопла!

– Врешь ты! врешь все! – кричал Миша, с которым чуть не сделалась истерика.

– Ну, и опять-таки ты дурак! Из-за чего ты нюни-то распустил! Известно, нам один конец!

Миша смолк; он, по-видимому, что-то припоминал. Припоминал он, как Оля, проходя мимо него, наскоро трепала его по щеке и приговаривала: «Дурашка ты мой!»; припоминал он, как Оля однажды надевала на него чистенькую новенькую рубашечку и сказала при этом: «Ну, носи теперь на здоровье, Мишутка ты мой!»; припоминал он, как однажды Оля выбежала в лакейскую вся бледная, и из глаз ее ручьями текли слезы; припоминал он голос, моливший о пощаде, голос искаженный, вымученный, кричавший: «Матушка, Катерина Афанасьевна, не буду! батюшка, Иван Васильич, не буду!»; припоминал он, как упала из-под ножниц длинная русая коса Оленькина, как Оля билась и рвалась...

«Ах, не надо! не режьте!» – раздавался в ушах Миши знакомый молящий голос, раздавался с такою ясностью и отчетливостью, что он вдруг поверил... Он поверил, что Оля умерла действительно и что это она, именно она является к барыне и мучит ее по ночам. Ему показалось даже, что она и теперь с ними, что она зовет его.

– Оля-то здесь ведь! – сказал он испуганным голосом.

– Ну, вот это ты уж врешь! – отвечал Ваня и между тем сам вздрогнул и инстинктивно озирался кругом.

– Ей-богу, здесь! – настаивал Миша.

– Дурак ты! говорят тебе, нет никого! И из-за чего ей являться-то к нам? ты пойми, зачем покойник является? покойник является затем, чтоб мучить, а нас за что мучить она будет? Мы ведь Олю не трогали, Оля была добрая... да, она добрая была девка!

– Оля была добрая! – машинально повторил Миша и ласково взглянул на своего товарища.

– Постой-ка, я по углам посмотрю! – продолжал Ваня, как будто с единственной целью успокоить Мишу; но очевидно было, что он и самого себя не прочь был успокоить.

Ваня встал с лавки и сначала посмотрел под стол; потом обошел всю комнату и в углах даже пошарил по стене; потом заглянул в дверь, ведущую в коридор. Никакого виденья нигде не оказалось.

– Ну вот, и нет ничего! – сказал он, усаживаясь на старое место.

– Оля была добрая! – задумчиво повторил Миша.

– За доброту-то и в дворне ее все любили! Помнишь, Степка как убивался, как она пропала-то? Степка-то, говорят, жениться на ней хотел!

– Стало, его за это в ту пору в часть посылали?

– За это за самое... Степка-то барыне говорит: «Лучше, говорит, Катерина Афанасьевна, вы меня теперича в солдаты отдайте, а служить, говорит, я вам не желаю!»

– Ишь ты!

– А барыня говорит: «Нет, говорит, Степушка! в солдаты я тебя не отдам, а вот в пастухах ты у меня сгниешь!» И гниет!

– И для чего только это она его в солдаты не отдала?

– А потому, братец, такой у ней нрав!

– А ведь в солдатах, Ваня, хорошо?

– Ну... кто ж его знает! Однако все лучше, не чем у нас! у нас уж какая жизнь!

Миша опять задумался; он хотел сказать Ване, что лучше было бы в солдаты пойти, чем... но на этом мысль его оборвалась; очевидно, он боялся рассердить Ваню и выставить себя в глазах его трусом.

– А знаешь ли что, Мишутка? – вдруг спросил Ваня.

– Что тебе?

– Пойдем-ка мы, обойдем комнаты... посмотрим! Мише тотчас же мелькнуло: в последний раз!

– Пойдем, Ваня! – сказал он. Ваня снял со свечи и пошел вперед.

– Вот это, брат, зала! – сказал он, когда пришли в первую комнату.

– Зала! – повторил за ним Миша.

– Кланяйся, брат, теперь на все четыре стороны! – наставлял Ваня.

Миша поклонился на все четыре стороны; Ваня исполнил вместе с ним то же самое.

Таким образом обошли они все комнаты и везде простились; дошли, наконец, до крайней комнаты, где стояла широкая двуспальная кровать.

– Ишь их! – сказал Ваня и не только не поклонился на все четыре стороны, но плюнул.

– Знаешь ли что! – продолжал он, – зажжем-ка теперь лиминацию! ведь колдовка-то еще, чай, долго не приедет!

– Зажжем! – согласился Миша, и на лице его сверкнула детски радостная улыбка.

По всему видно было, что натура Миши была натура нежная, женственная, артистическая; он любил, когда в комнате бывало светло и свежо, и, напротив того, куксился в мраке и спертом воздухе передней. По всему видно также, что Ваня знал про это свойство Миши и желал чем-нибудь угодить ему.

Невинные рассказы. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru
Зажгли иллюминацию действительно блестящую; Миша пожелал быть хозяином, Ваня изъявил согласие быть гостем. Но едва успели хозяин и гость усесться с ногами на диван, едва успел хозяин предложить своему гостю обычный вопрос о здоровье, как в передней раздался сильнейший трезвон. Хозяин и гость бросились тушить свечи, но впопыхах дело не спорилось; раздался еще трезвон, более сильный и более нетерпеливый.

Наконец свечи кое-как затушили и бросились в переднюю. Через дверь еще Ваня слышал, как барыня сердиться изволили.

– Это все мальчишки-мерзавцы! – говорила она в величайшем гневе, – вот уж погода!

– Успокойся, душенька! – уговаривал Иван Васильич, – может быть, это братец Никанор Афанасьич приехал!

В это время Ваня отпер наружную дверь.

– Братец Никанор Афанасьич здесь? – был первый вопрос барыни.

– Никак нет-с.

– Кто же свечи в зале зажигал?

– Никто не зажигал-с.

– Мерзавец!

Сильный удар свалил Ваню с ног.

– Кто зажигал свечи в зале? – накинулась барыня на Мишу, который стоял ни жив ни мертв.

– Никак нет-с, – едва-едва прошептал Миша.

– Долго ли вы мучить-то нас будете? – каким-то неестественным голосом закричал Ваня, вскочив с полу, и не успел никто моргнуть глазом, как он уже впился ногтями в рот и нос Катерины Афанасьевны.

Катерине Афанасьевне сделалось дурно; Ваню насилу отняли от нее, потому что он словно замер и заоченел весь. Катерину Афанасьевну повели под руки в спальную, причем Иван Васильич приговаривал: «И как это тебе, матушка, не стыдно беспокоить себя из-за этих хамов!» Ваню тоже увели на кухню; он не плакал, а только кричал; очевидно, что все существо его было глубоко и решительно потрясено, что он не обладал собою, и этот резкий неестественный крик вылетал из его груди помимо его воли. Вся дворня страшно переполошилась и сбежалась кругом Вани; начали его оттирать и насилу уняли. Когда крики унялись, Ваня мгновенно и крепко заснул.

Потому ли, что Катерина Афанасьевна действительно заболела, или потому, что дворовые доложили об исступлении, в котором находился Ваня, но распоряжения насчет мальчиков в ту ночь никакого сделано не было. Сказано было только держать обоих в кухне. Миша лег подле Вани, но долго не мог сомкнуть глаз; завтрашний день представлялся его возбужденному воображению со всеми подробностями, со всеми ужасающими истязаниями. Мерещились ему пуки розог, мерещилась ему Катерина Афанасьевна; лицо ее словно пылало, на голове словно змеи вились, разевавая рты, и высывались оттуда огненные жала. Ваня по временам стонал, дворовые кругом безмятежно спали; Мише сделалось страшно...

«Ах, не надо! ах, не режьте!» – раздавалось у него в ушах, и образ сестры носился перед его глазами, как живой, но не в затрапезном истасканном платье, а весь белый, прозрачный, весь словно озаренный чудесным блеском...

Наконец, часов около трех, он заснул.

В четыре часа Ваня разбудил его. Долго смотрел на него Миша изумленными, слипающимися глазами, долго не мог понять, где он и что с ним...

Невинные рассказы. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru
– Пора! – шептал Ваня.

Миша вздрогнул, но все еще не понимал.

– Вставай! – настаивал Ваня.

Миша машинально встал и машинально же оделся. Они вышли в сени; холодный воздух охватил их со всех сторон и несколько отрезвил Мишу. В руках у Вани были ножницы; он проворно скинул с себя казакин и начал резать его на куски.

– Не доставайся никому! – шептал он как-то злобно и сосредоточенно.

Потом он снял с себя сапоги и проткнул в нескольких местах головки.

Миша смотрел на это, и вдруг в нем вспыхнула какая-то страстная жажда жизни. Он ухватил себя обеими ручонками за горло, начал метаться и заплакал.

– Няня! ступай спать! – произнес Ваня.

– Нет! нет! – заикался Миша, – нет! нет... я пойду! я, право, пойду!

– Что ж ты ревешь? разве вчера не видел?

Они вышли на двор и перелезли через забор. Улица была пуста, и непробудная тишина царствовала по всему городу. Дворовая собака Трезорка бросилась было к ним с ласковым визгом, но Ваня показал ей кулак, вследствие чего она вильнула раза два хвостом и юркнула в свою конуру. Утро было не столько холодное, сколько сырое и туманное; словно облако какое-то висело над улицей, словно мгла, наполненная иглистыми атомами, застилала воздух. Ваня был в одной рубашке; ему сделалось холодно.

– Ну, брат, – сказал он, – это я напрасно... Напрасно, значит, я теперича казакин свой изрезал!

Миша не отвечал ему; вообще он действовал как-то страдательно, словно горела, и упорно горела, в нем непорванная струя жизни, но не знала, как ей высказаться, как прорваться наружу.

И вот перед ними овраг; в этом овраге условились они исполнить свое намерение; Ваня рассчитывал, что там никто им не помешает, никто не может прийти скоро на помощь.

Ваня спустился и пошел вперед; он был бодр, а между тем манящие сладкие голоса жизни говорили и в нем; он смеялся, а между тем в груди его закипала какая-то страстная жажда; он шел и точил друг об друга ножи, но звук, который от этого происходил, был какой-то невеселый отрывистый звук; он чувствовал, что внутри его все горит, а между тем бедное, исхудалое тело ходенем ходило от пронизывающей сырости и холода... Миша шел за ним следом и по-прежнему был в каком-то забытьи...

На свету будочник, спокойно спавший в своей будке, был разбужен проезжими мужиками. Мужики слышали стон в овраге и почтительно докладывали о том дремлющему блюстителю общественной тишины.

– Батюшки! помогите! – прозвенело в эту самую минуту в воздухе.

Спустились в овраг и нашли двух мальчишек, из которых один был одет в казакине, другой – в одной рубашке. Ваня был бездыханен, но Миша еще был жив. Неверная, трепещущая рука в несколько приемов полоснула ножом по горлу, но робко и нерешительно.

Жажда жизни сказалась и восторжествовала.

НАШ ДРУЖЕСКИЙ ХЛАМ

Когда мы, губернские аристократы, собираемся друг у друга по вечерам, какого рода может быть у нас между собою беседа? Перемываем ли мы косточки своих ближних, беседуем ли о существе лежащих на нас обязанностей, сообщаем ли друг другу о наших служебных и сердечных *bonnes fortunes*, [77] о том, например, что сегодня утром был у нас подрядчик Скопищев, а завтра мы ждем заводчика Белугина

Невинные рассказы. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru и проч. и проч.?

На все эти вопросы я с гордостью могу отвечать, что обыденная, будничная жизнь не составляет и не может составлять достойной канвы для наших салонных разговоров. Утром, запершись в своих жилых комнатах, мы можем, *à la rigueur*, [78] переворачивать наше грязное белье, беседовать с нашими секретарями и принимать различного рода антрепренеров, но с той минуты, как мы покидаем жилые комнаты и являемся в наши салоны, все эти неопрятности мгновенно исчезают, подобно тому как исчезают клопы и другие насекомые, гонимые светом дня. Как люди благовоспитанные, мы являемся в наши салоны не иначе, как во фраках, и очень хорошо понимаем, что, находясь в обществе, не имеем права тревожить чье-либо обоняние эманациями нашего заднего двора.

Да и какой интерес могло бы представлять для нас это переворачиванье домашнего хлама, когда нам до такой степени известны и переизвестны все наши маленькие делишки, наши карманные скорби и любостыжательные радости, что мы, как древние авгуры, взглянуть друг на друга без того не можем, чтоб не расхохотаться?

Если я, например, встречаю на улице его превосходительство Ивана Фомича и вижу, что в очах его плавают маслянистая влага, а сам он при встрече со мной покрывается пурпуром стыдливости и смотрит на меня с каким-то детским простодушием, как будто хочет сказать: «Посмотри, как я невинен! и посмотри, как хороша природа и как легка жизнь для чистых сердцем!» – то я положительно знаю, что и этот пурпур, и эта влага блаженства, и эта ясность души происходят совсем не оттого, что его превосходительство был на секретном любовном свидании, а оттого, что в том заведении, в котором он состоит аристократом, происходили сего числа торги. И по степени влажности глаз, и по большей или меньшей невинности их выражения я безошибочно заключаю о степени успешности торгов... К чему, скажите на милость, были бы тут вопросы, вроде: «Как поживаете, каково прижимаете?» К чему тут ласки, коварства и уверения, если я определительно вижу, что сей человек счастлив, что душа его полна музыки и что весь он погружен в какие-то сладкие, неземные созерцания? И действительно, встречи наши происходят в молчании; он посмотрит на меня ласково и признательно, я взгляну на него симпатически; он скажет: «Гм!», и я скажу: «Гм!»... и мы расходимся каждый по своему делу.

Или, например, когда я вижу другого аристократа, генерала Голубчикова, пробирающегося часов в шесть пополудни бочком по темному переулку и робко при этом озирающегося, то положительно могу сказать, что генерал пробирается не к кому другому, а именно к привилегированной бабке Шарлотте Ивановне. Хотя же его превосходительство, заметив меня, и начинает помахивать тросточкой, делая вид, что он гуляет, но я отнюдь не отважусь предложить ему пройтись вместе со мною, потому что твердо знаю, что такого рода предложение вконец уязвит его пылающее сердце. Руководясь этою мыслью, я прикасаюсь слегка к полям моей шляпы и говорю: «Гм!» Генерал, который в другое время тоже ответил бы мне *à la militaire*, [79] в настоящем случае считает неизлишним снять с головы своей шляпу совершенно (не погуби! дескать), и тоже говорит: «Гм!»... и мы расходимся. А между тем дорогой воображение уже рисует передо мной образы. С одной стороны я вижу маленького генералика, совершенно пропадающего в объятиях дебелой привилегированной бабки, а с другой стороны величественную и не менее дебелую генеральшу, спокойно предающуюся дома послеобеденному сну и вовсе не подозревающую, что ее крошечный Юпитерик нашел в захолустье какую-то вольного поведения Ио и воспитывает ее в явный ущерб своей Юноне.

И еще, например, если я вижу в восемь часов утра известного подрядчика Скопищева, стучащегося в двери дома, занимаемого капитаном Малаховичем, то отнюдь не думаю, что Скопищев очутился здесь ни свет ни заря затем только, чтоб узнать о здоровье супруги и детей пана Малаховича, но с полной достоверностью заключаю, что ранний визит этот имеет тесную связь с постройкой земляной дамбы в городе***. При этом в уме моем естественно возникает вопрос: «Если от пятнадцати тысяч отделить двадцать процентов, то какая составит из этого сумма?» И в это самое время, поравнявшись с капитанскою квартирой, я усматриваю в одном из окон толстенькую фигуру, к чему-то канальски прислушивающуюся. Заметив меня, капитан несколько краснеет (вероятно, оттого, что я увидел его в утреннем неглиже), произносит: «Гм!» – и поспешно удаляется от окна.

– То-то «гм!», – произношу и я в свою очередь и продолжаю идти своею дорогой.

Скажите на милость, к чему же было бы нам беседовать о том, для уразумения чего

Невинные рассказы. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru
достаточно одного движения губ, одной мимолетной искры в глазах, одного помавания головы?

И действительно, канвою для наших разговоров служат предметы, несравненно более возвышенные. Надо вам сказать, благосклонный читатель, что хотя мы и называемся «губернскими аристократами», но, к великому прискорбию, аристократичность наша довольно сомнительная. Мы, что называется, аристократы с подлинцю. Отечеством большей части из нас служили четвертые этажи тех поражающих опрятностью казенных зданий, которые во множестве украшают Петербург и в которых благополучно процветают всех возможных видов и цветов экзекуторы и экспедиторы. Там мы увидели свет, там возросли и воспитывались, и если сам Петербург способен производить только чиновников и болотные испарения, то можно себе вообразить, на производство какого рода изделий способны упомянутые выше четвертые этажи? И действительно, мы вполне прошли всю суровую школу безгласности и смиренномудрия; мы были по очереди и секретарями и приказчиками у имеющих власть людей, и поставщиками духов, собачек и румян у их жен, и забавою у их гостей. Мы безмерно радовались и безобразию наших носов, и геморроидальному цвету наших лиц, потому что все это составляло предмет забавы и увеселения для наших благодетелей и вместе с тем заключало в себе источник нашего будущего благополучия – нашу форту и нашу карьеру!! Наконец, после долгих лет терпения и томных искательства, мы получили дипломы на звание губернских аристократов с правом владеть сколько душе угодно. Поначалу свежий воздух провинции сшиб было нас с ног, однако, свыкшись с малолетства со всякого рода огнепостоянностями, мы устояли и здесь, и мало того, что устояли, но даже озаботились устроить вокруг себя ту самую атмосферу, которая всечасно напоминает нашим носам передние наших благодетелей. Очевидно, что при таком направлении умов все наши симпатии, все вздохи и порывания должны стремиться к нему, к этому милому Петербургу, где проведена была наша золотушная молодость и где у каждого из нас имеется по крайней мере до двадцати пяти штук приятельски знакомых начальников отделения.

Дни прихода петербургской почты бывают в нашем обществе днями какой-то тревожной и вместе с тем восторженной деятельности. Это и понятно, потому что в эти дни мы получаем письма от наших приятелей – начальников отделения. Мы спешаем друг к другу, чтоб поделиться свежими вестями, и вот образуется между нами живая и интимная беседа.

– Ну что, ваше превосходительство, – спрашиваю я у генерала Голубчикова, – получили что-нибудь из столицы?

– Как же-с, как же-с, ваше превосходительство! – отвечает генерал, потирая руки, – граф Петр Васильевич не оставляет-таки меня без приятных известий о себе..

– Так вы получили письмо от самого графа? – спрашиваю я, несколько подзадоренный.

– Мм... да, – отвечает генерал таким тоном, как будто ему на все наплевать, – граф частенько-таки изволит переписываться со мной!

– Мм... да, – произношу я и, в свою очередь, не желая уступить генералу Голубчикову, еще с большим равнодушием прибавляю: – А я так получил письмо от князя Николая Андреича... Каждую почту пишет! даже надоел старик!

И если при этом я положительно убежден, что генерал Голубчиков соврал постыднейшим образом, то генерал, с своей стороны, столь же положительно убежден, что и я соврал не менее постыдно, что не мешает нам, однако, остаться совершенно довольными нашим разговором.

– Скажите пожалуйста! – удивляется в другом углу его превосходительство Иван Фомич, слушающий чтение какого-то письма.

– «...Внушили себе, будто на лбу ихнем фиговое дерево произрастает, и никто сей горькой мысли из ума их сиятельства изгнать не может», – раздается звучный голос статского советника Генералова, читающего вслух упомянутое письмо.

– Да правда ли это? от кого вы получили это письмо? – сыплются с разных сторон вопросы.

– От экзе... от директора, – скороговоркой поправляется статский советник

Невинные рассказы. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru
Генералов, поспешно пряча письмо в карман.

– А крепкий был старик! – говорит генерал Голубчиков, которого, как не служащего под начальством таинственного «их сиятельства», описанное выше происшествие интересует только с психической точки зрения.

– Н-да... крепкий... – в раздумье и словно машинально повторяет недавно определенный молодой председатель Курилкин, при чтении письма как будто струсивший и побледневший.

– Я с князем еще в то время познакомился, – ораторствует генерал Голубчиков, – когда столоначальником в департаменте служил. И представьте себе, какой однажды со мной случай был...

– Н-да, случай!.. – повторяет Курилкин, у которого уже помутились взоры от полученного известия.

– Вы как будто нездоровы, Иван Павлыч? – обращается с участием к Курилкину Иван Фомич.

– Нет... я ничего, – скороговоркой отвечает Курилкин, – au fait,[80] что мне князь?

– «Что он Гекубе, что она ему»? – раздается сзади шепот титулярного советника Корепанова, принимаемого, несмотря на свой чин, в нашем маленьком аристократическом кружке за somme il faut,[81] но, к сожалению, разыгрывающего неприятную роль какого-то губернского Мефистофеля.

– Да-с, так вот какой у нас с князем случай был, – продолжает генерал Голубчиков, – вхожу я однажды в приемную к князю, только вижу – сидит дежурный чиновник, а лицо незнакомое. Признаюсь, я еще в то время подумал: «Что это за чиновник такой? как будто дежурный, а лицо незнакомое?» Ну-с, хорошо, подхожу я к этому чиновнику и говорю: «Доложите их сиятельству, что явился такой-то». – «Не принимают, говорит, их сиятельство нездоровы». Ну, а я с графом был всегда в коротких отношениях, следственно, для меня слово «не принимают» не существовало... Вот и пришла мне в голову мысль: дай-ка, думаю, подтруню над молодым человеком, – и, знаете, пресерьезно этак говорю ему: «Жаль, говорю, очень жаль, что не принимают». – «Да-с, говорит, не принимают». Только можете себе представить, в это самое время распахивается дверь кабинета, и выходит оттуда камердинер князя, Павел Дорофеич... знаете Павла Дорофеича?

– Знаем! знаем! Павла Дорофеича целый Петербург знает! – кричим мы как-то особенно радостно.

– А из-за Павла Дорофеича выглядывает и сам князь. «А, говорит, это ты, Гаврил Петрович! а меня, брат, сегодня «прохлады» совсем замучили (он «это» прохладами называл), так я не велел никого принимать... Ну, а тебя можно!..» Только, можете себе представить, какую изумленную физиономию скорчил при этом дежурный чиновник!

– Да, интересный случай! – замечает статский советник Генералов, сладко вздыхая.

– Случай с запахом, – перебивает Корепанов.

– Предобрый старик! – говорит его превосходительство Иван Фомич, поспешая заглушить своим голосом неприятную заметку Корепанова.

– Добрый, именно добрый! – не смущаясь, продолжает генерал Голубчиков, – и какое доверие ко мне имел, так это даже непостижимо! Бывало, сидим мы с глазу на глаз: я бумаги докладываю, он слушает. «А что, Гаврил Петрович, – вдруг скажет, – прикажи-ка, брат, мне трубку подать!» Ну, я, разумеется, сейчас брошусь: сам все это сделаю, сам набью, сам бумажку зажгу, сам подам... И что ж вы думаете, господа? даже никакой я в это время робости не чувствовал! – точно вот с своим братом, начальником отделения, беседаешь! Он трубочку покуривает, а я бумаги продолжаю докладывать... просто как будто ничего не бывало!

– Жаль, очень жаль будет, если такого человека лишится отечество! – говорит Иван Фомич.

Невинные рассказы. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru

– Н-да... отечество! – повторяет Курилкин, по-видимому возвратившийся к прежнему раздумью.

– А еще говорят, что вельможи все горды да неприступны! – продолжает Иван Фомич, – ничуть не бывало!

– Это говорят те, ваше превосходительство, – весьма основательно замечает генерал Голубчиков, – которые настоящих-то вельмож и в глаза не видали. А вот как мы с вами и в халатике с ними посиживали, и трубочки покуривали, так действительно можем удостовериться, что вся разница между вельможей и обыкновенным человеком только в том состоит, что у вельможи в обхождении аромат какой-то есть...

– «Прохлады»! – ворчит сквозь зубы Корепанов.

– Наш князь, – вступается статский советник Генералов, – так тот больше все левой рукой действует. И на стул левой рукой указывает, и подает все левую руку.

– А что вы думаете? – говорит генерал Голубчиков, – ведь это именно правда, что у вельмож левая рука всегда как-то более развита!

– Я полагаю, что в этом свой расчет есть, – глубокомысленно замечает Иван Фомич.

– То есть не столько расчет, сколько грация, – возражает Голубчиков.

– Никак нет-с, ваше превосходительство, не грация, а именно расчет-с.

– Нет... зачем же непременно «расчет»? Я, напротив того, положительно убежден, что грация, – говорит Голубчиков, задетый за живое настойчивостью Ивана Фомича.

– А я, напротив того, положительно убежден, что расчет, и имею на это доказательства.

– Это очень любопытно!

– И именно я полагаю, что всякий вельможа хочет этим дать понять, что правая рука у него занята государственными соображениями.

– Ну-с... а левая рука тут зачем-с?

– А левая рука, как свободная от занятий, предлагается посетителям-с...

– Ну-с... а дальше что-с?

– Ну-с, а дальше то же самое!

– Та-а-к-с!

С прискорбием мы замечаем, что генералы наши не прочь посчитаться друг с другом. Известно нам, что между ними издревле существует худо скрытая вражда, основанием которой служит взаимное соперничество по части знакомства с вельможами. Поэтому, хотя мы и питаем надежды на деликатность генерала Голубчикова, но вместе с тем чувствуем, что еще одна маленькая капелька, и генеральское сердце безвозвратно преисполнится скорбью. Действительно, он взирает на Ивана Фомича с кротким, но горестным изумлением; Иван же Фомич не только не тронут этим, но, напротив того, устроил руки свои фертом и в этом положении как будто посмеивается над всеми громами и молниями. Положение делается до такой степени натянутым, что статский советник Генералов считает своею обязанностью немедленно вмешаться в это дело.

– Я думаю, ваше превосходительство, – обращается он к генералу Голубчикову, – что и в самой грации может быть расчет, точно так же как и в расчете может быть грация...

– Дело возможное! – отвечает генерал холодно, явно показывая, что он старый воробей, которого никакими компромиссами не надуешь.

Разговор снова заминается, и все мы чувствуем себя несколько сконфуженными.

Невинные рассказы. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru
Холодность генерала свинцовой тучей легла на наше общество, и нет, кажется, столь сильного солнечного луча, который мог бы с успехом разбить эту тучу. Мы все знаем, что Голубчиков преамбициозный старик и что едва ли он не единственный из наших аристократов, о котором мы с уверенностью можем сказать, что он в один платок с вельможами сморкается. Все мы, прочие, в этих случаях более или менее прилигаем, и если уверяем иногда, что при таких-то обстоятельствах такой-то князь сказал нам «ты» и назвал «любезнейшим», то этому можно верить и не верить. Но генерал Голубчиков действительно вполне чист в этом отношении, и если уж скажет, например, что однажды в его присутствии князь Петр Алексеевич учинил декольте, то никто не имеет повода усумниться, что это именно так и было. «И для чего бы Ивану Фомичу не уступить! – думаем мы, внутренне соболезнуя о происшедшем, – с одной стороны, Ивану Фомичу следовало бы сделать небольшую уступочку, а с другой, и генералу не мешало бы взглянуть на дело по-снисходительнее... и все было бы ладно, все было бы мирно и очень хорошо – так-то! А то вот дернула нелегкая – ахти-хти-хти!» Но куда мы только рассуждаем, статский советник Генералов уже принимает действительные меры к замирению враждующих сторон. Он прежде всего начинает заигрывать с генералом Голубчиковым, как наиболее неподатливым.

– Не получили ли чего-нибудь от графа насчет «этого» (крестьянского) дела, ваше превосходительство? – спрашивает он.

– Получил-с, – упорствует генерал в холодности.

– Ваше превосходительство всегда самые верные сведения иметь изволите, – не менее упорно продолжает заигрывать Генералов.

– Сам по себе я никаких сведений не имею, но конечно... доверие его сиятельства... одним словом, могу-таки в некоторых делах посодействовать...

– Как же-с, как же-с, ваше превосходительство! – ведь вы с графом-то даже несколько «свои»?

– Даже и не несколько, – отвечает генерал, постепенно смягчаясь, – потому что моя Анна Федоровна положительным образом приходится внучатной племянницей Прасковье Ивановне, а Прасковья Ивановна, как вам известно...

– Да, если кто заслужить у графа желает, так это именно что стоит только к Прасковье Ивановне дорогу найти! – восклицаем мы хором.

– И представьте, что я открыл это родство совершенно случайно! Однажды прихожу к Прасковье Ивановне по хозяйственным ее делам, а ей вдруг и приди на мысль спросить меня; «А что, говорит, ты женат или холостой?» – «Женат, говорю, ваше сиятельство, на Греховой». – «Ах, говорит, да ведь жена-то твоя мне внучатной племянницей приходится!» Начали мы тут разбирать да распутывать – ан и открылось! А не приди ей на мысль спросить меня, так бы оно и осталось под спудом...

Хотя мы неоднократно уже слышали этот анекдот, но считаем долгом и на сей раз выслушать его с полным благоговением. Вообще, ничто так не услаждает наших досугов, как разбор родства и свойства сильных мира сего. По-видимому, это весьма мало до нас касается, потому что собственно наши родственники суть экзекуторы и экспедиторы, но таково уже свойство людей происхождения благородного, что они постоянно стремятся к сферам возвышенным, низменности же предоставляют низкому классу. Не радостно ли, например, услышать, что граф Алексей Николаич выдает дочь свою замуж за сына князя Льва Семеныча? Не интересно ли при этом сообразить, что за молодую княгиню дано в приданое столько-то тысяч душ, да у молодого князя с своей стороны столько-то тысяч? Не знаю, как в других местах, а в нашем городе и в нашем обществе всякая новая семейная радость наших вельмож поистине составляет семейную радость каждого из нас.

– Да, господа, геральдика важная вещь! – продолжает между тем Голубчиков, – нельзя не сожалеть, что в нашем отечестве наука эта находится еще в младенческом состоянии...

Под влиянием всех этих напоминаний Иван Фомич, который доселе пребывал в закоснелости, делает первый шаг, чтоб окончательно смягчить неудовольствие

Невинные рассказы. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru
генерала Голубчикова.

– И благоприятные известия изволили получить, ваше превосходительство? – вопрошает он заискивающим голосом.

– Самые благоприятные-с.

– То есть в каком же роде?

– В самом благонадежном-с. Короче сказать: опасений никаких иметь не следует.

Генерал окидывает нас торжествующим оком. Мы все легко и весело вздрагиваем; некоторые из нас произносят: «Слава богу!» – и крестятся.

И не оттого совсем мы крестимся, чтоб от «этого» дела был для нас ущерб или посрамление, а оттого единственно, что спокойствие и порядок любим. Сами по себе мы не землевладельцы, и хотя у нас имеются некоторые благоприобретенные маенности, но они заключаются преимущественно в ломбардных билетах, которые мы спешим в настоящее время променять на пятипроцентные. Итак, не корысть и не холодный эгоизм руководит нашими действиями и побуждениями, а собственно, так сказать, патриотизм. Сей последний в различных людях производит различные действия. Иных побуждает он лезть на стену, иных стулья ломать... нас же побуждает стоять смирно. Согласитесь, что и это своего рода действие! Мы до такой степени любим наше отечество в том виде, в каком оно существовало и существует издревле (au naturel [82]), что не смеем даже вообразить себе, чтоб могли потребоваться в фигуре его какие-нибудь изменения. Конечно, мы не хуже других понимаем, что нельзя иногда без того, чтоб фестончик какой-нибудь не поправить... ну, там помощника, что ли, к становому прикинуть, или даже и целый департаментик для пользы общей сочинить – слова нет! Но все это так, чтоб величия-то древнего не нарушить, чтоб гармонию-то прежнюю соблюсти, чтобы всякое дыхание бога хвалило, чтобы и травка – и та радовалась!

Такой образ мыслей, по мнению моему, есть самый благонадежный и основанный на истинном понимании вещей. Чтоб сделать мысль мою осязательнее, прибегну к сравнению. Благоразумно ли было бы с моей стороны, если бы я, например, заявил желание, чтоб у генерала Голубчикова был римский нос? Нет, неблагоприятно. Во-первых, потому, что он и ныне состоящим у него на лице учтиво вздернутым башмачком приводит в трепет сердца всех повивальных бабок, а во-вторых, потому, что месторождение римских носов – Рим, а не Россия (самое название достаточно о том свидетельствует). Другой вопрос: благоприятно ли было бы, если бы я пожелал, чтоб на скотном дворе пахло фиалкой, а не навозом? Нет, неблагоприятно, ибо запах фиалки приличествует гостинным, а не скотным дворам. Примеров подобного рода безумных желаний можно привести множество, но и приведенных двух, кажется, вполне достаточно, чтоб убедить всех и каждого, что в иных случаях желание нововведений и каких-то там перемен совершенно равносильно тому, как бы кто настаивал, чтоб у отечества нашего вырос римский нос.

– Итак, это дельце в архив можно сдать? – говорит Иван Фомич, весело потирая руки.

– Как видно-с.

– Да-с; это, что называется...

– Всегда должно было ожидать.

– А ведь сначала-то оно было пошло... тово...

– Да, бойко, бойко было пошло.

– Политика – и больше ничего!

– Конечно, политика! Да оно и натурально, – продолжает ораторствовать Голубчиков, – мы только тем и крепки, господа, что никогда никаких вредных нововведений не принимали, а жили, с помощью божией, как завещали нам предки.

– Однако Петр Великий, ваше превосходительство?... – учтиво замечает Генералов.

Невинные рассказы. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru – Ну что ж... хоть и Петр Великий! бороды сбрить приказать изволил – и больше ничего!

– Регулярное войско завел-с! – диким голосом отзывается из отдаленного угла батальонный командир, который упорно молчал, покуда, по его мнению, разговор касался гражданской части.

– Уж Петр Михайлыч не может утерпеть без того, чтоб за свою часть не заступиться! – говорит Иван Фомич, ласково подмигивая.

– В гражданскую часть не вступаюсь-с, а своего дела не упущу-с! – как-то особенно исправно скандует командир, как будто получает за это благодарность по корпусу.

– Ну что ж!.. хоть бы и регулярное войско! – не смущается Голубчиков, – это только для спокойствия – и больше ничего! Однако никаких этаких машин или, например, чтоб Иван назывался Матвеем, а Матвей Сидором (как нынче) – ничего этого не бывало!

– А нынче это бывает? – любознательно спрашивает Корепанов.

– Бывает-с, – холодно отвечает Голубчиков.

Нет сомнения, что размышления и соображения насчет величественного хода нашей истории могли бы завлечь нас довольно далеко, но появление милой хозяйки дома весьма естественно прерывает тонкую нить наших исторических разысканий. Анна Федоровна издревле пользуется репутацией любезности и неотразимой очаровательности. Еще в Казани, в доме своих родителей, она уже умела быть самой приятною и самой занимательною из всех туземных девиц, несмотря на то что в этом городе, при помощи разных учебных заведений, уровень любезности вообще стоит довольно высоко. Потом, приняв к себе в компанию генерала Голубчикова, Анна Федоровна сделала с ним не столько артистическое, сколько полезное путешествие по России, успела очаровать Пермь, оставила отрадное впечатление в Рязани и овладела всеми сердцами в Симбирске. В настоящее время она председательствует в нашем городе, и председательствует с тем тактом, который ясно свидетельствует, что, и не выходя из министерства финансов, женщина может оставаться обворожительною. Хотя она является в нашем (мужском) обществе на минуту, тем не менее ни одного из нас не оставит без того, чтоб не подарить какую-нибудь любезностью, доказывая тем осязательно, что для умной женщины минута имеет не шестьдесят секунд, а столько, сколько ей захочется. Мне сказывали (не знаю, в какой степени это достоверно), что она даже секретаря своей палаты не оставляет без вопроса о здоровье жены и детей его в то время, когда этот достойный муж, посидев с утренним визитом в кабинете его превосходительства, с пустыми руками и красный как рак перебегает через зал в прихожую.

– Вы, конечно, серьезными делами заняты, messieurs?[83] – обращается она, окидывая всех нас ласковым взглядом.

– Нет, тряпками! – любезно отзывается генерал, который между дамами нашего общества пользуется репутацией милого гроньяра.[84]

– Однако мужчины имеют о бедных женщинах самое обидное понятие! как будто мы только и можем быть заняты что тряпками... – говорит генеральша, слегка вздыхая.

И затем, сделав каждому из нас приятный вопрос («la santé de madame est toujours bonne?»)[85] или: «а у вашего Колечки уже прорезались зубки, Иван Фомич?»), она удаляется, увлекши за собой во внутренние покои Корепанова, который, как человек молодой и холостой, может, конечно, принести больше удовольствия ее demoiselles,[86] нежели нам.

После этого из внутренних покоев к нам высылается превосходно сервированный чай с превкусными сдобными булками, причем генерал весьма приветливо замечает: «Вот это так дамское дело... хозяйничать... чай разливать»...

– А ведь русский народ именно добрый народ! – говорит Иван Фомич, который, как любитель отечественной старины (он в свое время, служа в департаменте, целый архив в порядок привел), сгорает нетерпением навести разговор на прежнюю тему.

Невинные рассказы. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru

- Кроткий народ! – подтверждает генерал Голубчиков.
- И терпелив-с! – отзывается командир.
- Н-да; этакой народ стоит того, чтоб о нем позаботиться! – говорит генерал, и в глаза его внезапно закрадывается какое-то удивительное блаженство, чуть-чуть лишь подернутое меланхолией, как будто он в ту же минуту рад-радехонек был бы озаботиться, но это не от него зависит.
- В нынешнем году все пайки простил-с! – вмешивается командир.
- Все? – спрашивает Голубчиков, вконец побежденный таким великодушием.
- Решительно все-с!
- Какая, однако ж, похвальная черта!
- желательно было бы, знаете, изучить его, – предлагает Иван Фомич.
- То есть в каком же это смысле?
- Ну там... нужды... желания...
- Гм... я, однако ж, не думаю, чтоб это могло принести ожидаемую пользу.
- Почему же, ваше превосходительство?
- А потому, ваше превосходительство, что тут нет именно того, что мы, люди образованные, привыкли разуметь под именем нужд и желаний.
- Согласитесь, однако ж, что нужды и желания могут рождаться не только сами по себе, но и посредством возбуждения, ваше превосходительство! Оставьте, например, меня в покое– ну, я, конечно, не буду иметь ни нужд, ни желаний, а предпиши-ка мне кто-нибудь: «Ты, любезный, обязан иметь нужды и ощущать желания»... поверьте, ваше превосходительство, что те и другие явятся непременно!
- Все это очень может быть, но позвольте один нескромный вопрос: лучше ли будет?
- Если ваше превосходительство изволите рассматривать вопрос с этой точки зрения...
- Не видим ли мы примеров, что желания только отравляют жизнь человека?
- Этого, конечно, нельзя отрицать-с...
- Не встречаем ли мы на каждом шагу, что те люди самые счастливые, у которых желания ограничены, а нужды не выходят из пределов благоразумия?
- Это всеконечно-с...
- Следовательно, ваше превосходительство, на это дело надо взглянуть не с одной, а с различных точек зрения...

Иван Фомич соглашается безусловно, и разговор, по-видимому, истощается. Сознаюсь откровенно, мы не недовольны этим. Уже давно заглядываемся мы на зеленые столы, расставленные в зале, а искренний приятель мой, Никита Федорыч Птицын (званием помещик), еще полчаса тому назад, предварительно толкнув меня в бок, сказал мне по секрету: «Что за чушь несут наши генералы! давно бы пора за дело, а потом и водку пить!» И хотя я в то время старался замять такой странный разговор, но внутренне-не смею в том не покаяться! – не мог не пожелать, чтоб Иван Фомич как можно скорее согласился с генералом и чтоб все эти серьезные дела были отложены.

Но и на этот раз надеждам нашим не суждено сбыться, потому что едва лишь генерал открывает рот, чтоб сказать: «А не пора ли, господа, и за дело?» – как двери с шумом отворяются, и в комнату влетает генерал Рылонов (в сущности, он не генерал, но мы его в шутку так прозвали), запыхавшийся и озабоченный.

Невинные рассказы. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru
– Слышали, ваше превосходительство? – обращается он к хозяину дома. – Шалимов в трубу вылетел!

– Съел Забулдыгин! – восклицаем мы хором.

– Скажите пожалуйста! – отделяется голос Голубчикова, – и так-таки без всяких онёров?

– Безо всего-с; даже никуда не причислен-с.

– Что называется, умер без покаяния! – справедливо замечает Иван Фомич.

Пехотный командир дико гогочет. Голубчиков долго не может прийти в себя от удивления и время от времени повторяет: «Скажите пожалуйста!»

– А ведь нельзя сказать, чтоб глупый человек был! – говорит Генералов.

– Ничего особенного, – возражает Рылонов.

– Все около свечки летал!

– А главное, то забавно, что свечку-то нашу сальную за солнце принимал...

– Ан и обжег крылушки!

– Ах, господа, господа! Как знать, чего не знаешь! Как солнышка-то нет, так и сальную свечку поневоле за солнце примешь! – говорит Голубчиков, впадая, по случаю превратности судеб, в сугубую сентиментальность.

– Все, знаете, какого-то смысла искал...

– Даже в нашей канцелярской работе...

– Смешно слушать!

– Всех столоначальников с ног смотал!

– И что, например, за расчет был ссориться с Забулдыгиным? – продолжает Голубчиков, – решительно не могу понять! Я сам вот, как видите, не раз ему говорил: «Да плюньте вы на него, Николай Иванович!» Так нет, куда тебе. «Плюнуть-то, говорит, я на него, пожалуй, плюну, только ведь и растереть потом надо, ваше превосходительство!»

– Ан вот и растирай теперь!

– Грани теперь в Питере мостовую, покуда приличное место отыщешь...

– Это, как по-нашему говорится: *cherche!* [87] – замечает командир.

– А плюнул бы, так и все бы ладно!

– Оно конечно, ваше превосходительство, что лучше плюнуть, но ведь, с другой стороны, и сердце иногда болит! – возражает статский советник Генералов.

– И ой-ой, еще как болит! – развивает Иван Фомич.

– И все-таки плюнуть! – упорствует Голубчиков, – да помилуйте, господа, что ж это за ребячество! Ну, вы представьте себе, например, меня; ну, иду я по улице и встречаю на пути своем неприличную кучу... Неужели я стану огрызаться на нее за то, что она на пути моем легла? нет, я плюну на нее и, плюнувши, осторожно обойду.

– Нет-с, ваше превосходительство, я насчет этого не могу пристать к вашему мнению, – возражает Иван Фомич, – конечно, на кучу, так сказать, неодушевленную и, следовательно, не своим произволом накиданную, сердиться смешно, но в овраг ее свалить все-таки следует-с.

– А если овраг уж завален?

Невинные рассказы. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru

– И, ваше превосходительство! в губернском городе чтоб не нашлось места для нечистот! – да это боже упаси!

– А я все-таки продолжаю утверждать, что следует плюнуть, и больше ничего!

– Нет, вы мне объясните, за что они передрались? – спрашивает Генералов.

– Да верно ли это?

– Ты, генерал, не соврал ли?

– Ведь ты, ваше превосходительство, здоров врать-то!

– Помилуйте-с, сейчас из клуба-с; Забудыгин сам всем рассказывает!

– Чай, шампанское на радостях лакает?

– Не без того-с.

– Ну, значит, крупно наябедничал!

– А жаль молодого человека. Еще намеднись говорил я ему: «Плюньте, Николай Иваныч!» – так нет же!

Для объяснения этой сцены считаю не излишним сказать несколько слов о Шалимове и Забудыгине.

Шалимова мы вообще не любили. Человек этот, будучи поставлен природою в равные к нам отношения, постоянно предъявлял наклонности странные и даже отчасти подлые. Дружелюбный с низшим сортом людей, он был самонадеян и даже заносчив с равными и высшими. К красотам природы был равнодушен, а к человеческим слабостям предосудительно строг. Глумился над пристрастием генерала Голубчикова к женскому полу, хотя всякий благомыслящий гражданин должен понимать, что человек его лет (то есть преклонных), и притом имеющий хорошие средства, не может без сего обойтись. Действия Забудыгина порицал открыто и (что всего важнее) позволял себе разные колкости насчет его действительно не соответствующего своему назначению носа. Вообще же видел предметы как бы наизнанку и походил на человека, который, не воздвигнув еще нового здания, желает подкопаться под старое. Желание тем более пагубное, что в последнее время уже неоднократно являлись примеры исполнения его. Следовательно, удаление такого человека должно было не огорчить, но обрадовать нас. И думаю, что принесенное Рылоновым известие произвело именно подобного рода действие; хотя же генерал Голубчиков и заявил при этом некоторое сожаление, но должно полагать, что это сделано им единственно по чувству христианского человеколюбия.

Что же касается Забудыгина, то человек этот представляет некоторый психический ребус, доселе остающийся неразгаданным. По-видимому, и в мнениях о природе вещей он с нами не разнствует, и на откупа смотрит с разумной точки зрения, и в гражданских доблестях никому не уступит; тем не менее есть в нем нечто такое, что заставляет нас избегать искренних к нему отношений. Это «нечто» есть странный некий административный лай, который, как бы независимо от него самого, природою в него вложен. Иной раз он, видимо, приласкать человека хочет, но вдруг как бы чем-либо поперхнется и, вместо ласки, поднимет столь озлобленный лай, что даже вчуже слышать больно. Такие люди бывают. Иной даже свой собственный нос в зеркале увидит и тут уже думает: «А славно было бы, кабы этот поганый нос откусить или отрезать!» Но если он о своем носе так помышляет, то как мало должен пещись о носах, ему не принадлежащих! Очевидно, сии последние не могут озабочивать его нисколько. Многие полагают, что озлобление Забудыгина происходит частью от причин гастрических (пьянства и обжорства), частью же от огорчения, ибо, надо сказать правду, Забудыгин немало-таки потасовок в жизни претерпел. Но нам от этого не легче, потому что лай Забудыгина не только на Шалимова с компанией, но и на всех нас без различия простирается, хотя с нашей стороны, кроме уважения к отеческим преданиям и соблюдения издревле установленных в палатах обрядов, ничего противоестественного или пасквильного не допускается.

А потому в сем отношении поступки Забудыгина я ни с чем другим сравнить не

Невинные рассказы. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru умею, кроме злобы ограниченной от природы шавки, лающей на собственный свой хвост, в котором, от ее же неопрятности, завелись различные насекомые.

Пора, однако ж, кончить с Шалимовым и Забулдыгиным, воспоминание о которых отравляет приятные часы нашего существования. Уже давно ждут нас гостеприимные зеленые столы, и генерал Голубчиков с любезной улыбкой останавливается перед каждым из нас, предлагая по карточке. В продолжение последующих двух часов со всех сторон раздаются лишь веселые возгласы, и могу сказать смело, что даже проигрыш денег, обыкновенно располагающий человека к скорби и унынию, не нарушает общего приятного настроения духа.

В особенности отличается пехотный командир, который за картами хочет вознаградить себя за несколько часов тягостного молчания, наложенного им на себя в продолжение вечера.

– Греческий человек Трефандос! – восклицает он, выходя с трэф.

Мы все хохочем, хотя Трефандос этот является на сцену аккуратно каждый раз, как мы садимся играть в карты, а это случается едва ли не всякий вечер.

– Фики! – продолжает командир, выходя с пиковой масти.

– Ой, да перестань же, пострел! – говорит генерал Голубчиков, покатываясь со смеху, – ведь этак я всю игру с тобой перепутаю.

Таким образом мы приятно проводим остальную часть вечера, вплоть до самого ужина.

Кто что ни говори, а карты для служащего человека вещь совершенно необходимая. День-то-деньской слоняясь по правлениям да по палатам, поневоле умаешься и захочешь отдохнуть. А какое отдохновение может быть приличнее карт для служащего человека? Вино пить – непристойно; книжки читать – скучно, да и пишут нынче все какие-то безнравственности; разговором постоянно заниматься – и нельзя, да и материю не скоро отыщешь; с дамами любезничать – для этого в наши лета простор требуется; на молодых утешаться – утешенья-то мало видишь, а все больше озорство одно... Словом сказать, везде как будто пустыня. А карты – святое дело! За картами и время скорее уходит, и сердцу волю даешь, да и не проболтаешься. Иной раз и чешется язык что-нибудь лишнее сказать, а тут десять без козырей соседу придет – ну и промолчишь поневоле. Нет, карты именно благодетельная для общества вещь – это не я один скажу.

Но вот и ужин. Кушанья подаются не роскошные, но сытные и здоровые. Подкрепивши себя рюмкой водки, мы весело садимся за стол и с новою силой возобновляем прерванную преферансом беседу. Вспоминается милое старое время, вспоминаются молодые годы и сопровождавшие их канцелярские проказы, вспоминаются добрые начальники, охранители нашей юности и благодетели нашей старости, – и быстро летят часы и минуты под наплывом этих веселых воспоминаний!

Так проводим мы свободные от служебных занятий часы, и могу сказать по совести, что наступающий затем сумрак ночи не вызывает за собой никаких видений, которые могли бы возмутить наш душевный покой. И в самом деле, перелистывая книгу моей жизни (книгу, для многих столь горькую), я нахожу в ней лишь следующее:

Такого-то числа, встал, умылся, помолился богу, был в палате, где пользовался правами и преимуществами, предоставленными мне законом и древними обычаями родины; обедал, после обеда отдыхал, вечер же провел в безобидных для ближнего разговорах и увеселениях.

Такого-то числа, встал, умылся, помолился богу, был в палате и т. д., то есть одно и то же ровно столько раз, сколько, по благости провидения, суждено будет прожить мне дней в земной сей юдоли.

ДЕРЕВЕНСКАЯ ТИШЬ

Утро. Кондратий Трифонович Сидоров спал ночь скверно и в величайшей тоске слоняется по опустелым комнатам деревенского своего дома. Комнат целый длинный ряд, и слоняться есть где; некогда он гордился этим рядом зал, гостиных, диванных и проч. и даже называл его анфиладою, произнося «несколько в нос; теперь он относится к анфиладе иронически и, принимая гостей, говорит просто: «А

Невинные рассказы. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru
вот и сараи мои!»

На дворе зима и стужа; в комнатах свежо, окна слегка запушило снегом; вид из этих окон неудовлетворительный: земля покрыта белой пеленою, речка скована, людские избы занесло сугробами, деревня представляется издали какую-то безобразною кучею почерневшей соломы... бело, голо и скучно!

Походит-походит Кондратий Трифонович – и остановится. Иногда потрет себе ладонью по животу и слегка постонет, иногда подойдет к окну и побарабанит в стекло. Вон по дороге едут в одиночку сани, в санях завалился мужик; проезжает мимо барского дома и шапки не ломает.

«Ладно!» – думает Кондратий Трифонович.

И опять начинает ходить по своим сараям, и опять остановится. Посмотрит на сапоги, просторно ли они сидят на ноге, вытянет ногу, чтоб удостовериться, крепко ли штрипки пришиты и не морщат ли брюки.

– Ванька! квасу! – кричит Кондратий Трифонович.

Ванька бежит из лакейской и подает на подносе стакан с пенящимся квасом. Но Кондратию Трифоновичу кажется, что он не подает, а сует.

– Что ты суешь? что ты мне суешь? – вскидывается он на Ваньку.

– Ничего я не сую! – отвечает Ванька.

«Ладно!» – думает Кондратий Трифонович.

И опять начинается ходьба. Кондратий Трифонович останавливается перед стенными часами и пристально смотрит на циферблат; посредине циферблата крупными буквами изображено: London, а внизу более мелким шрифтом: Nossoff à Moscou. Все это он сто раз видел, над всем этим сто раз острил, но он все-таки смотрит, как будто хочет выжать из надписи какую-то новую, неслыханную еще остроту. Часы стучат мерно и однообразно: тик-так, тик-так; Кондратий Трифонович вторит им: «тикё-такё, тикё-такё», притопывая в такт ногою. Наконец и это прискучивает; он снова подходит к окну и начинает вглядываться в деревню. Оттуда не слышно ни единого звука; только серые дымки вьются над хижинами добрых поселян. Кондратию Трифоновичу, неизвестно с чего, приходит на мысль слово «антагонизм», и он начинает петь: «Антагонизм! антагонизм!», выговаривая букву и в нос. Все это заканчивается свистом, на который опять вбегает Ванька.

– Ты что на меня глаза вытарацил? – напускается на него Кондратий Трифонович.

– Ничего я не вытарацил! – отвечает Ванька.

– Ладно! – говорит Кондратий Трифонович, – пошел, позови Агашку!

Через минуту является Ванька и докладывает, что Агашка не идет.

– Почему ж она не идет?

– Говорит: не пойду!

– Только и говорит?

– Только и говорит!

– Ладно!

В голове Кондратия Трифоновича зреет мысль: он решается все терпеть, все выносить до приезда станового. Поэтому, хотя внутри у него и кипит, но он этого не выражает; он даже никому не возражает, а только думает про себя: «Ладно!» – и помалчивает... до приезда станового.

Не дальше как вчера на ночь Ванька снимал с него сапоги и вдруг ни с того ни с сего прыснул.

Невинные рассказы. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru
– Ты чему, шельма, смеешься? – полюбопытствовал Кондратий Трифоныч.

– Ничего я не смеюсь! – отвечал Ванька.

– Этакая бестия! смеется, да тут же в глаза еще запирается!

– Чего мне запирается? кабы смеялся, так бы и сказал, что смеялся! – упорствовал Ванька.

– Ладно!

С этих пор в нем засела мысль, с этих пор он решился терпеть. Одно только смущает его: все свои грубости Ванька производит наедине, то есть тогда, когда находится с Кондратьем Трифонычем с глазу на глаз. Выйдет Кондратий Трифоныч на улицу – Ванька бежит впереди, снег разгребает, спрашивает, не озябли ли ножки; придет к Кондратию Трифонычу староста – Ванька то и дело просовывает в дверь свою голову и спрашивает, не угодно ли квасу.

– Услуга-парень! – замечает староста.

– Гм... да... услуга! – бормочет Кондратий Трифоныч и обдумывает какой-то план.

Он считает обиды, понесенные им от Ваньки, и думает, как бы таким образом его уличить, чтоб и отвертеться было нельзя. Намеднись, например, Ванька, подавая барину чаю, скорчил рожу; если бы можно было устроить, чтоб эта рожа так и застыла до приезда станового, тогда было бы неоспоримо, что Ванька грубил. В другой раз на вопрос барина, какова на дворе погода, Ванька отвечал: «Сиверко-с», – но отвечал это таким тоном, что если бы можно было, чтоб тон этот застыл в воздухе до приезда станового, то, конечно, никто бы не усумнился, что Ванька грубил. И еще раз, когда барин однажды делал Ваньке реприманд по поводу нерачительно вычищенных сапогов, то Ванька, ничего не отвечая, отставил ногу, если бы можно было, чтоб он так и застыл в этой позе до приезда станового, тогда, разумеется...

– Нет, хитер бестия! ничего с ним не поделаешь! – восклицает Кондратий Трифоныч и ходит, и ходит по своим сараям, ходит до того, что и пол-то словно жалуется и стонет под ногами его: да сядь же ты, ради Христа!

Он уже давно заметил, что между ним и Ванькой поселилась какая-то холодность, какая-то натянутость отношений. Услышавши, что об этом предмете весьма подробно объясняется в книжке, называемой «Русский вестник», он съездил к соседу, взял у него книжку и узнал, что подобная натянутость отношений называется сословным антагонизмом.

– Ну, а дальше что? – допрашивал Кондратий Трифоныч, но книжка говорила только, что об этом предмете подробнее объясняется в другой такой же книжке.

– Оно конечно, – рассуждал по этому поводу Кондратий Трифоныч, – оно конечно... Ванька сапоги чистит, а я их надеваю, Ванька печки топит, а я около них греюсь... ну да, это оно!

И с тех пор слово «антагонизм» до такой степени врезалось в его память, что он не только положил его на музыку, но даже употребляет для выражения всякого рода чувств и мыслей.

И ходит Кондратий Трифоныч по своим опустелым сараям, ходит и останавливается, ходит и мечтает. Мало-помалу мысль его оставляет Ваньку-подлеца и обращается к другим предметам. Он думает о том, что вдруг будущим летом во всех окрестных имениях засуха, а у него у одного все дожди, все дожди; что окрестные помещики не соберут и на семена, а он все сам-десять, все сам-десять. Он думает о том, что кругом все тихо, а у него в имени вдруг землетрясение! слышится подземный шум, люди в смятении, животные в ужасе... вдруг – вв!.. зз!.. жж!.. и, о радость, на том самом месте, где у него рос паршивый кустарник, в одну минуту вырастает высокий и частый лес, за который ему с первого слова дают по двести рублей за десятину. Он думает о том, что мужики его расторгались, что они помнят его благодеяния и подносят ему соболью шубу в пятнадцать тысяч рублей серебром. Он думает о том, что в Москве сгорело все сено, сгорели все дрова и неизвестно куда девался весь хлеб, что у него, напротив того, вследствие собственной

Невинные рассказы. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru благоразумной экономии, а также вследствие различных поощрений природы, всего этого накопилось множество, что он возит и продает, возит и продает... Он думает о том, что вышло повеление ни у кого ничего не покупать, кроме как у него, Сидорова, за то, что он, Сидоров, в такую-то достопамятную годину пожертвовал из крестьянского запасного магазина столько-то четвертей, да потом еще столько-то четвертей, и тем показал ревность беспримерную и чувствительность, подражания достойную... Он думает о том, что в доме его собрались окрестные помещики и что он им толкует о превосходстве вольнонаемного труда над крепостным. «Конечно, господа, – говорит он им, – в настоящее время помещик не может получать дохода, сидя на месте сложа руки, как это бывало прежде; конечно, он прежде всего должен употребить свой личный труд, свою личную, так сказать, распорядительность»...

Но вот мысли его от усиленной работы начинают мешаться. Перед глазами его от непрерывного коловратного движения показываются зеленые крути; белая колокольня, стоящая перед барским домом, начинает словно подплясывать; дворовая баба, проходящая по двору, словно не идет, а на одном месте пошатывается, и что-то у ней под фартуком, что-то у ней под фартуком...

– Есть, что ли, мне хочется? – спрашивает сам себя Кондратий Трифонович и с злобою замечает, что часовая стрелка показывает только десять.

– А ведь у ней под фартуком что-то есть, – продолжает он, но не дает своим предположениям дальнейшего развития, а только прибавляет: – Ладно!

Надоело ходить, надоело мыслить... Кондратий Трифонович садится на диван и примечает, что пыль со стола не сметена. В былое время, то есть до «антагонизма», он вскипел бы при виде такого беспорядка, он кликнул бы Ваньку и тут же задал бы ему трепку. Теперь этот беспорядок приносит ему более удовольствия, нежели огорчения, ибо он видит в нем улику.

– Ванька! – кричит Кондратий Трифонович, и в голосе его слышится уже торжество победы, – это что?

– Стол-с, – отвечает Ванька с самым невозмутимым хладнокровием.

– А на столе что?

– Пыль-с.

– Ну?

Ванька молчит.

– Ладно! – говорит Кондратий Трифонович и через минуту имеет удовольствие слышать, как Ванька хихикает с кем-то в передней.

Кондратий Трифонович снова предается мечтаниям. Он мечтает о том, как было бы хорошо, если бы он был живописцем; тогда он срисовал бы нахальную Ванькину рожу в тот момент, когда он отвечает: «Пыль-с», – и представил бы эту картинку становому. Но с другой стороны, где же ручательство, что становой не примет этой картинки за вымышленное произведение собственной его, Кондратия Трифоновича, фантазии? где свидетели, которые подтверждали бы, что Ванька, отвечая: «Пыль-с», имел именно такое, а не иное выражение лица?

– О, черт побери! Эти приказные вечно с своими канцелярскими закавычками! – восклицает Кондратий Трифонович и начинает выискивать мечтаний более практических.

Он мечтает о том, как было бы хорошо, если бы становой вдруг в эту самую минуту вырос из земли, так чтоб Ванька не опомнился и никак не успел стереть пыль со стола. Представляет он себе изумленную, ополоумевшую морду Ваньки и невольно и сладко хихикает.

– «Пыль-с», – дразнит он Ваньку, почти подплясывая на месте.

– Это что? – грозно спрашивает Ваньку воображаемый становой.

– «Пыль-с», – опять дразнится Кондратий Трифонович и опять подплясывает на месте.

Невинные рассказы. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru Становой наконец убеждается; он приказывает срубить целую березу и вручает ее десятским. Ваньку уводят... На другое утро Ванька является шелковым; целый день все что-то чистит и стирает, целый день метет пол и оправляет баринovu постель, целый день ставит самовары и мешает в печках дрова...

Но, с другой стороны (о, черт возьми!), где же ручательство, что становой именно велит березу срубить? Где ручательство, что он не ответит Кондратью Трифону, что он и сам мог бы стереть пыль со стола?

– О, черт побери! Эти приказные вечно с своими канцелярскими заковычками! – восклицает Кондратий Трифон и начинает выискивать мечтаний еще более практических.

Он мечтает, что никаких заковычек больше нет, что он призывает станowego (который нарочно тут и стоит, чтоб заковычек не было) и говорит ему: «Ванька мне мину сделал!»

– Сейчас-с, – говорит становой и летит во весь дух распорядиться.

Потом он опять призывает станowego и говорит ему: «Ванька пыли со стола не стер!»

– Сейчас-с, – говорит становой и летит распорядиться.

Но вот и опять мысли мешаются, опять образуются зеленые круги, опять подплясывает белая длинная колокольня. Надоело сидеть, надоело мыслить...

– Черт знает, есть, что ли, мне хочется? – опять спрашивает себя Кондратий Трифон и с тоскою взглядывает на часы. Тоска обращается в ненависть, потому что часовая стрелка показывает половину одиннадцатого.

– За попом, что ли, спсылать? – рассуждает сам с собой Кондратий Трифон и тут же решает, что спсылать необходимо.

Кондратий Трифон малый не злой и даже покладистый для своих домочадцев, но с некоторого времени нрав у него странным образом переменялся. Ванька, с свойственной ему легкомысленностью, отзывался об этой перемене, что Кондратий Трифон спятил; ключница Мавра выражалась скромнее и говорила, что барин задумывается, что на него находит. Как бы то ни было, но перемена существовала и произошла едва ли не в ту самую минуту, как он прочитал, что есть на свете какой-то сословный антагонизм. С тех самых пор он вообразил себе, что он – одна сторона, а Ванька – другая сторона и что они должны бороться. Ванька представлял собою интересы всех чистящих сапоги и топящих печки, Кондратий Трифон – интересы всех носящих сапоги и греющихся около истопленных печей. Ясно, что стороны эти не могут понимать друг друга и что из этого должен произойти антагонизм. И вот он борется утром, борется за обедом, борется до поздней ночи. Но Ванька не понимает, что такое антагонизм, и, очевидно, уклоняется от борьбы. Он исправляет свои обязанности по-прежнему, то есть по-прежнему не стирает пыли со столов, по-прежнему забывает закрыть трубы в печах, а Кондратий Трифон видит во всем грубые мины, злостные позы à la неглиже с отвагой и старается Ваньку изобличить. Из этого выходит, что Ванька, как только забьется в переднюю, первым делом начинает хихикать и представляет, как барин к нему пристаёт. Кондратий Трифон слышит это и говорит: «Ишь, шельма, смеется!», а того никак понять не хочет, что Ванька даже и не подозревает, что ему, Кондратию Трифону, хочется борьбы. И таким образом умаявшись к вечеру, оба засыпают; Кондратий Трифон видит во сне, что он сделался медведем, что он смял Ваньку под себя и торжествует; Ванька видит во сне, что он третьи сутки все чистит один и тот же сапог и никак-таки вычистить не может.

– Что за чудо! – кричит он во сне и как оглашенный вскакивает с одра своего.

«Ишь ведь, каналья, даже во сне не оставляет в покое!» – думает в это время Кондратий Трифон, пробужденный неестественным криком Ваньки.

И таким образом проходят дни за днями. Выигрывает от этого положительно один Кондратий Трифон, потому что такое препровождение времени, по крайней мере, наполняет пустые дни его. С тех пор как завелось «превосходство вольнонаемного труда над обязательным», с тех пор как, с другой стороны, опекунский совет

Невинные рассказы. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru закрыл гостеприимные свои двери, глуповские веси уныли и запустели. Заниматься решительно нечем, да и не для чего: все равно ничего не выйдет. Говорят, будто это оттого происходит, что кредиту нет и что Сидорычам подняться нечем; может быть, жалоба эта и справедлива, однако до Сидорычей ни в каком случае относиться не может. Недостаток кредита не губит, а спасает их, потому что, будь у них деньги, они накупили бы себе собак, а не то чтоб что-нибудь для души полезное сделать. А то еще подниматься! Повторяю: веси приуныли и запустели; в весях делать нечего, потому что все равно ничего не выйдет. То, что оживляло их в бывалые времена, как-то: взаимные банкеты и угощения, а также распоряжения на конюшне, то в настоящее время не может уже иметь места: первые – по причине недостатка кредита, вторые – потому что не дозволены. Каким же образом убить, как издержать распроклятые дни свои? Поневоле ухватишься за антагонизм, хотя, в сущности, никакого антагонизма нет и не бывало, а было и есть одно: «Вы наши кормильцы, а мы ваши дети!» Вот и Кондратий Трифоныч ухватился за антагонизм, и хотя он не сознается в этом, но все-таки жизнь его с тех пор потекла как-то полнее. По крайней мере, теперь у него есть политический интерес, есть политический враг, Ванька, против которого он направляет всю деятельность своих умственных способностей. Смотришь, ан день-то и канул незаметным образом в вечность, а там и другой наступил, и другой канул...

Но вот и батюшка пришел; Кондратий Трифоныч слышит, как он сморкается и откашливается в передней, и в нетерпении ворчит:

– О, чтоб!.. сморкаться еще выдумал!..

Батюшка – человек маленький, рыхленький; лицо имеет благостное, но вместе с тем и угрожающее, как будто оно говорит: «А вот погоди! скажу я тебе уж проповедь!» Ходит батюшка, словно лебедь плывет, рукой действует размашисто, говорит размазисто. Нос у него, вследствие внезапного перехода со стужи в тепло, влажен, на усах висят ледяные сосульки.

– Скука, отче! – говорит Кондратий Трифоныч после взаимных приветствий.

– Можно молитвою развлечься! – отвечает батюшка, и при этом лицо его осклабляется.

– Ну вас!

Молчат.

– Сидел-сидел, молчал-молчал, – начинает Кондратий Трифоныч, – инда дурость взяла! черт знает чего не передумал! хоть бы ты, что ли, отче, паству-то вразумил!

– Разве предосудительное что заметить изволили? – отвечает батюшка, и лицо его выражает жалость, смешанную с испугом.

– Да что! грубят себе поголовно, да и шабаш!

– Непохвально!

– Просто житья от хамов нет!

– В ком же вы наиболее такое настроение замечать изволили, Кондратий Трифоныч?

– Во всех! От мала до велика – все грубят! Да как еще грубить-то выучились! Ни слова тебе не говорит-а грубит! служит тебе, каналья, стакан воды подает – а грубит!

Батюшка тоскливо помотал головой и крикнул.

– И во многих такое настроение замечаете? – брякнул он, позабыв, что повторяет свой прежний вопрос.

– Да говорят же тебе: во всех! во всех! Ну, слышишь ли ты: во всех! во всех!

Батюшка слегка привскакнул и откинулся назад, как будто обжегся. Опять молчат.

Невинные рассказы. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru
– Что ж это за скука такая! – начинает Кондратий Трифоновч, – закуску, что ли, велеть подать?

– Во благовремении и пища невредителна бывает.

– А не во благовремении как?

Батюшка опять привскакивает и откидывается назад.

– Ну, и сиди не евши: зачем пустяки говоришь! Молчат.

– Не люблю я, когда ты пустяки мелешь! Молчат.

– И кого ты этими пустяками удивить хочешь? Батюшка краснеет, Кондратий Трифоновч тяжело вздыхает и произносит:

– Ох, скука-то, скука-то какая!

– Время неблагопотребное, – рискует батюшка, но тут же обнаруживает беспокойство, потому что Кондратий Трифоновч смотрит на него сурово.

– И откуда ты таким глупым словам выучился! говорил бы просто: непотребное время! И не надоело тебе язык-то ломать! – строго говорит Кондратий Трифоновч.

Опять водворяется молчание, изредка прерываемое глубокими вздохами Кондратия Трифоновча. Батюшка вынимает платок из кармана и начинает вытирать им между пальцев.

– Что это я все вздыхаю! что это я все вздыхаю! – произносит Кондратий Трифоновч.

– О гресех... – начал было батюшка, но не окончил, а только пискнул.

– Тьфу ты!

Молчат.

– А ты слышал, что Скуракин на днях такого же вот, как ты, попа высек? – спрашивает внезапно Кондратий Трифоновч.

– Сс... стало быть, следствие наряжено?

– Да, брат, тоже вот все говорил: «о гресех» да «благоутробно» – ну, и высек!

Всю эту историю Кондратий Трифоновч сейчас только что выдумал, и никакого попа Скуракин не сек. Но ему так понравилась его выдумка, что он даже повеселел.

– Да, брат, права наши еще не кончились! Вот вздумал высечь – и высек! Ищи на нем!

– Однако, позвольте, Кондратий Трифоновч, осмеливаюсь я думать, что господин Скуракин поступил не по закону!

– Ну! по какому там еще закону! Известно, секут не по закону, а по обычаю!

– Позвольте, Кондратий Трифоновч! я все-таки осмеливаюсь полагать, что господин Скуракин не имел никакого права!

– Высек – и все тут!

– Высечь недолго-с...

– Ну да... и долго, и не долго... а высек!

Батюшка крикнул; он видимо был обижен. Что ж это такое, в самом деле? И с какой стати Кондратий Трифоновч завел такую пустую материю? и не заключают ли слова его фигуры иносказания?

– Стало быть, этак всех высечь можно? – произнес он с видимым волнением.

– Всех!

– Стало быть, и... – Батюшка не договорил.

– Стало быть, и...

Батюшка обиделся окончательно. Мало-помалу он так разревновался, что даже встал и начал прощаться.

– Уж я, Кондратий Трифоныч, лучше в другой раз приду, когда улучится более благоприятная минута, – сказал он.

– Ну, да постой! куда ты! это ведь я пошутил!

– Неблагообразно шутить изволите!

– Фу, черт! опять ты с своим благоутробием! да говорят тебе: пошутил!

– Нет, Кондратий Трифоныч!

– Слышь, говорят: пошутил!

– Нет-с, Кондратий Трифоныч!

– Ну, и ступай! ну, и пропадай! Только ты у меня смотри: ни всенощных, ни молебнов... ни-ни!

– И не надо-с! собственную же свою душу не соблюдете!

Батюшка ушел, в передней опять послышалось откашливание и сморкание; Кондратий Трифоныч опять почувствовал прилив тоски.

– Эй! воротить его! – крикнул он.

Ванька побежал, но воротился с ответом, что батюшка не идет.

– Сказать ему, что я умираю! Батюшка воротился, но стал у самой двери.

– Что вам, сударь, угодно? – спросил он с достоинством.

– Да садись же ты!

– Нет-с, и дома посижу!

– Ну, да полно! благопрости ты меня! поблагобеседуй ты со мной! Ну, видишь?

Батюшка колебался.

– А не то, давай почавкаем что-нибудь! А если и это не нравится, так поблаготрапезуем!

Батюшка плавными шагами приблизился к стулу и сел. Но он все-таки еще не совсем оправился, потому что опять вынул из кармана платок и начал вытирать им между пальцев.

Приносят водку; Кондратий Трифоныч наливает рюмку и подносит батюшке; но в ту минуту, когда батюшка уж почти касается рукою рюмки, Кондратий Трифоныч делает быстрый маневр и мгновенно выпивает водку сам. Батюшка крикает и опять косится на шапку. Однако на этот раз все устраивается благополучно.

– Я думаю на будущий год молотилку выписать! – говорит Кондратий Трифоныч, а сам в то же время думает: «Кукиш с маслом! на какие-то деньги ты выпишешь!»

– Это полезно, – отвечает батюшка, – и крестьяне от вас позаняться могут.

– Я и сеноворошилку куплю, – упорствует Кондратий Трифоныч, – да вот еще сеялка такая есть...

– Сс... – произносит батюшка.

Молчат. Выпили по другой.

– У меня имение хорошее! – говорит Кондратий Трифоныч.

Батюшка, неизвестно с чего, вдруг распростирает руки, как будто хочет обнять необъятное.

– Ну да! Это надо сказать правду, что хорошее! нужно только руки приложить! – продолжает Кондратий Трифоныч, – вот я с будущего года молоко в Москву возить стану!

– Экипажцы, стало быть, такие сделаете?

– Ну да! Положим, например, что корова дает... ну, хоть ведро в день!

Батюшка крякает и откидывается назад.

– Ну да... ну, хоть ведро в день! положим, хоть по восьми гривен за ведро... сколько это будет?

Кондратий Трифоныч задумывается и в рассеянности выпивает третью рюмку. Батюшка съедает грибок.

– Одного торфу сколько у меня! – вдруг восклицает Кондратий Трифоныч.

– Стало быть, торфом торговать будете? – спрашивает батюшка и, приложив руку к сердцу (дабы не распахнулась ряска), крадется к столу, чтоб отрезать кусочек ветчинки.

– Всем буду торговать! и молоком буду торговать! и торф буду продавать! и ягоды в Москву буду возить! Нонче, брат, глядеть-то нечего! нонче, брат, дворянскую-то спесь надо побоку!

– Сс... – удивляется батюшка, – стало быть, изволите находить, что непредосудительно?

Вместо ответа Кондратий Трифоныч выпивает четвертую и в то же время указывает на графин батюшке, который немедленно следует его примеру.

– А позвольте узнать, – спрашивает батюшка, – как же теперь купцы, мещане... стало быть, им возбранено будет торговать?

– А мне что за дело!

– Стало быть, этого уж не будет, чтоб всякому, то есть, званию предел был положен?

– Не будет! а что?

– Ничего-с; конечно, по Писанию, оно не то чтоб... потому, есть купующие, есть и куплю деющие, есть возделывающие землю, есть и поядающие...

– Ну, так что ж?

– Ничего-с... я к примеру-с...

– И кого только ты этими глупостями удивить хочешь!

Молчат.

– А то вот еще искусственным разведением рыб заняться можно! – вдруг изобретает Кондратий Трифоныч.

– Сс... стало быть, всякую рыбицу у себя завести можно?

Невинные рассказы. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru
– Всякую!

– Сс... подумаешь, какую, однако, власть над собой человек взял!

– Да, брат, власть!

– Только тверди и звезд небесных еще соделать не может!

– А рыбу может всякую!

– И безвыгодно?

– Какое, к черту, безвыгодно! ты пойми, сколько в Москве стерлядь-то стоит!

– Что ж, это дело хорошее! может, и крестьяне около вас позаймутся.

Молчат. Кондратий Трифоныч слегка зеваает.

– Я нонче все буду сам! лес рубить буду сам! молоко в Москву возить – сам! торф продавать – сам! – говорит он, приходя внезапно в восторг.

– Доброе, сударь, дело! – отвечает батюшка.

– Нонче, брат, не то, что прежде! нет, брат, шалишь! нонче везде все сам: и посмотри сам, и свесь сам, и съезди везде сам, и опять посмотри, и опять свесь!

Кондратий Трифоныч, говоря это, суетится и тыкает руками, как будто он в самую эту минуту и смотрит, и весит, и куда-то едет.

– Это точно; и предки наши говаривали: «Свой глазок-смотрок!»

– Предки-то наши только говаривали, а сами одну навозницу соблюдали!

Батюшка снисходительно улыбается. Водворяется молчание.

– Хорошо бы машину какую-нибудь выдумать! – говорит Кондратий Трифоныч.

– Про какую такую машину говорить изволите?

– Ну, да какую-нибудь... чтоб и жала, и косила, и лес бы рубила, и масло бы пахтала... и везде бы один привод действовал!

– Слышно, англичане много всяких машин выдумывают!

– Сидел бы я себе дома, да делал бы, да делал бы машины, а потом в Москву продавать возил бы.

– Вот бог англичанам на этот счет большую остроту ума дал! – настаивает батюшка.

– А нашим не дал!

– Зато наш народ благочестием и благоугодною к церкви преданностью одарил!

– Ну, и опять тебе говорю: кого ты своими благоглупостями благоудивить хочешь?

Батюшка окончательно конфузится и закусывает губы. Напротив того, Кондратий Трифоныч воспламеняется и постепенно входит в хозяйственный азарт. Он объясняет, что можно налима с лещом совокупить и что из этого должна произойти рыба, у которой будут печенки и молоки налими, а тёшка лещина; он объясняет, что примеры подобного совокупления случались и в природе: стерлядь совокупилась с осетром, и вышла рыба шип, которую он ел на обеде у губернатора.

– Не у теперешнего, – прибавляет он, – теперь у нас какой-то гордишка, аристократишко какой-то, а вот у прежнего, у генерала Слабомыслова!

Он объясняет батюшке, какую он машину выпишет: и дрова таскать будет, и пахать будет, и воду носить будет, и топить ее будет не дровами, а землей, – все землей!

Невинные рассказы. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru

– Работников, брат, мне с этой машиной совсем не надо! – прибавляет он.

Он объясняет, каких он коров из Англии выпишет: костей у них совсем нет, а все одно мясо да молоко, все молоко, все молоко!

Он объясняет, наконец, что выстроит новую колокольню, такую колокольню: один этаж каменный, другой деревянный, потом опять каменный и опять деревянный.

– Жертва богу угодная! – замечает батюшка, – жертва, сударь, все равно что кадило благовонное!

– А ты думал как?

– Впрочем, колокольня у нас еще постоит... вот насчет трапезы, Кондратий Трифоновч!

– Уж ты молчи! я все сделаю! и колокольню сломаю! и трапезу сломаю! я все сломаю! – объясняет Кондратий Трифоновч.

И, разговаривая таким манером, выпивает рюмку за рюмкой, рюмку за рюмкой!

Батюшка, в свою очередь, выпивает; и вследствие этого беспрестанно поправляет пальцами глаза, как будто хочет их разодрать, чтоб лучше видеть. В то же время он радуется, что в одно утро приобрел столько разнообразных сведений.

– Это вы благополезное дело затеяли, Кондратий Трифоновч! – говорит он.

– Тьфу ты!

Наконец, изолгавшись вконец и, вероятно, найдя, что машины все до одной изобретены, коровы все выписаны, Кондратий Трифоновч впадает в истощение. Часы бьют два.

– Обедать! – кричит Кондратий Трифоновч, – ты со мной, что ли, отче?

– Уж очень занятно вы рассказываете, Кондратий Трифоновч! послушал бы и еще-с.

– Ну, а коли послушал бы, так оставайся!

Подают обедать; но гений хозяйственной распорядительности уже отлетел от Кондратия Трифоновча. Он не то чтоб спит, но слегка совеет и только изредка подмигивает батюшке на Ваньку (дескать, посмотри, как сует!), который, в свою очередь, не стесняясь присутствием этого последнего, показывает барину сзади язык. Таким образом, антагонизм, о котором так много говорит Кондратий Трифоновч, представляется батюшке в лицах на самом действии.

– Ты для чего же рыжиков к жаркому не подал? – неверным, несколько путающимся языком допрашивает Ваньку Кондратий Трифоновч.

– А для того и не подал, что огурцы есть, – тоже путающимся языком отвечает Ванька.

– Ишь ты! дразнится, шельма! – замечает Кондратий Трифоновч и подмигивает батюшке, как бы приглашая его быть свидетелем Ванькиной грубости.

Наконец и сумерки упали. Батюшка давно ушел; Кондратий Трифоновч спит и даже во сне ничего не видит. Как повалился он на постель, так ему голову словно заложило чем. В передней вторит ему Ванька.

В шесть часов Кондратий Трифоновч уж шагает по своим сараям и просит квасу. В средней комнате уныло мерцает стеариновая свеча, прочие комнаты окутаны мраком. Кондратий Трифоновч шагает и думает: что бы ему сделать такое, чтобы...

– Чтобы что? – спрашивает его внутренний голос.

– Господи! какая тоска! – восклицает Кондратий Трифоновч, не разрешая вопроса.

И опять ходит, и все о чем-то думает, все чего-то ждет. Думает о том, что

Невинные рассказы. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru
завтра, быть может, будет снег, а быть может, будет и вьюга; ждет, что к
николину дню будут морозы.

– О, черт побери! – восклицает он.

И опять ходит, и опять ждет – скоро ли чай подадут?..

– Ванька! да пошли ты, разбойник, Агашку ко мне! – кричит он отчаянным голосом.

Агашка на этот раз является. Это девушка кругленькая, полненькая, белокуренькая,
с измятым, но весьма приятным личиком.

– Что вы, Агашенька, ко мне не ходите? – спрашивает ее Кондратий Трифоновч,
семена кругом нее ножками, как делают влюбленные петухи.

– Вы разве спрашивали меня? – отзывается Агашенька, повертываясь на своей оси по
тому же направлению, по какому ходит Кондратий Трифоновч.

– Я за вами десять раз Ваньку посылал-с!

– Ванька ни разу мне не говорил!

– Этакой скот, подлец! А отчего же вы сами никогда ко мне не зайдете-с?

Агашенька не отвечает; она слегка зарделась.

– Ну-с, Агашенька-с?

– Я, Кондратий Трифоновч, я-с... – начинает Агашенька и никак не может кончить.

– Ну-с, что же вы-с?

– Я-с... позвольте мне, Кондратий Трифоновч, замуж идти-с! – скороговоркой
произносит Агашенька и умолкает, словно сама испугалась слов своих. А щечки у
нее так и пылают, так и рдеют от стыда и испуга!

Кондратий Трифоновч озадачен; он думает, как ему поступить, и, разумеется, как
все люди, которых самолюбие неожиданно уязвлено, на первых порах надумывает
глупейшую штуку. Он как-то надувается и устраивает оскорбленную мину; он
поднимает плечи и, отступя несколько шагов назад, указывает Агаше руками на
двери.

– Скатертью дорога-с! – говорит он, – ну, так что же-с! и с богом-с!

– Душенька, Кондратий Трифоновч! ей-богу, я не могу! – говорит Агашенька и в то
же время стыдится и рдеет, едва выговаривая от волнения слова.

– А коли не можете, так и с богом! – отвечает Кондратий Трифоновч, по-прежнему
глупым образом уставляя руки по направлению к двери.

Агашенька закрывает лицо платком и быстро выбегает.

Кондратий Трифоновч остается один и опять принимается за ходьбу. Но он чувствует,
что у него начинает щемить сердце, он чувствует, что к глазам что-то подступает.

– Ладно! это ладно! – говорит он самому себе.

– Что «ладно»-то? – спрашивает внутренний голос. «Ну, черт с нею! – думает он, –
поеду в Москву и найду себе... а ведь она, чай, за повара?»

И опять начинает сосать сердце, и опять начинает что-то подступать к глазам.

– Ваня! позови Агашу! – говорит он словно изменившимся голосом, просовывая
голову в переднюю.

Через минуту Ванька возвращается и докладывает, что Агашка не идет.

– Да ты поди, ты скажи ей, что я... так.

Невинные рассказы. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru

Ванька скрывается.

– Вы меня спрашивали, Кондратий Трифоныч? – раздается в темноте знакомый голос.

– Вы за кого же замуж выходите, Агашенька-с? – спрашивает Кондратий Трифоныч.

– Я-с... за повара... за Степана-с!

– Гм... за Степана! а в девушках оставаться не хотите?

– Уж позвольте, Кондратий Трифоныч!

– Ну бог с вами! кто же у вас посаженным отцом будет?

Агашенька перебирает пальцами концы большого платка, который накинута у ней на шею.

– Хочешь, я посаженным отцом буду?

– Ах, нет!.. нет... уж оставьте это, Кондратий Трифоныч!

– Что ж, и в посаженные-то уж взять не хотите?

Агашенька, видимо, тяготится разговором; она переминается с ноги на ногу; ей хочется уйти. Кондратию Трифонычу кажется, что она неблагодарная.

– Ну, с богом! что ж... если я... если я... ну, и с богом!

Кондратий Трифоныч давится и, чтоб скрыть охватившее его волнение, кашляет; но в ту минуту, когда он поднимает голову, Агаши уж нет...

– Хоть жить-то у меня останетесь ли? – кричит он вслед и, не получивши ответа, ворчит: – Ишь! даже ответа не дает! а ведь я два года еще право имею... ладно!

Между тем на дворе разыгрывается вьюга; она несет снопы снега с реки и укладывает их буграми и грядками около барского дома; она наполняет воздух какою-то сумятицей и застилает огоньки, которые светятся в людских избах и в тихую погоду бывают видны из господского дома; она визжит и воет; она стучится в стены и в окна, словно просится со стужи в тепло.

– Нет тебе ни правой, ни левой, нет тебе ни правой, ни левой! – слышится Кондратию Трифонычу в этом заунывном голошении вьюги.

Делать решительно нечего; что было дела – все переделал, что было мыслей – все передумал. Часы тоскливо стучат: тик-так, тик-так, и Кондратий Трифоныч чувствует, как взмахи маятника, один за другим, уносят его надежды. Он чувствует, что с каждой минутой все больше и больше дряхлеет, что дерево жизни подточено, что листья один за одним все падают, все падают...

– Что ж это он чаю, подлец, не дает! – вскрикивает он, как уязвленный, удостоверившись, что часовая стрелка стоит на половине осьмого. – Ванька! чаю, чаю-то что ж не даешь? Не стою я, что ли?

Ванька хочет уйти.

– Нет, ты мне говори: не стою, что ли, я чаю, что ты меня до сих пор моришь?

– Я думал, что не надо! – огрызается Ванька.

– Ты думал! он думал! милости просим! он думал! а ты знаешь ли, как вашего брата за думанье-то! он думал!.. ты! ты!.. ах ты! Ну, ступай... ладно!

Кондратий Трифоныч опять пересчитывает свои обиды: тогда-то пыли не стер, тогда-то рожу соорил, тогда-то прыснул в самое лицо барину, тогда-то без чаю намеревался оставить.

– Агашку взбаламутил, – говорит он, инстинктивно склоняя голову набок, как будто

Невинные рассказы. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru сообщает это по секрету становому на ухо.

Но вот и чай выпит; Кондратий Трифонович берет засаленные карты и начинает раскладывать гранпасьянс. Он гадает, уродится ли у него рожь сам-десять – не выходит; он гадает, останется ли Агаша жить у него – не выходит; он гадает, избавится ли его имение от продажи с публичного торга – не выходит.

– Нет тебе ни правой, ни левой, нет тебе ни правой, ни левой! – злится на дворе вьюга.

. . .

Кондратий Трифонович спит; в комнате жарко и душно; он разметался; одна рука свесилась с кровати, другая легла на левую сторону груди, как будто хочет сдержать учащенное биение сердца. Он видит во сне, что последовало какое-то новое распоряжение. В чем заключается это распоряжение, сон не объясняет, но самое слово «распоряжение» уже вызывает капли холодного пота на лицо Кондратия Трифоновича. Он стонет и захлебывается.

Путру, часов в восемь, чуть брезжится, а уж его будит Ванька.

– Что такое? что такое? – спрашивает он, глядя на Ваньку мутными глазами.

– Становой приехал!

– А!.. лладно! – произносит Кондратий Трифонович, и лицо его принимает ироническое выражение, которое очень не нравится Ваньке.

– Именье описывать приехал-с! – говорит Ванька в самый упор, как бы желая сразу окатить Кондратия Трифоновича холодной водой.

Занавес опускается.

СВЯТОЧНЫЙ РАССКАЗ

(Из путевых заметок чиновника)

I

В 18** году, и именно в ночь на рождество Христово, пришлось мне ехать по большому коммерческому тракту, ведущему от города Срывного к Усть-Деминской пристани. «Завтра или, лучше сказать, даже сегодня, большой праздник, – думал я, – нет того человека в целом православном мире, который бы на этот день не успокоился и не предался всем отрадам семейного очага; нет той убогой хижины, которая не осветилась бы приветным лучом радости; нет того нищего, бездомного и увечного, который не испытал бы на себе благотворное действие великого праздника! Я один горьким насильством судьбы вынужден ехать в эту зимнюю, морозную ночь, между тем как все мысли так естественно и так неудержимо стремятся к теплему углу, ехать бог весть куда и бог весть зачем, перестать жить самому и мешать жить другим?» Мысли эти неотступно осаждали мою голову и делали положение мое, и без того неприятное, почти невыносимым. Все воспоминания детства с их безмятежными, озаренными мягким светом картинами, все лучшие часы и даже мгновения моего прошлого, как нарочно, вставляли передо мной самыми симпатическими, ласкающими своими сторонами. «Как было тогда хорошо! – отзывался тихий голос где-то далеко, в самой глубине моей души, – и как, напротив того, все теперь неприятно и безучастно вокруг!»

Кибитка между тем быстро катилась, однообразно и мерно постукивая передком об уступы, выбитые копытами возовых лошадей. Дорога узенькою снеговой лентой бежала все вдаль и вдаль; колокольцы, привязанные к низенькой дуге коренника, будили оцепеневшую окрестность то ясным и отчетливым звоном, когда лошади бежали рысью, то каким-то беспорядочным гулом, когда они пускались вскачь; по временам этот звон и гул смешивался с визгом полозьев, когда они врезывались в полосу рыхлого снега, нанесенную внезапным вихрем; по временам впереди кибитки поднималось и несколько мгновений стояло недвижно в воздухе облако морозной пыли, застилая собой всю окрестность... Горы, речки, овраги – все как будто замерло, все сделалось безразличным под пушистою пеленою снега.

«Зачем я еду? – беспрестанно повторял я сам себе, пожимаясь от проникавшего меня холода, – затем ли, чтоб бесполезно и произвольно впасть в жизнь и спокойствие себе подобных? затем ли, чтоб удовлетворить известной потребности времени или

Невинные рассказы. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru
общества? затем ли, наконец, чтоб преследовать свои личные цели?»

И разные странные, противоречивые мысли одна за другой отвечали мне на этот вопрос. То думалось, что вот приеду я в указанную мне местность, приучусь, с горем пополам, в курной избе, буду по целым дням шататься, плутать в непроходимых лесах и искать... «Чего ж искать, однако ж?» – мелькнула вдруг в голове мысль, но, не останавливаясь на этом вопросе, продолжала прерванную работу. И вот я опять среди снегов, среди сувоев, среди лесной чащи; я хлопочу, я выбиваюсь из сил... и, наконец, мое усердие, то усердие, которое все преодолевает, увенчивается полным успехом, и я получаю возможность насладиться плодами моего трудолюбия... в виде трех-четырех баб, полуглухих, полуслепых, полубезногих, из которых младшей не менее семидесяти лет!.. «Господи! а ну как да они прослышали как-нибудь? – шепчет мне тот же враждебный голос, который, очевидно, считает обязанностью все мои мечты отравлять сомнениями, – что, если Еванфия... Е-ван-фи-я!.. куда-нибудь скрылась?» Но с другой стороны... зачем мне Еванфия? зачем мне все эти бабы? и кому они нужны, кому от того убыток, что они ушли куда-то в глушь, сложить там свои старые кости? А все-таки хорошо бы, кабы Еванфию на месте застать!.. Привели бы ее ко мне: «Ага, голубушка, тебя-то мне и нужно!» – сказал бы я. «Позвольте, ваше высокоблагородие! – шепнул бы мне в это время становой пристав (тот самый, который изловил Еванфию, куда я сидел в курной избе и от скуки посвистывал), – позвольте-с; я дознал, что в такой-то местности еще столько-то безногих старух секретно проживает!» – «О боже! да это просто подарок!» – восклицаю я (не потому, чтоб у меня было злое сердце, а просто потому, что я уж зарвался в порыве усердия), и снова спешу, и задыхаюсь, и открываю... Господи! что я открываю!.. Что ж, однако ж, из этого, к какому результату ведут эти усилия? К тому ли, чтоб перевернуть вверх дном жизнь десятка полуистлевших старух?.. Нет, видно, в самой мыслительной моей способности имеется какой-нибудь порок, что я даже не могу найти приличного ответа на вопрос, без того, чтоб снова действием какого-то досадного волшебства не возвратиться все к тому же вопросу, из которого первоначально вышел.

Между тем повозка начала все чаще и чаще постукивать передком; полозья, по временам раскатываясь, скользили по обледенелому черепу дороги; все это составляло несомненный признак жилья, и действительно, высунувшись из кибитки, я увидел, что мы въехали в большое село.

– Вот и до места доехали! – молвил ямщик, поворачиваясь ко мне.

Заиндевшая его борода и жалкий белый пониток, составлявший, вместе с дырвым и совершенно вытертым полушубком, единственную его защиту от лютого мороза, бросились мне в глаза. Странное ощущение испытал я в эту минуту! Хотя и обледенелые бороды, и худые белые понитки до того примелькались мне во время моих частых скитаний по дорогам, что я почти перестал обращать на них внимание, но тут я совершенно невольным и естественным путем поставлен был в невозможность обойти их.

«Как-то придется тебе встретить Христов праздник! – подумал я и тут же, по какому-то озорному сопряжению идей, прибавил: – А я вот еду в теплой шубе, а не в понитке... ты сидишь на облучке и беспрестанно вскакиваешь, чтоб поугаты кнутом переднюю лошадь, а я сижу себе развалившись и занимаюсь мечтаниями... ты должен будешь, как приедешь на станцию, прежде всего лошадей на морозе распречь, а я велю ввести себя прямо в тепло, велю поставить самовар, велю напоить себя чаем, велю собрать походную кровать и засну сном невинных»...

В селе было пусто; был шестой час утра, а в это время, как известно, по большим праздникам идет уже обедня в тех селах, где нет помещиков и где массу прихожан составляет серый народ. И действительно, хотя мы почти мгновенно промчались мимо церкви, но я успел, сквозь отворенную ее дверь, рассмотреть, что она полна народом, что глубина ее горит огнями по-праздничному и что густой пар стоит над толпой, одевая туманом и богомольцев, и ярко освещенный иконостас.

Наконец лошади остановились у просторной избы. Это была станция, но не почтовая, где, хоть с грехом пополам, путешественник может приютить свою голову без опасения быть ежеминутно встревоженным шумом и говором людей, хлопаньем дверей и незасыпающею деятельностью дня; это была простая изба, назначенная по отводу для отдыха проезжающих по казенной надобности чиновников, куда собирают для них свежих обывательских лошадей. Сверх моего ожидания, горница, в которую меня ввели, оказалась просторною, теплою и даже чистою; пол и вделанные по стенам

Невинные рассказы. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru лавки были накануне выскоблены и вымыты; перед образами весело теплилась лампадка; четырехугольный стол, за которым обыкновенно трапезуют крестьяне, был накрыт чистым белым перебором, а в ближайшем ко входу угле, около огромной русской печи, возилась баба-денщица, очевидно спеша окончить свою стряпню к приходу семейных от обедни. На одной из лавок, возле переднего угла, сидел слепой и ветхий дедушко, вроде тех, которыми почти фаталистически снабжается всякая сколько-нибудь многочисленная крестьянская семья, и держал в руке деревянную палку, которою задумчиво чертил по полу. Он делал это дело с необычайным терпением, как будто оно составляло последнюю задачу его жизни, и, нащупав палкою какую-нибудь неровность, сердился и ворчал.

Приезд мой не произвел, однако ж, особенного впечатления, так как, по случаю отвода избы под станцию, хозяева ее скоро свыкаются с общим видом чиновника, которого появление составляет в кругу их факт почти ежедневный. Денщица, которая, по рассмотрении, оказалась молодухой, продолжала усердно делать свое дело, а дедушко по-прежнему водил палкой по полу и ворчал про себя. На полатях возились и потягивались ребяташки.

– Далеко отсюда становой живет? – спросил я.

– Да верст, чай, с восемь будет, – отвечала денщица, действуя в то же время ухватом, которым отправляла в печь горшок с похлебкой.

– А ты говори дело, а не «чай», – вступился мой спутник и камердинер Гриша, во всякое другое время очень добрый мальчик, но теперь сильно озлобившийся вследствие мороза и других дорожных неприятностей.

– А вот мужики придут – они тебе дело и скажут... Ишь, больно строг: с бабы спрашивает!

– Эх ты! баба так баба и есть, – отозвался Гриша, но с таким глубоким презрением, что я сразу сознал глубокую разницу, существующую между привилегированным полом и непривилегированным.

– Никак, кто пришел? с кем это ты, Татьяна, разговариваешь? – откликнулся дедушко.

– Становой далеко отсюда живет? – спросил я, обращаясь к старику.

– Ась?

– Ишь ты! глухие да глупые – вот и жди от них толку! – злобно заметил Гриша.

– Барин приехал... чиновник, дедушко! – кричала между тем Татьяна, наклонясь к самому уху старика, – спрашивают, далече ли до станового будет?

– Да верст пяток поболее будет, – прошамкал старик, – выедешь ты, сударь, за околицу и поезжай все вправо... там три сосенки такие будут... древние, сударь, еще дедушко мой их помнил – во какие сосны!.. От них повертывай прямо направо, будет тебе там озеро, и поезжай ты через него все прямо, все прямо... Летом-то, сударь, здесь-ко не проедешь, а надо кругом; так в ту пору вместо пяти-то верст и пятнадцать поди будет!.. Ну, а за озером прямо и представится тебе господин становой... так-то.

– Так нельзя ли лошадей поскорей заложить? – спросил я.

– А у нас и робят-то никого нет, все в церкву ушли, – отвечала молодуха, – видно, уж тебе, барин, обождать придется!

– Дедушко! как бы лошадей заложить? – снова спросил я, наклонясь к дедушке.

– А что ж, сударь, для че не заложить! кони ноне дома, мигом заложат! Татьяна, сбегай по мужа-то, скажи, мол, чиновник наехал!

Но куда Татьяна сбиралась, семейные уж возвратились из церкви и гурьбой ввалились в избу. Прежде всех, как водится, влетел никем не прошенный клуб морозного воздуха и мигом наполнил комнату белесоватым туманом; за ним вошел старший сын дедушки, мужичок лет пятидесяти с лишком, очень сановитой и бодрой

Невинные рассказы. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru
наружности, одетый по-праздничному, в синюю сибирку.

– С праздником, батюшка! – сказал он, помолвившись наперед образам, – бог милости прислал!

– Ну, слава богу, слава богу! – прошамкал старик, привставая с лавки, – вот и опять мы с праздником! С вами, что ли, некрут-то?

– Здесь, дедушко, будь здоров! – молвил, выступая вперед, молодой парень.

Я вспомнил, что по случаю военных обстоятельств объявлен был в то время чрезвычайный набор, и невольно полюбопытствовал взглянуть на рекрута. Физиономия его была чрезвычайно симпатична: хотя гладко выстриженные волосы несколько портили его лицо, тем не менее общее его выражение было весьма приятно; то было одно из тех мягких, полустыдливых, полужастенчивых выражений, которые составляют почти общую принадлежность нашего народного типа. Смирно стоял он перед стариком-дедушкой в своем коротеньком рекрутском полушубке, засунув руку за пазуху и слегка понутив голову; в голубых его глазах не видно было огня строптивости или затаенного чувства ропота; напротив того, вся его любящая, беспредельно кроткая душа светилась в этом задумчивом и рассеянно блуждавшем взоре, как бы свидетельствуя о его вечной и беспрекословной готовности идти всюду, куда укажет судьба.

– Ну, дай бог здоровья начальникам.. отпустили тебя,

Петруня.. и нас сделали с праздником, – сказал старик.

Покуда старик говорил, сзади у печки послышались сначала вздохи, а потом и довольно громкие всхлипывания. Петруня как-то болезненно весь сжался, услышав их.

– Ну вот, пошла баба голосить! уйми ты ее, Иван! – обратился старик к старшему сыну, – нешто лучше бы было, кабы не отпустили сына-то.. так ты бы радовалась, не чем горевать!

– Так неужто ж и пожалеть нельзя! – отозвалась из угла баба, – собирались ноне женить в мясоед парня, ан замест того вон он куда угодил.. и не чаяли!

Петруня, казалось, еще более сжался при последних словах матери.

– Ничего, с богом.. не на грех идет! чай, еще не сколько мученья-то принял, Петруня? – спросил дедушко.

– Мученьев, дедушко, нет; а вот унтер сказывал, что через десять дён в поход идти велено, – отвечал Петруня тихо и дрожащим голосом.

– Ну что ж, и в поход пойдешь, коли велено! Да ты слушай, голова! и я ведь молоденок бывал, тоже чуть-чуть в некруты в ту пору не угодил.. уж и что хлопот-то у нас в те поры с батюшкой вышло!

– То-то «чуть-чуть»! – в сердцах ворчала мать, – вот не сдали же, а тут как есть один сын, да и тот не в дом, а из дому вон бежит!

– А кто ж тебе не велел другого припасти! – сказал дедушко полушутливо, полудосадливо, – то-то вот, баба: замест того, чтоб потешить сыночка о празднике, а она еще пуще его в расстрой приводит! Ты пойми, глупая, что он у тебя в гостях здесь! Вот ужо вели коней в саночки запречь.. погуляй покуда, Петруня, с робятками-то, погуляй, милой!

Иван, однако, не принимал никакого участия в разговоре. Он спокойно раздевался в это время и вместе с тем делал обычные распоряжения по дому. Но это равнодушие было только кажущееся, а в сущности он не менее жены печалился участью сына. Вообще, нашего крестьянина трудно чем-нибудь расшевелить, удивить или душевно растрогать. Ежеминутно имея прямое отношение лишь к самой незамысловатой и неизукрашенной действительности, ежеминутно встречая лицом к лицу свою насущную жизнь, которая часто представляет для него одну бесконечную невзгоду и во всяком случае многого никогда ему не дает, он привыкает смело смотреть в глаза этой суровой мачехе, которая по временам еще осмеливается заговаривать льстивыми

Невинные рассказы. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru голосами и называть себя родною матерью. Поэтому всякая потеря, всякая неудача, всякое безвременье составляют для крестьянина такой простой факт, перед которым нечего и задумываться, а только следует терпеливо и бодро снести. Даже смерть наиболее любимого и почитаемого лица не подавляет его и не производит особенного переполоха в душе; мало того: я не один раз видал на своем веку умирающих крестьян, и всегда (кроме, впрочем, очень молодых парней, которым труднее было расставаться с жизнью) замечал в них какое-то твердое и вместе с тем почти младенческое спокойствие, которое многие, конечно, не затруднились бы назвать геройством, если бы оно не выжалось столь просто и неизысканно. Все страдания, все душевные тревоги крестьянин привык сосредоточивать в самом себе, и если из этого правила имеются исключения, то они составляют предмет хотя добродушных, но всегда общих насмешек. Таких людей называют нюнями, бабами, стрекозами, и никогда рассудливый мужик не станет говорить с ними об деле. Правда, дрогнет иногда у крестьянина голос, если обстоятельства уж слишком круто повернут его, изменится и как будто перекосятся на миг лицо, насупятся брови – и только; но жалоба, суетливость и бесплодное аханье никогда не найдут места в его груди. Повторяю: невзгода представляется для крестьянина столь обычным фактом, что он не только не обороняется от него, но даже и не готовится к принятию удара, ибо и без того всегда к нему готов. Всю чувствительность, все жалобы он, кажется, предоставил в удел бабам, которые и в крестьянском быту, как и везде, по самой природе, более склонны представлять себе жизнь в розовом цвете и потому не так легко примиряются с ее неудачами.

– Рекрут, что ли, у вас? – спросил я Ивана.

– Рекрут, сударь, сыном мне-ка приходится.

– А велика ли у вас семья?

– Семья, нечего бога гневить, большая; четверо нас братовей, сударь, да детки в закон еще не вышли... вот Петрунька один и вышел.

– Тяжело, чай, расставаться-то?

Иван с изумлением взглянул на меня, и я, не без внутренней досады, должен был сознаться, что сделанный мною вопрос совершенно праздный и ни к чему не ведущий.

– Божья власть, сударь! – отвечал он и, обращаясь к старику, прибавил: – Обедать, что ли, собирать, батюшка?

– Вели собирать, Иванушко, пора! чай, и свет скоро будет!.. Да за конями-то пошли, что ли?

– Давно Васютку услал, приведут сейчас.

Петруня между тем незаметно скрылся за дверь. Несмотря на то что изба была довольно просторная, воздух в ней, от множества собравшегося народа, был до того сперт, что непривычному трудно было дышать в нем. Кроме сыновей старого дедушки с их женами, тут находилось еще целое поколение подростков и малолетков, которые немилосердно возились и болтали, походя пичкая себя хлебом и сдобными лепешками.

– Кто-то вот нас кормить на старости лет будет? – промолвила между тем хозяйка Ивана, по-прежнему стоя в углу и пригорюнившись.

– Чай, братовья тоже есть, семья не маленькая! – отвечал дедушко, с трудом скрывая досаду.

– Да, дождайся, пока они накормят... чай, по тех пор их и видели, поколь ты жив.

– Не дело, Марья, говоришь! – заметил второй брат Ивана.

– Ее не переслушаешь! – отозвался третий брат.

Окончания разговора я не дослушал, потому что не мог

долее выносить этого спертого, насыщенного парами разных похлебок воздуха, и вышел в сенцы. Там было совершенно темно. Глухо доносились до меня и голоса ямщиков, суетившихся около повозки, и дребезжащее позвякивание колокольцов,

Невинные рассказы. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru
накрепко привязанных к дуге, и еще какие-то смутные звуки, которые непременно услышишь на каждом крестьянском дворе, где хозяин живет мало-мальски запасливо.

– Как же быть-то? – сказал неподалеку от меня милый и чрезвычайно мягкий женский голос.

– Как быть! – повторил, по-видимому, совершенно бессознательно другой голос, который я скоро признал за голос Петруни.

– Скоро, чай, и сряжаться станете? – снова начал женский голос после непродолжительного молчания.

Петруня не промолвил ни слова и только вздохнул.

– Портяночки-то у тебя теплые есть ли? – вновь заговорил женский голос.

– Есть.

– Ах, не близкая, чай, дорога!

Снова наступило молчание, в продолжение которого я слышал только учащенные вздохи разговаривающих.

– Уж и как тяжело-то мне, Петруня, кабы ты только знал! – сказал женский голос.

– Чего тяжело! чай, замуж выдешь! – молвил Петруня дрожащим голосом.

– А что станешь делать... и выду!

– То-то... чай, за старого... за вдовца детного...

– За старого-то лучше бы... по крайности, хоть любить бы не стала, Петруня!

– А молодого небось полюбила бы!.. То-то вот вы: потоль у вас и мил, поколь в глазах! – сказал Петруня, которого загодя мучила ревность.

– Ой, уж не говори ты лучше!.. умерла бы я, не чем с тобой расставаться – вот сколь мне тебя жалко!

– А меня небось в сражениях убьют, куда ты здесь замуж выходить будешь!.. детей, чай, народишь!.. Вот унтер намеднись сказывал, что в сраженье как есть ни один человек цел не будет – всех побьют!

Вместо ответа мне послышались тихие, словно детские, всхлипывания.

– Ну что ж, и пуцай бьют! – продолжал Петруня, находя какое-то горькое удовольствие в страданиях своей собеседницы.

Всхлипывания послышались горче прежнего.

– Ах, пропадай моя голова... хочешь, сбегу, Мавруша? – внезапно спросил Петруня.

– Что ты, что ты, Петруня! что ж это будет! – отвечала Мавруша голосом, в котором слышался испуг.

– Убегу, да и все тут, – продолжал Петруня, – уйду в леса к старцам... ищи, лови тогда!

– Стариков-то твоих, чай, в ту пору так и засудят! – робко заметила Мавруша.

Петруня молчал.

– В разоренье поди приведут? – продолжала Мавруша, как бы рассуждая сама с собой.

То же молчание.

– Нет, ты уж лучше не бегай, Петруня! как-нибудь, бог даст, и свидимся!

Невинные рассказы. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru

– То-то «свидимся»! замуж, чай, хочется, а не «свидимся»! Ты бы напрямки так и говорила... а то «свидимся». Так бежать, что ли?

– Куда ж бежать? коли для меня ты хочешь бежать, так я за тобой ведь бежать не могу!

Петруня заплакал.

– Петруня! желанный ты мой! – прошептала Мавруша.

Петруня заплакал пуще прежнего.

– Ох, да хоть бы не плакал ты! – сказала Мавруша каким-то утомленным, замученным голосом.

– Вот какво дело, что и пособить нечем! – говорил Петруня, обрываясь почти на каждом слове, – куда я теперь денусь? Ох, да подумай же ты, Мавруша, как бы нам хорошо-то было!.. жили бы мы теперь с тобой... и мясоед вот на дворе... И все-то ведь прахом пошло... точно ничего и не было! Намедни вот унтер сказывал, верст тысячи за две поведут... так когда же тут свидеться!

– Петруня! где же ты запропал! – раздался сзади меня голос женщины.

– Здесь; обедать, что ли? – откликнулся Петруня.

– Обедать дедушко зовет.

– Сейчас. Прощай, Мавруша! ноне к ночи надо опять в город ехать... прощай! может, уж и не свидимся!

– Разве на село-то не пойдете с партией? хошь бы посмотрела я на тебя!

– Нет, по почтовой пойдём; вот разве что: уж дедушко коней посулил... погуляем, что ли?

– Не пустят, Петруня, – тихо отвечала Мавруша, – а уж как бы не погулять! Старики-то ноне у меня больно зорки стали: поди и теперь, чай, ищут меня!

– Ну, так ин бог с тобой, прощай же, Мавруша.

Голоса стихли, но Петруня несколько времени еще не приходил в избу; минуты с две слышались мне и глубокие вздохи, и неясный шепот, прерываемый рыданиями, и стало мне самому так обидно, тяжело и больно, как будто внезапно лишили меня всего, что было дорого моему сердцу. «Вот, – думал я, – простая, кажется, с виду штука, а поди-ка переживи ее!» И должно сознаться, что до тех пор никогда эта мысль не заходила мне в голову.

– Иди, что ли! – снова раздался сзади меня голос денщицы.

– Иду, иду! – отвечал Петруня. – Прощай, Мавруша! – продолжал он каким-то гортанным, задышающимся голосом, – прощай же, касатка!

И вслед за тем он бегом взбежал на лестницу и направился быстрыми шагами в избу.

Когда я через четверть часа снова вошел в избу, вся семья обедала, но общий ее вид был нерадошен. Какое-то принуждение носилось над ней, и хотя дедушко старался завести обычную беседу, но усилия его не имели успеха. Иван молчал и смотрел угрюмо; Марья потихоньку всхлипывала; Петруня сидел с заплаканными глазами и ничего не ел; прочие члены семьи, хотя и менее заинтересованные в этом деле, невольно следовали, однако ж, за общим настроением чувств; даже малолетки, обыкновенно столь неугомонные, как-то притихли и сжались. Одним словом, тут только и было праздничного, что кушанья, которых было перемен шесть и которые однообразно следовали одно за другим, ни в ком не возбуждая веселья. Я тоже невольно задумался, глядя на эту семью... и о чем задумался?

«Что-то делается, – думал я, – в том далеком-далеком городе, который, как червь неусыпающий, никогда не знает ни усталости, ни покоя? Радуются ли, нет ли там

Невинные рассказы. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru божьему празднику? и кто радуется? и как радуется? Не подпал ли там праздник под общее тлетворное владычество простой обрядности, без всякого внутреннего смысла? не сделался ли он там днем, к которому надо особенным образом искривить рот в виде улыбки, к которому надо закупить много конфет, много нарядов, в который, по условному обычаю, следует призвать в гостиную детей, с тем чтоб вдоволь натешиться их благоприличными манерами, и затем вновь отослать их в детскую, считая все обязанности в отношении к ним уже исполненными до следующего праздника? Сохранил ли там праздник свое христианское, братское значение, в силу которого сама собой обновляется душа человека, сами собой отверзаются его объятия, само собой раскрывается его сердце? Ведь праздник есть такая же потребность человеческой жизни, как радость – потребность человеческого сердца: это потребность успокоения и отдыха, потребность хоть на время сбросить с себя тяжесть жизненных уз, с тем чтоб безусловно предаться одному ликованию!»

И передо мной незаметно раскрылся знакомый ряд картин, свидетелей моего прошедшего, картин, в которых много было движения, много суеты, много даже каких-то неясных очертаний и смутных намеков на жизнь, радость и наслаждение... Но была ли это радость действительная, было ли это то чистое наслаждение, которое не оставляет после себя в сердце никакого осадка горечи? Вот он, этот громадный город, в котором воздух кажется спертым от множества людских дыханий; вот он, город скорбей и никогда не удовлетворяемых желаний; город желчных честолюбий и ревнивых, завистливых надежд; город гнусно искривленных улыбок и заражающих воздух признательностей! Как волшебен он теперь при свете своих миллионов огней, какая страшная струя смерти совершает свой бесконечный, разъедающий оборот среди этого вечного тумана, среди миазмов, беспощадно врывающихся со всех сторон! Сколько мучений, сколько никем не знаемых и никем не разделенных надежд, сколько горьких разочарований, и вновь надежд, и вновь разочарований!

«Господи! надо же было над Петруней такой беде стрястись! Кабы не это, сидел бы он здесь беззаботный и радостный; весело беседовало бы теперь за трапезой честное потомство слепенького дедушки... и надо же было слепому случаю пройти беспощадным своим плугом по этому прекрасному зеленому лугу, чтоб взбуровать его ровную поверхность и исполосать ее черными, безобразными бороздами!»

Размышления эти были прерваны докладом о том, что лошади готовы. Горько мне было садиться одному в сани, горько было расставаться с людьми, особенно в этот праздник, когда, и вследствие воспоминаний прошедшего, и вследствие всего склада жизни, необходимость общества людей как-то особенно живо чувствуется. Казалось бы, что общего между мной и этою случайно встреченною мной семьей, какое тайное звено может соединить нас друг с другом! и между тем я несомненно сознавал присутствие этой связи, я несомненно ощущал, что в сердце моем таится невидимая, но горячая струя, которая, без ведома для меня самого, приобщает меня к первоначальным и вечно бьющим источникам народной жизни.

II

На дворе было еще темно, хотя свет, очевидно, готовился уже вступить в права свои; мороз сделался как будто еще лютее прежнего; крепкий верховой ветер сильно буровил здесь и там снежную равнину и, подняв целые столбы снега, направлял свой путь далее, с тем чтоб опять через минуту вернуться и, подняв новые снежные столбы, опять нестись куда-то далеко-далеко. Холод и ветер тем более были для меня ощутительны, что я ехал в открытых санях, потому что должен был, после необходимых объяснений с становой приставом, опять вернуться на станцию, где, вследствие всех этих соображений, я и заблагорассудил оставить свою повозку.

Вот и те три сосенки, о которых толковал мне старик; сквозь мутное облако частого, тонкого снега я видел только очертания их, но, вероятно, душа моя была слишком особенным образом настроена, что за плавным покачиванием широких их вершин мне именно слышалось, будто они жалуются и говорят о том, как надоела им эта долгая, почти бесконечная жизнь, как устали они от этих отвсюду вторгающихся ветров, которые беспрепятственно и безнаказанно оскорбляют их, то обламывая самые крепкие их побеги, то разбрасывая мохнатые их ветви в какой-то тоскливой беспорядочности. Вот и озеро, которое подало мне о себе весть особенностью звука, издаваемого копытами лошадей, и вешками, которые часто натыканы здесь по обеим сторонам дороги... Я глянул в даль, и, не знаю почему, там, на самом конце ее, представился мне становой пристав, в виде страшного, лохматого чудовища, с семью головами, с длинными железными когтями и долгим огненным языком. И так ясно и отчетливо мелькало передо мной это странное и, к счастью, совершенно невероятное видение, что мне стало жутко, и я поспешил плотнее закутаться в

Невинные рассказы. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru
шубу, чтоб не видать его кривляний.

Через полчаса я въезжал в огромное торговое село, в котором было много домов совершенно городской постройки. В одном из них помещалась квартира станового пристава, и я еще издали мог налюбоваться на множество огней, которые, очевидно, были зажжены на детской елке. Огни горели весело и, проходя сквозь обледенелые стекла окон, принимали самые изменчивые и разнообразные цвета.

Становой, или, как его обыкновенно зовут крестьяне, «барин», был дома. Звали его Ермолаем Петровичем, по фамилии Бондыревым; по наружности же был он мужчина дюжий, и вследствие того постоянно отдувался и дышал тяжело, словно запаленная лошадь. Лицо его, пухлое и отекающее, было покрыто слоем жирного вещества, который придавал его коже лоск почти зеркальный; огромная его лысина, по общему отзыву сослуживцев, имела свойство испускать из себя облако тумана в следующих двух случаях: во время губернаторской ревизии, когда, как известно, сердечные движения в уездном чиновнике делаются особенно сильны и остры, и по выпитии двадцать пятой рюмки очищенной. Голос у него был сильный, густой бас, сопровождаемый легкою хрипотой, и выходил из гортани как бы колом. К величайшему моему удивлению, это несоразмерное преобладание материи нимало не тяготило его; вообще он был на службе легок, как пух, и когда исполнение служебных обязанностей требовало с его стороны уже слишком усиленной деятельности, то вся его досада проявлялась в том только, что он пыхтел и ругался пуще обыкновенного. Впрочем, он был, в сущности, малый добродушный, и когда принимал благодарность, то всегда говорил спасибо, и этим весьма льстил самолюбию доброхотных дателей.

– Милости просим побеседовать в комнату, ваше высокоблагородие! – сказал он, встретив меня в прихожей, – у меня нынче праздник, детки вот развозились...

– А мне надо бы скорее ехать, – отвечал я не совсем впопад, все еще находясь под влиянием лохматого чудовища.

– Что же так-с? часом раньше, часом позже – дело не волк, в лес не уйдет-с. Заодно уж у нас покушаете, а после обеда и в путь-с. Мне ведь тоже с вами надо будет отправляться, так если сейчас же и ехать, не будет ли уж очень это обидно? Ведь праздник-с...

Я остался и отчасти был даже доволен этой задержкой, потому что очень устал с дороги. В комнате, в которую ввел меня Бондырев, было все его семейство и сверх того еще несколько посторонних лиц, с которыми он, однако ж, не заблагорассудил меня познакомить. Он только указал мне рукой на детей, сказав: «А вот и потроха мои!» – и затем насильственно усадил меня на диван. Из семейных были тут: жена Ермолая Петровича, бабочка лет двадцати пяти, которая была бы недурна собой, если бы не так усердно мазалась свинцовыми белилами и не носила столь туго накрахмаленных юбок; мать ее, худенькая, повязанная платком старуха с фиолетовым носом, которую Бондырев, неизвестно почему, величал «вашим превосходительством», и четверо детей, которые основательностью своего телосложения напоминали Ермолая Петровича и чуть ли даже, подобно ему, не похрипывали.

– Не угодно ли чаю с дороги? – спросила меня жена.

– Что чай! вот мы его высокоблагородие водочкой попросим, – отозвался Бондырев, – я, ваше высокоблагородие, этой китайской травы в рот не беру – оттого и здоров-с.

– Вы из «губернии» изволите ехать? – обратилась ко мне старуха теща.

– Да, я недавно оттуда.

– Так-с. А как, я думаю, там теперича хорошо должно быть! Председательствующие, по случаю праздника, в соборе в мундирах стоят... сам генерал, чай, насупившись...

– Ну, пошла, ваше превосходительство, огород городить! – заметил Бондырев, – ну, скажите на милость, зачем генералу насупившись стоять! чай, для праздника-то Христова и им бровки свои пораздвинуть можно!

– Ах, батюшка мой! насупившись стоит по той причине, что озабочен очень!.. обуза ведь не маленькая!

Невинные рассказы. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru
– А по мне, так всего лучше певчие... это восхитительно! – вступилась жена, – при слабости нерв, даже слушать почти невозможно!

– Нет, вот на моей памяти бывали в соборе певчие – так это именно, что всех в слезы приводили! – перебила теща, – уж на что был в ту пору губернатор суровый человек, а и тот воздержаться никак не в силах был! Особливо был тут один черноватенький: запоет, бывало, сначала тихонько-тихонько, а потом и переливается, и переливается... даже словно журчит весь! Авдотья Степановна, второго диакона жена, сказывала, что ему по два дня есть ничего не давали, чтоб голос чище был!

– Вот распроклятая-то жизнь! – молвил Ермолай Петрович, подмигнув мне глазом, и потом, обращаясь к теще, прибавил: – А как посмотрю я на ваше превосходительство, так все-то у вас одни глупости да малодушества на уме.

Но ее превосходительство, должно быть, уж привыкла к подобным апострофам, [88] потому что, нимало не конфузясь, продолжала:

– Уж я, бывало, так и не дышу, словно туман у меня в глазах, как они это выводить-то зачнут! Да, такой уж у меня характер: коли перед глазами у меня что-нибудь божественное, так я, можно сказать, сама себя не помню... так это все там и колышется!

Мадам Бондырева глубоко и сосредоточенно вздохнула.

– Да, в деревне ничего этого не увидишь! – сказала она.

– Где увидеть! – одни выходы у его превосходительства чего стоят! Все чиновники, бывало, в мундирах стоят, и каждому его превосходительство свой реприманд сделает! И пойдут это потом каждый день закуски да обеды – одних свиней для колбас сколько в батальоне, при солдатской кухне, откармливали!

– Ну, это-то заведенье и доднесь, пожалуй, осталось – скорбеть об этом нечего! – флегматически объяснил Ермолай Петрович. – А что, ваше высокоблагородие, не угодно ли будет повторить от скуки? Водка у нас, осмелюсь вам доложить, отличная: сразу, что называется, ожжет, а потом и пойдет ползком по суставчикам... каждый изнает-с!

– Вот у моего покойника, – снова обратилась ко мне теща, – хорошу водку на стол подавали. Он только и говорит, бывало: «Лучше ничем меня откупщик не почти, а водкой почти!»

– Ну, это опять неосновательно, – заметил Бондырев, – пословица гласит: пей, да ума не пропей, – стало быть, зачем же я из-за водки другие статьи буду negliжировать?

– Да ведь и он, сударь, не negliжировал, а так только к слову это говаривал. Он водку-то через куб, для крепости, переганивал...

– Ну, а ваши как дела? – спросил я Бондырева.

– Слава богу, ваше высокоблагородие, слава богу! дай бог здоровья добрым начальникам, милостями не оставляют... ныне вот под суд отдали!

– Как так?

– Да просто-с. Чтой-то уж, ваше высокоблагородие, будто и не знаете? чай, и вы тут ручку приложили!

– В первый раз слышу.

– Что ж-с, и тут мудреного нет! известно, не читать же вашим высокоблагородиям всего, что подписывать изволите!

– Скажите, по крайней мере, за что вы отданы под суд?

– А неизвестно-с. Оно конечно, довольно тут на справку вывели, и жизнь-то, кажется, наизнанку всю выворотили... одних неисполнительностей штук до полсотни

Невинные рассказы. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru подыскали – даже подивился я, откуда весь этот сор выгребли. Да-с; тяжеленька-таки наша служба; губернское-то правление не то чтоб, как мать, по-родительски тебе спустило, а пуще считает тебя, как бы сказать, за подкидыша: ты, дескать, такой-сякой, все зараз сделать должен!

– По пословице, Ермолай Петрович, по пословице! – «Свекровь снохе говорила: Сношенька, будет молоть; отдохни – потолки!»

Последние слова произнес неизвестный мне старик, стоявший до сих пор в углу и не принимавший никакого участия в разговоре. По всему было видно, что этот новый собеседник принадлежал к числу тех жалких жертв провинциального бюрократизма, которые, преждевременно созрев под сению крючкотворства, столь же преждевременно утрачивают душевные свои силы, вследствие неумеренного употребления водки, и затем на всю жизнь делаютя неспособными ни к какому делу или занятию, требующему умственных соображений. Он был одет в вицмундир старинного покроя с узенькими фалдочками и до такой степени порыжелый, что даже самый опытный глаз не мог бы угадать здесь признаков первобытного зеленого цвета. Но всего замечательнее в этом человеке был необыкновенный грибовидный его нос, на котором, как на палитре, сочетались всевозможные цвета, начиная от чисто-телесного и кончая самым темным яхонтовым. Нос этот, как после оказалось, был источником горьких несчастий и глубоких разочарований для своего обладателя.

– Это жаль, однако ж, – сказал я Бондыреву, ощущая невольное угрызение совести при виде человека, которого погибли я сам некоторым образом содействовал.

– Ничего, ваше высокоблагородие! мы в уголовной-то словно в баньке выпаримся... еще бодрей после того будем!

– Это истинно так! – пояснил обладатель носа.

– А что, видно, и тебе горловину-то прочистить хочется? – обратился к нему Болдырев. – Ваше высокоблагородие! позвольте представить! Егор Павлов Абессаломов, служит у меня в вольнонаемных; проку-то от него, признаться, мало, так больше вот для забавы, для домашних-с держу... Театров у нас нет, так по крайности хоть он развлечет.

– Ну уж, нашли какую замену! – презрительно процедила жена.

– А что ж! по деревне, лучше и быть не надо! – продолжал Ермолай Петрович, – обину пору он нас, ваше высокоблагородие, до слез мимикой своей смешит!

– Если его высокоблагородию не гнусно, так я и теперь свое представление сделать могу! – отрекомендовался Абессаломов, выпрямляясь как бы пред наитием вдохновения.

– Прикажете, ваше высокоблагородие! Не чем так-то сидеть, так хоть на диковинки наши посмотрите... катая, Абессаломов!

– «Июля пятого числа»... – начал Абессаломов.

– Нет, стой! Не так рассказываешь! – прервал его Ермолай Петрович, – а ты коли охотишься рассказывать, так рассказывай делом: и в позицию стань, и начало сделай! Разво-зов! марш сюда и ты!

Последние слова относились к молодому человеку, служившему письмоводителем у Бондырева. Как оказалось впоследствии, он должен был в некоторых местах подавать Абессаломову реплику, через что представлению сообщалась особенная живость и вместе с тем усугублялся комизм. Очевидно, что кто-то (чуть ли даже не сам Болдырев) с любовью работал над этой потехой, чтоб возвести ее от простого рассказа до степени драматической пьесы.

Абессаломов стал в позицию, то есть выдвинул вперед одну ногу, правую руку отставил наотмашь и, выпрямившись всем корпусом, голову закинул несколько назад. Все присутствующие улыбались, а некоторые даже откровенно фыркали, заранее предвкушая предстоящее им наслаждение. Абессаломов начал:

НЕВЫГОДНЫЙ НОС

Невинные рассказы. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru
(Интермедия в лицах)

Милостивые господа и госпожи! имею доложить вам о происшествии, которого удивительность равняется лишь его необыкновенности!

Смех в аудитории.

Источником как сего происшествия, так и других многих от него зол текущих, есть сей самый нос (теребит себя за нос), который зде предстоит пред вами! А в чем сие происшествие, тому следуют пункты.

«Ишь ты! по пунктам!» – раздается в аудитории. Смех усиливается.

Июля пятого числа 18** года, в девять часов утра, следовал я, по издревле принятому еще предками нашими обычаю, на службу. Необходимо, однако, предварительно доложить вашим благородиям, что с самого с Петра и Павла, неизвестно от каких причин, подвергнулся я необыкновенной тоске. То есть тоска не тоска, а тянет вот, тянет тебя целый день, да и вся недолга. Даже жена удивлялась. «Чтой-то, говорит, душечка (она у меня в пансионе французскому языку обучалась, так нежное-то обращение знает)! Чтой-то, говорит, душечка! на тебя даже смотреть словно тошно – ты бы хоть водочки выпил!» – «Худо, – говорю я, – худо это, Прасковья Петровна! это большое насчастье обозначает!..» Однако ж выпил в ту пору маленько водочки – оно и поотлегло!

Вот только наступило это пятое число. Не успел я выйти на улицу, как идет мне встречу некоторый озорник, идет и очи на меня пучит. «Вот, говорит, нос! для двух рос, а одному достался!»

Взрыв хохота в аудитории.

Однако я ничего, пошел своей дорогой и даже подумал про себя: «Погоди, брат! не больно прытко! может, у тебя и рыло-то все наизнанку выворотит». Не успел я это, государи мои, подумать, как встречается со мной другой озорник. «А позвольте, говорит, милостивый государь! известно ли вам, что у вас на лице состоит феномен?» И все это, знаете, с усмешкой, и рожа-то у него поганым манером от смеху перекосилась... «Милостивый государь!» – сказал я, начиная обижаться. «Да нет, говорит, вы и сами не понимаете, каким обладаете сокровищем... да господа англичане миллион рублей вам дадут, ежели вы позволите им отрезать... ваш нос!»

Развозов. А что ж, это ведь правда: нос-то у тебя именно феномен!

Абессаломов. Отстань ты... дай говорить!.. Ну-с, отвязался он от меня коё-как, и пришлось мне после того мимо резиденции их превосходительства идти. А их превосходительство, как на грех, на ту пору чай на балконе кушали... Ну, занятые у них никаких тогда не случилось, смотрели, значит, больше по сторонам, да смотревши и узрели меня, многогрешного. Вскипели. «Что это, говорят, за чиновник? Какой у него противный нос!» Не спорю я... не прекословлю! Точно, что нос мой в присутственном месте терпим быть не может! Однако терпели же меня двадцать пять лет, да и их превосходительство, может, от праздности только заметили... а вышло совсем наоборот-с. Пересказали, должно быть, эти слова мои завистники; только сию я в этот самый день в присутствии, приходит наш председательствующий, и часа через два, что бы вы думали, я слышу? (С расстановкой). Что о моем, государи мои, увольнении уж и постановление состоялось!

Развозов. Однако живо же они тебя обработали.

Абессаломов. Спешным журналом-с. Даже законом предписанных форм не соблюли, потому что в законах именно строжайше поведено никаких штрафов не налагать, а кольми паче насильственному умертвию не предавать, не истребовав предварительно объяснения!

Развозов. В чем же, однако, объяснения от тебя требовать?

Абессаломов. Все же-с! а если не в чем мне объясняться, так тем паче-с! Ведь это обидно... я не один... тут все потомство мое, можно сказать, из-за носа страждет! В законах именно сказано, чтоб на лицо не взирать!

Невинные рассказы. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru
Развозов. Ты это оставь. Это не наша инстанция. Так даже скажу: если и напередки тебе на этот счет языком побаловать захочется, так ты вспомни пословицу: язык мой – враг мой, и, вспомнивши, плюнь. Я тридцать пять лет служу (Развозову было всего лет двадцать пять), и то все кругом да около хожу, а в центре ни в жизнь еще не попадал!

Абессаломов. Вот-с, прихожу я после того домой. Человек я детный; жена у меня золотушная, так каждый год все либо дочку, либо сынка подарит...

Развозов. И все, чай, с такими же носами?

Абессаломов. Как можно – сохрани бог! старшенькая у меня дочь, Наташенька, совсем даже схожего со мной ничего не имеет... красавица! Так прихожу я это домой! «Ну, говорю, жена! Бог милости прислал!» – «А что так?» – «Да так, говорю, ездил в пир Кирило, да подарен там в рыло... уволен, брат, вчистую!»

Общий хохот; Абессаломов, в волнении, не может некоторое время продолжать.

И вот-с, стали мы после того жить да поживать, да добра наживать; живем, нече сказать, богато, со двора покато, за что ни хватись, за всем в люди покатись; запасов всяких многое множество, а пуще всего всякого нета запасено с самого с лета. Жена скоро покойницей стала, бо для нас время гладно настало, а дочек-красоток люди приютили, бо родители им продовольствие прекратили, а затем остаюсь, без дальнейших слов, покорный ваш слуга Егор Павлов Абессаломов.

Общие рукоплескания; жена станового презрительно усмехается.

Окончив представление, Абессаломов немедленно подошел к подносу с закуской и сряду выпил три рюмки водки; после того он удалился в угол и, сев на стул, почти мгновенно заснул.

– А что, ваше высокоблагородие! – обратился ко мне Бондырев, – вот вы и в столицах изволили быть, а этакого в своем роде дарования и там, чай, со свечкой пощешь!

Но я не отвечал ни слова на этот вопрос, потому что впечатление, произведенное на меня этим странным существом и его рассказом, было из самых тяжелых. Несмотря на грубо комический колорит рассказа, видно было, что весь тон его фальшивый, и что за ним слышится нечто до того похожее на страдание, что невозможно и непозволительно было увлечься этою мнимую веселостью. Вообще, если Ермолай Петрович рассчитывал на то, чтоб позабавить меня, то далеко не достиг своей цели, и день мой был окончательно испорчен этим представлением. Я ехал сюда измученный моим одиночеством; все существо мое было настроено к принятию тех благодатных, светлых впечатлений, которые, бог весть почему, в известные дни и эпохи неотразимо и неизменно носятся над душой, но странное «представление» мигом разрушило это светлое, гармоническое настроение. Так иногда случается, что в правильное и совершенно плавное течение жизни вдруг врывается обстоятельство в полном смысле слова ей постороннее, и врывается с такой силой, что не только заставляет принять себя, но и деспотически подчиняет себе весь строй этой жизни.

III

Начинало уже смеркаться, когда мы приехали на станцию. По селу и там и сям бродили группы подгулявших крестьян, а перед станционным домом стояла даже целая толпа народу.

– Верно, что-нибудь случилось! – еще издали заметил мне Бондырев, указывая на толпу.

И действительно, толпа, казалось, тревожно выжидала нашего приезда. Едва успели мы выйти из саней, как все это вдруг заговорило и беспорядочно замаhalo руками. Из избы долетали до нас звуки того унылого голошенья, услышав которое даже самый опытный наблюдатель не в состоянии бывает определить, что скрывается за этими взвизгиваньями и завываньями: искреннее ли чувство или простой формализм.

– Что случилось? – спросил Бондырев.

– Петруха... Петруха... – раздалось в толпе.

Невинные рассказы. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru
Сердце мое болезненно дрогнуло.

– Племянник у нас бежал, ваше благородие! – отвечал, выступая вперед, один из сыновей дедушки.

– Рекрут, что ли?

– Рекрут, ваше благородие.

– Ах, шельмы вы этикие! – и снисхождения-то вам сделать нельзя!

– Имают его, ваше благородие! сам отец пошел, – робко проговорил дядя Петруни.

– Да, изымают, держи карман! А не было ли у него на селе любезной? – спросил Бондырев, чутьем угадывая истину.

– Маврушка Савельева, чай, знает! – молвил кто-то в толпе.

– Что ты! перекрестись! – почти завопил, протискиваясь сквозь толпу, седой старик, должно быть, отец Мавруши, – ничем моя Маврушка тутотка не причастна, ваше благородие.

– Ишь ты какое дело случилось! – снова начал дядя Петруни, – ничем мы, кажется, его не избидели, а он вот что с нами сделал!

– А вот мы это после разберем! – отвечал Бондырев и, обращаясь к толпе, промолвил: – Чтоб был у меня рекрут найден! все марш в лес искать!

И, сказав это, величественным шагом потек в избу порасправить в тепле свое белое тело.

РАЗВЕСЕЛОЕ ЖИТЬЕ

Рассказ

Станет царь-государь меня спрашивати:

Ты скажи, детинушка, крестьянской сын!

Уж ты с кем воровал, с кем разбой держал?

Бурлацкая песня

Развеселое, брат, это житье! Ни перед тобой, ни над тобой, ни кругом, ни около никакого начальства нет; никто, значит, глаза тебе не мозолит, никто с тебя не спрашивает, а при случае всяк сам же тебе ответ должен дать.

Так скажу: коли нет у тебя роду-племени, или обидел-заел кто ни на есть, или сердце в тебе стосковалось – кинь ты жизнь эту нуждную, кинь заботу эту черную, поклонись ты лесу дремучему: «Лес, мол, государь, дремучий бор! ты прими меня странного, ты прими бесчастного-бесталанного. Разутешь ты, государь, душу мою горькую, разнеси тоску мою по свету вольному! Чтоб знал вольный свет, какова есть жизнь распрелютая, чтоб ведали люди прохожие-проезжие, как сиротское сердце в груди встосковалось, в вольном воздухе душа разыгралась».

Народу у нас предовольно. И из Рязани, и из Казани, и из-под самого Саратова, есть и казенные, есть и барские, однако больше барские... Бывают и кавалеры: эти больше от «зеленых лугов» в лесу спасаются. Народ все тертый: и в воде тонул, и в огне горел; стало быть, как зачнет тебе сказы сказывать – заслушаешься. Иной, братец, головы два раз лишился, а все голова на плечах болтается, иной кавалер и за отечество ровно уж слышним отличку показал, и в паратах претерпение видел, а все в живых стоит. Никто как бог. Один кавалер рапортовал: пуля ему в самый лоб треснула, разлетелась это голова врозь, посинели руки-ноги, ну и язык тоже: буде врать, говорит... Что ж, сударь? к дохтуру – не помог; к командиру – не помог; сам брихадный был – не помог, а Смоленская помогла! Значит – сила!

Таким родом живучи, на людях и сиротство свое забываешь. Ну, и другое еще: свычка. Это значит: коли к чему человек привыкнет, лучше с жизнью ему расстаться, нежели привычку свою покинуть. Сказывал один кавалер, что по времени и к палке привычку сделать можно. Ну, это, должно быть, уж слышним, а с хорошим житьем точно что можно слюбиться.

Да и хорошо ведь у нас в лесу бывает. Летом, как сойдет это снег, ровно все кругом тебя заговорит. Зацветут это цветы-цветики, прилетит птичка малиновочка, застучит дятел, закукует кукушечка, муравьи в земле закопошутся – и не вышел бы! Травка малая под сосной зябет, – и та словно родная тебе. А почнет этта лес гудеть, особливо об ночь: и ветру не чуть, и верхи не больно чтоб шаталися, – а гудет! Так гудет, что даже земля на многие десятки верст ровно стонет! Столь это хорошо, что даже сердце в тебе взывает!

Бывают, однако, и напасти на нас, а главная напасть – зима. Первое дело – работы совсем нет: стужа-то не свой брат, не сядешь ждать на дороге, как слезы из глаз морозом вышибает; второе дело – всякий в ту пору в лес наезжает: кому бревешко срубить, кому дровец надобно – ну, и неспособно в лесу жить. Значит, в зимнее время все больше по чужим людям, аки Иуда, шманаемся: где хлебца подадут, а где и пирожка укусишь. Только чудной, право, наш народ: хлебца тебе Христовым именем подаст, даже убоинкой об ину пору удовлетворит; а в избу погреться не пустит – ни-ни, проваливай мимо! Таким родом, все по гумнам и имеем ночлег. Иной раз разнеможешься – просто смерть! Спину словно перешибет, в голове звенит, глаза затекут, ноги ровно бревна сделаются – а все ходи! Еще где до свету, запоят это петухи, потянешь носом дымок – ну, и вставай, значит, покидай свое логово! А не уйдешь, так тебя, раба божия, силой из-под соломы выволокут, да на суседнее поле и положат: отдыхай, мол, тут, сколько тебе хочется! Зверь-народ!

Однако, брат, штука это жизнь! Иной раз даже тошнехонько, и на свет бы не глядел, и руки бы на себя наложил, – ан нет, словно нарочно все так подстроится, чтоб быть тебе живу – жив и есть. Ровно она сама к тебе пристаёт, жизнь-то: живи, мол, восчувствуй! Ну, и восчувствуешь: пойдешь это в кабак,хватишь косушку императорского разом, и простынет в тебе зло, благо сердце у нас отходчиво.

Случилась однажды со мной оказия. Иду я по Доробину, а на дворе стала ночь; только иду я и, идучи, будто думаю: и холодно-то мне, и голодно-то, и нет-то у меня роду-племени, нету батюшки, нету матушки, и все, знашь, как-то на фартуну свою жалуюсь, что уж очень, значит, горько мне привелось. Только вижу, у Мысея в избе огонь горит. Полюбопытствовал я и гляжу в окошко; ну, известно, что в избе делается. Посередь горницы молодуха прядет, в углу молодец за станом сидит, на зemi робятки валяются, старый лапти на лавке ковыряет... то есть, видал и перевидал я все это. Однако тут бог е знает, что со мной сталось: растопилось это во мне сердце, даже затрясся весь. Взшел в избу: «Бог в помочь, говорю, господа хозяева! не пустите ли странного обогреться?»

– А ты отколь? – спрашивает Мысей и смотрит на меня старик зорко. Ну, сам, чай, знаешь, трудно ли тут соврать? Сказал, что из Гай либо из Лыкошева, и дело с концом! Ан, вот те Христос, не посмел солгать, язык даже не повернулся; стою да молчу. – Ин, дай ему, Марьюшка, хлебца, Христа ради! – говорит Мысей-то, – а ты, говорит, странный, ступай – бог с тобой!

Ну, и пошел я; только всю эту ночь я промаялся. Горе, что ли, меня больно задавило, а это точно, что глаз сомкнуть не мог. Все это будто сквозь туман либо Мысей представляется, либо робятки малые, либо молодуха... и ровно рай у них в избе-то!

Вторая наша напасть – полиция; однако с нею больше на деньгах дело имеем.

Вздумал этта становой нас ловить, однако мамоне спраздновал. Вот как дело было. Призвал он к себе от «Разбалуя» целовальника: – Ты, говорит, всему этому делу голова; ты, стало быть, и ловить должен.

– Помилуйте, ваше благородие! – говорит Михей Митрич, – у нас в заведении, кроме как тихим манером выпить, никаких других делов не бывает; одно слово, говорит, монастырь... сосновый-с! – Однако становой на него затопал: – Знать, говорит, ничего не хочу! – Ну, Михей Митрич за Батыгой: так и так, мол, утекайте пока до беды. Затосковал Батыга; денно и ночью горькую пил, а из беды-таки выручил. Зарядивши себя таким родом, пошел он... как бы ты думал, куда? к самому, то есть к становому!

– Я, говорит, есть тот самый Батыга, об котором ваше благородие узнавать изволили... – Так становой-то даже обеспамятел весь от злости. Подлетел это к

Невинные рассказы. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru нему, вцепился с маху в бороду, и ну волочить. Даже говорить ничего не говорит, а только рот разевает да дышит. Только Батыга все претерпел, ни в чем не перечил, а как увидел, однако, что его благородию маленько будто полегчило, повел и он свою речь. – А я, мол, к вашему благородию с лаской, говорит. – Ну, и опять обеспамятел становой: – Сотских! – кричит, – кандалы сюда! – И все-таки в кандалы не заковал, а порешили наше дело промеж себя полюбовно: от нас ему в месяц пятьдесят целковых, а нам воровать с осторожностью.

А по прочему по всему житье нам хорошее.

Попал я на эту линию постепенно. Человек я божий, обшит кожей, не граф, не князь, а попросту, по-русски сказать, дворовый господина Ивана Кондратьича Семерикова холоп. Ну, холоп – стало быть, хам; в бархатах, значит, не хаживал, на золоте не едал, медовой сытой не запивал, ходил больше в нанке да в пеструшке, хлебал щи, а пил воду. На этом, брат, коште не разжиреешь, а если и разжиреешь, так, значит, не от себя и не от господ, а никто как бог. Поступил я сперва-наперво в барский дом в мальчишки. Должность эта небольшая: на погреб за квасом слетай, в обед за стулом с тарелкой постой, ножи вычисти, тарелки перемой да из чулка урок свяжи – только и всего. А жалованья за эту послугу получал: в день три пинка да семь подзатыльников; иногда прибавлялось и сеченье. Так-то я и рос. Помню даже теперь, как, бывало, облизываешься, глядя на господ, как они кушать изволят. Иной раз так забудешься, что и рот по-ихнему разевать начнешь – ну, и сечь сейчас, потому что ты лакей и, стало быть, должен за стулом стоять смиренно.

Хоть барин у нас и богатый, однако ихний тятенька, еще у всех дворовых на памяти, в ближнем кабаке Михей Митричем сидел: сидел-сидел да и попал, братец ты мой, во дворяне... однако, стало быть, не за это. По этому самому случаю, а больше, может, и для того, чтоб себя перед благородством оправдать, Иван наш Кондратьич свою честь держал очень строго. Не то чтоб к кабаку, как к истинному своему отечеству, лнуть, а все норовит, бывало, как бы в большие хоромы вгрызться. А с нашим братом рабом, окромя «холоп» да «скотина», «цыц» да «молчать» – никакого другого и разговору не было. Самый, то есть, был господин для слуги неприятный.

Наши дворовые были Иван Кондратьичем недовольны и называли его больше брюханом и изменщиком (потому как он кабаку, своему отцу-матери, изменил). Особливо обижался им буфетчик Петр Филатов. Прежде-то были мы, слышь ты, княжие (Овчинина князя Сергей Федорыча, может, слышал?), да князь-то нас дохтуру в карты проиграл, а дохтур уж Семерику продал. Ну, стало быть, Петру-то Филатычу и точно что будто обидненько было после князя какой-нибудь, с позволения сказать, мрази служить.

А приятный для слуги господин какой должен быть? Тот господин для слуги приятен, который его слушается, который обиход с ним имеет и на совет слугу своего бесприменно зовет. В стары годы, сказывают, на этот счет просто было: господа с слугами в шашки игравали и завсегда с ними компанию важивали. Он же, Петр Филатов, сказывал, что, бывало, господа друг с дружкой беседу ведут, а слуги у дверей сберутся, да временем и свое словечко в господскую речь пустят. Ну, конечно, что этак-то будто лучше, а впрочем, это не мое, а Петра Филатова рассуждение, потому как я на это дело давно уже плюнул и ногой, братец ты мой, его растер.

Сказывал нам Петр Филатыч и других поучений много. Сказывал, примерно, что те, кои в сем мире рабы, на том свете господами, в пресветлом сиянии, будут, что паука убить – сто грехов убавится, а муху убить – сто же грехов набавится. А как я от барина своего бежал и через эвто самое, как бы сказать, в здешней жизни не претерпел, будущей своей жизни лишился, то, помня Петра Филатыча слова, всякий раз, как паука вижу, бесприменно его убиваю, а муху, напротив того, питаю и призреваю.

Пречудный был этот старик. Начнет, бывало, про князя рассказывать – что твой соловей заливаешься, – и не заткнешь ничем. – А как же, мол, тебя князь-то в карты продул? – А отчего ж, говорит, ему и не продуть? разве князь в достоянии своем не властен? – Я, говорит, не об том скорблю, что холоп – потому как на мне первородный грех есть, и от этого самого я холоп, – а об том, что вот, на старости лет, Семерику служить привелось; и пойдет это губами шамкат; даже весь посинеет от злости, что князя его обижать смеют. Такая уж, видно, линия на роду

Невинные рассказы. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru
человеку написана.

На четырнадцатом году свезли меня в Москву к повару-французу в учение; жил я в поваренках четыре года и, хвастать нечего, свету большого из-за плиты не видал. Потом, однако, пустили господу по оброку, чтоб еще больше, значит, в науке своей произойти.

Про Москву так должен сказать: множество видел я городов, а супротив Москвы не сыщется. В Москве всякий в свое удовольствие живет, господу в гости друг к дружке ездят, а простой народ в заведениях – блаженство! Возьмем, примерно, трактиры одни, чего там нет? И чай, и водка, и закуски... и все, значит, сам. Машина «Ветерок» тебе сыграет, приказный от Иверских ворот вприсядку отпляшет; в одном углу тысячные дела промез себя решат, в другом просьбицу строчат, в третьем обнимаются, в четвертом слезы проливают... Жизнь! К этакому-то житью как попривыкнешь, ни на что другое и не смотрел бы! Так тебя и тянет с утра раннего все в трактир да в трактир.

Барин, к которому я нанялся (а нанялся я к нему в лакеи, а не в повара), очень меня полюбил; смирный, добрый был этот барин, не наругатель и не озорник, а к простому народу особливо был жалостлив. Служить он нигде не служил и занимался, по своей охоте, все больше книжками, а по вечерам господу молодые к нему собирались.

Что уж у них там с господами промез себя было, доказать тебе этого не могу, только попал, братец ты мой, он по этому случаю на замечание, что вот, дескать, человек молодой, служить не служит, а разговорами занимается... так что, мол, это значит? А московская наша полиция – черт, а не полиция: коли захочет человека достать, так хоть он в трисподнюю спрячется, и в трисподней его достанет.

Вот и препоручили они одной мамзели пропастной, чтобы она, значит, нашего Михаилу Васильича полегоньку им представила. На моих глазах и дело это случилось. Жили мы тогда в Столешниковом, а напротив нас, в Лихтеровом доме, эта французенка квартиру имела. Учительница, что ли, она была или только сказывалась так, а уж из себя точно что писаная красавица была. Сядет, бывало, с книжкой к окошку, волосы для приманки распустит, ручку беленькую будто невзначай покажет – так бы, кажется, и глаз не оторвал от нее! Однако наш Михайло Васильич сначала будто дичился ее: она к окну, а он от окна благим матом да в угол забьется. А все-таки, как ни вертелся, как ни отбивался, а кровь по времени свое взяла, потому что такое уж, брат, естество наше грешное, что всухомятку жизнь изжить никак невозможно.

Вот и слюбились они. Уж что, братец мой, с ним в ту пору случилось – и рассказать того нельзя. Поначалу ровно он обезумел; бросился ее целовать – ну, я и двери за ними запер. А потом, слышу, плачет, да тяжело таково, даже ровно кричит... И мне все сердце изорвал, да и на улице слышно. Так это на него действовало. Уж на что она дошлая девка была, а и она испугалась; выбежала в одной юпчонке, кричит: «Воды!» Насилу мы его в ту пору в чувство привели.

И пошла у них тут масленица. Совсем он переменялся, словно расцвел – растопился весь. Живой да веселый стал; на щеках румянец заиграл; даже ходит, бывало, – так ровно земли под собой не чувствует.

И господам ее своим всем представил; соберутся, бывало, они повечеру в кружок, ну, и она тут завсегда с ними присутствует, разговор ихний слушает, а сама тем временем либо будто дремлет, либо к Михаилу Васильичу ласкается.

Только стал я по времени примечать, что мимо нашего дома полицейский переодетый похаживает, и сам, знаешь, будто рыло свое скосит, а между тем все на наши окна посматривает. Подивился я этому, однако ничего, смолчал. Однажды иду я к нашей мамзели с запиской от барина, всхожу на лестницу, а сверху идет встречу мне опять этот полицейский, и опять переодетый. Ну, и она, увидевши меня, словно смутилась... что за чудо? Стал я после этого за ней присматривать, стал примечать, что она куда-то раным-ранехонько похаживает, однако все думал, что по амурам. Раз как-то и полюбопытствовал я; она со двора, и я за ней полегонечку...

И куда ж бы ты думал, однако, она меня привела?

. . .

Сказал я об этом тогда же Михаиле Васильичу, да уж поздно было. В тот же день вечером пришли к нам гости незваные, и тут же дело наше покончили.

Так вот, брат, какова бывает на свете полиция!

После того вскорости же пришел и ко мне от нашего бурмистра приказ в деревню явиться.

Уж как мне эта деревня тошна после Москвы показалась – даже рассказать нельзя! Первое дело, призывает меня к себе Семерик и приказывает на конюшню идти, за то, мол, что в Москве не в повара, а в лакеи самовольно нанялся. Хорошо; пошел и на конюшню. На другой день еще приходит приказ: отобрать у Ивана хорошее платье и дать ему старый армяк. Ну, армяк так армяк – и на том спасибо! Однако, думаю, за что же? Пожаловал Семерик как-то на конный двор и видит, что я горя мало хожу; прошелся мимо меня раз, прошелся другой: все ждет, что я в ноги к нему паду. Однако с тем и ушел, что не дождался; только, уходя, словно погрозился на меня и молвил: «Дойму я тебя, зверь бесчувственный!»

Второе дело, содержание в деревне больно уж безобразное. Настанет, бывало, время обедать идти, так даже сердце в тебе все воротит. Щи пустые, молоко кислое – только слава одна, что ешь, а настоящего совсем нет. Тем и отведешь себе душу, что господ на чем свет обругаешь...

И так-то иной весь свой век отживет, ни единой, то есть, радости не видавши, ни единой себе минуты покою не знавши... так и снесет поп в могилу!

Однако, хоть и всячески я себя перемогал, чтобы только Семерику похвастаться было нельзя, что вот, дескать, на что Ванька зверь, и того, мол, сокрушил, а по времени немоготу стало. И сделалось со мной тут словно чудо какое. От думы, что ли, или оттого, что, в Москве живши, себя уж очень изнежил, только стал я мучиться да тосковать, даже ровно страх на меня от всех этих мученьев напал. «Господи! думаю, бывало, неужто ж и взаправду мне в этой трущобе, как червю, сгнить придется?» А сердце вот так и рвет, так и ноет в груди.

Даже работать совсем перестал. Знаю и сам, что худо это, что другие, может, и лучше тебя, за тебя работают, однако принуждения сделать себе не в силах. Ну, и дай бог нашим здоровья: пожалели меня, до барина этого не довели.

Вот только один раз повечеру господа наши в гости уехали; пошел я во двор поглядеть, как наши сенные девушки в горелки бегают. Только бегают это девки, а во флигеле на крылечке какая-то барыня на них смотрит. Ну, и наши все тут в кучу собрались; идет промеж них хохот да балагурство, увидели меня, на смех тоже подняли: «Что пришел? или, мол, смирился?» – «Ан нет, – говорит Филатов, – он к Марье Сергевне на полкон явился!» – Тут только я и узнал, что эта барыня сама Марья Сергевна и есть.

А Марья Сергевна у нашего барина вроде как экономка жила. Была она просто-напросто пастуха нашего дочь; только Семерик и в паневе ее облюбовал и по этому самому отца-то из пастухов в дальнюю деревню в старосты произвел, а ее в горницу к себе определил. Ну, взяли, сердечную, вымыли, вычесали, в платье немецкое одели и к Семерику представили: барыня наша, сказывают, много об этом в ту пору стужалась.

Однако любопытно мне стало поглядеть на нее. Сам знаешь, баринова сударка, – стало быть, сила. Коли не настоящее, значит, тебе начальство, так еще хуже того; как же тут утерпеть, не посмотреть? Подошел я к крылечку и гляжу на нее.

И вот, братец ты мой, даже до сей минуты вспомнить я о ней не могу: так это и закипит, задрожит все во мне! Ровно подняло во мне все нутро, ровно сердце в груди даже заиграло, как взглянула она на меня! И нельзя даже сказать, чтоб уж очень из себя пышна или красива была, а такой это был у нее взгляд мягкий да ласковый, что всякому около нее тепло и радостно становилось. Ну, и усмешечка эта на губах тихонькая... ровно вот зоренька утренняя сквозь облачка поигрывает.

Много видел я барынь красивых, и из нашего звания тоже хороши девушки из себя бывают, а все-таки Маши другой не встречал. Доброта в ней большая была, а по тому, может, самому краса ее силу имела, что душа у ней на лице всякому

Невинные рассказы. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru объявлялась. Так скажу: не знай я теперь, что давно она от тиранств барских в могилу пошла, жизни бы не пожалел, в кабалу бы себя опять отдал, только бы на лицо ее насмотреться, только бы голоса ее милого послушаться!

Ну, и она, увидевши меня будто в первый раз, тоже любопытствовала.

– Не вы ли, – говорит, – новый повар, что из Москвы онамеднись выслали?

– Я, – говорю.

– Отчего ж, – говорит, – вы в таком платье ходите?

– А оттого, мол, что на то есть барская воля.

– Так вы барина попросили бы... он ведь только горд очень, а добрый!

– Нет, – говорю, – я просить не буду, потому что вперед знаю, что если стану с баринком говорить, так уж это бесприменно, что ему нагрублю.

– Что ж так?

– Да так; больно уж много нам обид от них было, Марья Сергевна... за что, примерно, он меня платья моего лишил?

– Вот вы какие! пожили в Москве, да и стали уж слишком спесивы! А вы бы глядя на других делали.

Ну, я против этих ее слов ничего сказать не решился; стою да молчу.

– А хорошее, – говорит, – в Москве житье?

И сама, знаешь, тяжеленько этак вздыхает.

– И везде, – говорю, – хорошо, где, то есть, жить нам мило.

– А где, по-вашему, мило? – спрашивает.

– А там, – говорю, – мило, где у нас милый друг находится...

Сказал это, да и смотрю на нее, и даже чувствую, как меня всего знобит. И она со слов моих словно зарделась вся, опустила это головоньку и задумалась.

– Вам, может, желательно, чтоб я за вас барина попросила, – говорит.

– Коли ваше желание на то есть, – говорю, – так от вас я принять милость не откажусь.

Больше в тот вечер я с ней не говорил. Только стало мне с той минуты словно легко и незаботно на свете жить. Пошел я к себе на сеновал спать и всю-то ночь вместо спанья только песни пропел.

Да и ночь-то на ту пору какая случилась! теплая да звездная, ровно даже горит это наверху от множества звезд! И все это кругом тебя спит; только и слышишь, как лошадь около яслей на мякину фыркнула или в деннике жеребенок в соломе спросоньев закопошился.

На утре позвали меня к барину. Не могу о себе сказать, чтоб из робких был; однако на ту пору так сробел, что даже сердце во мне упало. Барин принял меня в лакейской пред всеми людьми и очень что-то грозно.

– Ну что, – говорит, – прочухался?

Я молчу.

– Что ж ты не отвечаешь, зверь?

Я опять молчу. Только слышу, что по-за дверью ровно зашуршало что. Задрожал, затрясся я весь.

– Виноват, – говорю.

– То-то, мол, виноват! А не знаешь, видно, как слуга должен у господина своего прощенья просить?

Пал я на колени... Ну, и простил он меня, на кухню определить велел... Только как вспоминаю я теперь про это, даже во рту скверно становится...

. . .

Стали мы после этого чаще видаться, только больше все при людях. Иной раз и встретишься где-нибудь один на один, однако смешаешься, обробеешь – ну, ничего и не скажешь. Об одном только и в мыслях, бывало, держишь, как бы с ней встретиться, или бы шорох от платья ее услышать, или бы вот хоть издальки на нее полюбоваться. Ну, и она словно заметила, что усмешечка ее шибко мне нравится: как ни пройдет мимо меня, всякий раз непременно усмехнется... Так и протянулось наше дело до осени.

По осени, так около введеньева дня, стали наши господа в Москву собираться. Пошел это по дому треск да шум; возы с поклажей сряжают, экипажи дорожные излаживают – ну, как у больших господ обыкновенно водится. Слышу я, что и Маша с господами уезжает, а мне приказу ехать не объявляют. Стал я стороной от людей узнавать: кто говорит – Павлу повару ехать, кто говорит – мне ехать, а настоящего нету. Времени меж тем все меньше остается – смерть, да и полно!

Порешил я под конец, чтоб мне самому с Машей об этом переговорить. Выбрал время, как ей из дому во флигель на ночь идти, стал и жду у крылечка. Только вижу, что вдали огонек забрезжил и прямо-таки к флигелю бежит, словно вот искорка, откуда ни взялась, одна сама собой в воздухе летает.

– Вы, – говорю, – Марья Сергевна?

Спервоначалу она было испугалась, даже оступилась и упала, однако голосу не дала. Я ее бережненько поднял, посадил на крылечко и фонарь затушил.

– Вы, – я говорю, – не опасайтесь меня, Марья Сергевна!.. Я с тем нарочно и пришел, чтоб вас видеть. Мочи моей больше нет; все у меня сердце от тоски изорвалось!

Подошел я поближе к ней, взял ее за рученьку и слышу, что она словно лист вся трясется.

– Вы вот с господами в Москву собираетесь, – говорю, – стало быть, расставанье будет нам долгое... Поэтому я так теперь о себе понимаю, что самый я без вас буду несчастный человек, и, стало быть, ничего мне другого желать не надо, как только руки на себя наложить или в леса от таких мученьев бежать...

– Да ведь и вы, чай, с нами в Москву поедете? Чтой-то уж и бежать собрались!.. словно и разуму своего вы лишились!

– Нет, – говорю, – в Москву я с вами не поеду; да и вы, коли меня жалеете, барина от этого намерения отклоните. Потому, первое, что в Москве я надежды на себя не имею, и верно это знаю, что барин либо в солдаты меня отдаст, либо в ссылку сошлет. А второе дело, мне и здесь на ваше житье смотреть совсем непереносно стало.

Как выговорил я ей это, она словно даже ручьем залилась.

– Так вот, – говорит, – чем вы меня попрекаете! точно сами не знаете, какова моя здесь жизнь!

– Я, – говорю, – не с тем это сказал, чтоб вас попрекать, а с тем, что при моих к вам чувствах смотреть мне на эти дела не приходится.

Только она еще пуще на это заплакала, а меня ровно тут дух какой обуял! Бросился я к ней, поднял это ее к себе на руки... И жалко-то мне ее, и душу-то я бы за нее отдал, и злость, однако, за сердце словно вот клещами хватает: пропадай, мол,

Невинные рассказы. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru все, не доставайся она ни мне, ни ему! Даже закоченел весь, даже не слышу ничего, мну да тираню ее, сердечную, в руках, будто задушить хочу... А она только потихоньку стонет, а рваться от меня не рвется.

– Ваня! – говорит, – что ты надо мной сделать хочешь!

Опамятовался я под конец, выпустил ее из рук. Тяжко мне тут сделалось, так тяжко, что и сказать нельзя. Смотрю это на барский двор и сам бог знает что думаю; смотрю тоже и на большую дорогу, и на лес дальний, – и все это будто перемешалось во мне; точно не сам я, а именно лукавый во мне думает.

И такова была в ней душа ангельская, что она не токма что тиранства моего не попомнила, а меня же, зверя лютого, утешать бросилась.

– Ваня, – говорит, – голубчик ты мой! ах, да посмотри же, посмотри же ты на меня! пожалей ты меня! Легче бы мне в пропасть теперь сгинуть, чем сердце твое на себе видеть!

И вот, братец ты мой, хоть зима на дворе стояла: значит, и темнеть, и сивир, и снег, однако краше для меня эта ночь самой теплой летней ночи показалась! Все эти звезды, что на небе горят, словно в сердце у меня загорелись!

Наутро прикинулась к ней горячка. Доложили об этом барину и послали за дохтуром. Дохтур обозрил ее и сказал, что в Москву ехать никак нельзя. Сокрушился Семерик; однако такую к Маше привычку взял, что даже поездку в Москву хотел отложить. Только тут ихняя супруга, дай бог ей здоровья, за наше счастье вступилась. Семерик говорит: «Не поеду!» Семеричиха кричит: «Врешь, поедешь!» И опять Семерик свое долбит, а Семеричиха так на него и заливается: «И без того я от тебя невесть что безобразиев терплю, чтоб смел ты меня, кабачник, на всю жизнь в деревню запереть!» Много у нас тут страму на весь дом было. Однако Семеричиха, как была генеральская дочь, одолела. Стали собираться; вышел и мне приказ быть готовым.

Ну, нет, думаю, это, видно, подождать придется! И удумал я тут штуку. Явился к Семерику и, как ни воротило мне сердце, пал к нему в ноги взаправду.

– Позвольте, – говорю, – в деревне остаться.

– Это еще что за штуки? – говорит, – и как ты смел прямо на глаза мои показываться?

– Я, – говорю, – по слабости моей, в Москве надежды на себя не имею, потому как там и знакомство у нас большое, и случаев больше есть, а в деревне все одно что в монастыре...

Понравилось это Семерику. А пуще всего то по сердцу пришлось, что вот, мол, лютого зверя в смирение привел!

– Ну, – говорит, – коли есть твое желание, чтоб в исправлении своем укрепиться, так я препятствовать этому не могу... Взять в Москву Павлушку!

Уехали.

Остались мы с Машей в доме почесть что одни. Молодых всех господа еще с обозом в Москву угнали, а в деревне оставили только стариков да конюхов. К Маше старуху Матрену Ивановну приставили – золотая это была душа! Стало быть, очень нам было свободно. Поначалу она еще слабость в себе чувствовала, а недельки через две и поправляться стала. А Семерик то и дело, что из Москвы гонца за гонцом шлет да строго-настрога наказывает, чтоб Машу к нему в самой скорой скорости выслать. Однако врешь.

И словно рай промеж нас тогда поселился. По времени даже смелость такая у нас проявилась, что и людей совсем опасаться перестали. Заложить, бывало, об вечер жеребца с барской конюшни в охотничьи саночки, укутаешь ее, голубушку, в шубку и пошел по полянкам гулять – даже дух занимается! А ночи-то, брат, лунные да морозные, и снегом-то кругом тебя обдает, и ветром-то жжет... жизнь! У Маши, бывало, даже глазенки заискрятся, столь это хорошо!

Невинные рассказы. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru
Ну, и домой тоже приедешь, отогревать ее станешь, на руках, словно ребеночка, баюкаешь...

Да, брат, – как подумаешь да погадаешь, что все это жило, да сплыло, да бьлем поросло, и что всему этому житью Семерик на всяк час поперек может стать – даже страх тебя какой-то берет!

И скажи ты мне на милость, отчего бы, например, мне, дворовому господина моего, Ивана Кондратьича Семерикова, человеку, счастливым не быть? И отчего, например, вздумал я раз в жизни радость свою иметь, и тут вышло, что радость та не моя, а господская? От этой, брат, думы и ушел я в леса, чтоб больше она меня не тревожила.

Проведал, однако, прознал он, шельмецкий сын, про нашу любовь. Бурмистр, что ли, ему отписал – этого доказать не могу, только раз приезжаем мы вечером с поля, ан в барском доме огни горят. Маша моя так и ахнула... Ну и я тоже маленько будто посумнился.

– Что, – говорю, – Машенька! гаркнуть разве, и поминай как звали.

Только говорю я это, а сам вижу, что она ни жива ни мертва в саночках сидит. «Ну, думаю, плохо, значит, наше дело, – пришлось в разделку идти!..» Надеялся было я на первых порах во флигеле ее схоронить, ан и тот заперт.

Привели нас к Семерику... Ну, он словно зверь страшный на меня кинулся и начал меня что есть силы-мочи бить. А Маша забила в угол да только стонет. Однако ее не тронул: по старой памяти, что ли, или уж потому, что, меня бивши, ровно дыханье все истерял.

Ну, видевши я Машенькин такой страх, опять себя перемог. Повалился ему в ноги, клялся-божился, что вечным буду его рабом, только бы на Машеньке мне жениться дозволил. На это такую он резолюцию дал: посадить его на ночь в холодную, а наутро в рекрутское присутствие везти. А Машу в ту же ночь на скотный двор сослали, а через три дня в деревню за вдовца за детного замуж отдали.

В эту ночь много я от холоду вытерпел, а пуще того от думы да от тоски сокрушился. Объявились мне тут все обиды его тяжкие; объявилась и жизнь эта нуждная, лютая, и кабальство мое горькое; объявилось и счастье мое вчерашнее... То будто зима-зимская морозная перед глазами носится, и полянки эти дальние, и саночки малые, и Маша, разлюбушка моя, тут... И словно свет голубой мне в глаза бьет, и в этом свете голубом она, моя голубушка, ровно в воздухе, дрожит и колышется... залило меня горе всего! Сейчас думаю: не будет же по-твоему, огрызок кабацкий! пропадай моя голова, коли не вырву я ее у тебя! А через минуту и то опять в голову лезет: куда ж идтить? куда ни беги, везде твое тело его будет!..

Порешил я, однако, бежать. Не то чтоб солдатства крепко боялся, а словно дело это для нас необычное, да и с Машей расстаться жалко: все думаешь: «Не закопают же ее живую в могилу, – авось можно свидеться как-нибудь».

Вот на другой день подняли меня раным-ранехонько. Вывели, всего обшарили. На дворе подвода стоит, и отдатчик с подводчиком наготове ожидают. Пришли родные, пришла дворня вся; бабы воют да стонут, особливо матушка. Измаяли они меня.

Привелось нам мимо скотных дворов ехать. Не утерпел я – и стал проситься, как бы Машу мне повидать. Известно, отдатчик, вместо ответа, велел лошадь стегать; однако я вскочил и зачал его за горло душить! «Мне, говорю, заодно терпеть, а тебе не быть живу, варвары вы этикие!» Ну, испугался, – пустил. Вошел я в избу: избенка эта темная да смрадная, словно хлев коровий.

– Много лет здравствовать, Марья Сергевна! – говорю.

Только услышала она мой голос, – бросилась это ко мне, уцепилась за полушубок... даже ровно замерла тут.

– Погубил я тебя, Машенька! – говорю, – не будет мне за это счастья в сей земле.

– Жить... нет... нет! – говорит, а сама так и дрожит, так и трясется вся, и в лице ни единой кровиночки нет.

Сел я на лавку, положил ее на колени к себе и стал это целовать да миловать. Только чую, будто слезы у меня горят, да и сердце в груди ровно ширится. Ну, думаю, плакать так плакать... в остатний раз! Плачу я это, даже дух у меня от слез словно захлестывает... только и могу выговорить: «Машенька! Машенька!.. ах, да каково ж это больше не свидеться!» А она даже и не отвечает ничего; завернулась, голубка, головонькой под полушубок ко мне, да только руками обеими меня удерживает... И сладко-то, и тоскливо-то мне!

Только, видно, дали во двор знать, что двоим со мной не сладить; прибежало еще человек с пять на подмогу. Стали ее отымать от меня; ну, и она поначалу ровно не поняла, что с ней делается, даже взять себя допустила... Однако, как начал я скотнице Аграфене в ноги кланяться, чтоб она ее, сиротку, пригрела да приголубила, вдруг она словно разразилась: взвизгнула это, застонала и зачала из их рук рваться... даже я сам поскорей из избы выбежал.

Еду я дорогой да все думаю: «Уйду я от них, непременно уйду!» Гляжу это на поле дальше: вон в стороне вихорик закружился, вон пеленку снежную взбуровил... уйду, мол, от них, непременно уйду! Вон мостик ветхонький через речку лежит; по краям у речки ледок, словно хрусталь чистый, скипелся, а середочка плещется, ровно живая журчит... уйду я от них, непременно уйду!.. Вон лесок впереди засинелся: ишь ты, какой лес частый да бережонный!.. вон и в деревню въехали... пошли саночки по ступеням тук-тук... ах, да уйду я от них, непременно уйду!

– Пусти, Потап! – говорю отдатчику.

– Что ты! – говорит, – чай, я не о двух головах!

– Пусти, Потап! в могилу за тебя живой лягу, души не пожалею... пусти!

Не пустил... Да уйду же я от тебя, непременно уйду!

Приехали мы на постоялый двор ночевать. Сели ужинать, а я все одно думаю: «Уйду да уйду». Положили они меня для верности промеж себя спать, даже полушубок с меня сняли да под головы себе сунули. Однако я не сплю и все в уме одно держу: «Уйду, мол, я от них, непременно уйду!» Вот только слышу я, загудело мужичье; были тут, кроме нас, извозчики; наедятся они на ночь, так ровно начнет их коробить во сне-то. Иной, знаешь, не своим голосом во сне зарычит, другой даже вскочит спросоньев, посидит-посидит словно полоумный, перекрестится, да и опять спать. Ну, и я попытать их сначала хотел: вскочил что есть мочи, не шелохнется ли, мол, кто?.. Однако никто голосу не дал; только Потап спросоньев стал около себя шарить, да не на ту сторону, сердечный, попал и нащупал проезжего извозчика. Только я ползком да ползком... чу, сверчок за печкой затрещал... чу, вздохнул кто-то – не Потап ли? чу, кого-то словно душит во сне... И всего-то до двери пять шагов, а сколько я тут от одной думы измаялся, что лучше бы, кажется, пять верст на своих на ногах сделать... А все-таки дополз под конец! Тут на лавке чей-то полушубок порожний обзрел и его про запас смахнул.

Вышел я на задворки, и – веришь ты? – кажется, не долго мучения мои тянулись – и всего-то с сутки! – а словно я тут впервой воздухом свежимдохнул! Даже ослаб весь, и ноги подкашиваются, и грудь будто расшаталась... Вышел я на задворки; однако как начал делом смекать: «Плохо, думаю, это я сделал; таким манером они меня как раз по следу накроют; лучше на большую дорогу пойти». Вышел да, не думая, словно из лука стрела, пустился в обратный бегать.

Бежал я без отдыха версты с три, даже грудь начало саднить. А ночь-то месячная да светлая, и поле кругом чистое да ровное – версты за две человека видно! Вижу я: коли дальше идти, первое дело – из сил выбьюсь, а второе дело – хватиться могут, и кто ж их знает, в какую сторону их леший повернет! Показалась в стороне деревушечка, я и повернул в проселок. Только она, распроклятая, точно дразнит меня: вот, кажется, рукой подать, так и вертится перед глазами, однако за ихними мужицкими вавилонами добрых я с полчаса маялся, доколе дошел.

Тут я впервой познал, что такое беглый человек значит. Пришел в деревню, смотрю около себя, а куда идти – не смыслю. Словно уж судьба сама за меня промышляла да в овин привела; зарылся я в солому, да два дня оттоль и не выходил, – так не евши и лежал... После сказывали мне наши, что и в этой деревнишке меня отыскивали, однако, стало быть, не постарались.

Через два дня вышел. Ну, прежде всего есть до смерти хочется. На дворе еще темнеть была, только кой-где огни в избах виднелись: значит, исправная баба уж печку затопила. Подошел я к одной избе, вышиб кулаком подворотню, подлез скрозь нее и прямо в избу к бабе.

– Подавай хлеба! – говорю.

Только она как была с ухватом в руках, так тут на месте и обмерла. Я к столу; достал хлеба, взял кстати и ножик.

– Только ты пикни у меня, – говорю, – не ноне, так завтра так дойму, что навек языка лишишься!

И точно, дай бог ей здоровья, – не пикнула.

Наелся и опять в солому, залег – сумерек дожидаться. Теперь, думаю, хорошо: и сыт, да и ножик при мне есть: стало быть, какова пора ни мера, а живой в руки не дамся. И все-то меня к дому да к дому тянет.

Вот в сумерки встал-от с своего логова и пошел-таки прямо в деревню. Вижу еще издавеча, что в кучерской у нас свет горит. Не думавши долго, прямо туда.

– Ребята! – говорю, – кто из вас против меня изменщи ком хочет быть?

Только они сидят, да помалчивают, да промеж себя переглядываются.

– Если кто меня выдать хочет, – говорю, – так я тут весь; а не желаете выдать, так обогрейте да накормите меня!

Никто, однако, против своего брата изменщиком быть не согласился. Тут я узнал, что в тот самый день Машу на деревню что ни на есть за гадючего мужика отдали замуж; а Семерик, сделавши это праведное дело, как ни в чем не бывало сейчас после свадьбы в Москву укатил.

Загорелось во мне: хочу да хочу Машу видеть! даже есть не могу; так всего и поднимает меня.

Пошел на деревню; вижу, стоит на краю избенка развалившая; подошел к окошку, думаю, нет ли гульбы у них? Однако, видно, бедность шибко мужика одолела, либо совесть на народе зазрила, только не чуть в избе никого, кроме хозяев. Горит это посередь горницы лучина, и ровно чад да дым от нее идет, а свету почесть ничего-таки нет; в углу на полу ребята вповалку спят... ну, одно слово, и голодно-то, и холодно-то в этой избе, совсем, кажется, и жить-то нельзя. Одно мне чудно показалось, что они ровно век вместе жили, – сидят около светца. Маша бельишко кой-какое деткам починивает, а Трофим сапоги на продажу тачает. Долго я так смотрел на них, все думаю: взойти или не взойти? Однако Маша будто почуяла что: встала с места и слушает; ну, и Трофим к окошку побрел.

– Это я, – говорю, – Трофим Петрович! я, мол, беглый Иван! пустишь, что ли?

Услышавши меня, он поначалу даже от окна отшатнулся, однако вскоре опять поправился.

– Пустишь, что ли, Марьюшка? – спрашивает.

Только она ровно испугалась: побежала это от светца прочь и за печку спряталась.

– Пусти, – говорю, – Петрович! Вот тебе бог, что только проститься хочу; одной минуты не пробуду больше!

Взошел я в избу, помолился богу, сел на лавку.

– Бог в помочь! – говорю.

Только она вышла ко мне, мертвая-размертвая. Однако идет твердо.

– Прости меня, Иванушка, – говорит.

Невинные рассказы. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru

Я заплакал; сию это на лавке и, словно баба, малодушествую. Господи! как мне горько-то, горько-то в ту пору было! Словно темь кругом меня облегла, словно страх да ужас на меня напал, словно тянет, сосет все мне сердце!

– Прощай, Иванушка! – опять говорит она, а у самой слезиночка в голосе дрожит.

Вскочил я; хотел в охапку ее схватить, однако вижу – в углу Трофим стоит и словно у него зуб на зуб не попадает. И она тоже руки вперед протянула, будто как застыдилася. Ну, думаю, стало быть, нашему делу и взаправду кончанье пришло!

– Прощай, – говорю, – Маша! прощай и ты, Трофим!

Молчат оба.

– Видно, мол, не свидеться нам?

– Да, видно, не свидеться! – молвил Трофим.

Словно ожгло меня это слово.

– Зверь ты! – говорю.

– Нет, – говорит, – не я зверь, а тот зверь, кто ее до настоящего довел... Ты, – говорит, – рукой махнул да в леса бежал, а ей весь век со мной в голоде да в нужде горе мыкать приходится... Так ин лучше не замай ты нас!

Смотрю я на нее; все думаю: «Не скажется ли в ней хоть на минуточку наше прежнее разлюбовное время-времечко?..»

Ну, и нет, как нет; стоит она как без чувств совсем, глазами в землю смотрит, только верхняя губа будто дрожит легонько.

– Ну, – говорю, – ин и взаправду, Маша, прощай! Однако все-таки на расстанях, чай, поцеловаться надо...

Подошел к ней и обнял. Ну, ничего; и обнять и поцеловать себя дала, одно только обидно мне показалось: я ее целую, а она словно мертвая стоит... даже тепла в ней не чуть!

.

Так наше дело и кончилось. Вышел я от них как без памяти. Отхватал я, брат, в эту ночь верст тридцать с лишним. Иду да иду вперед, а куда иду – даже понятие потерял. Снег мокрый глаза залепляет, ветер в лицо дует, ноги в сугробах тонут, а я все иду и все о чем-то думаю, хоть истинной думы и нет во мне. Все это как во сне – от одного к другому переходит: и Маша-то тут, и не едал-то я, и сена вон стог в поле стоит, и ночь-то была впору холодная да темная. Останови да спроси, об чем, мол, сейчас думал? – ни в свете ответа не дашь!

Однако на утре уморился, и понятие это ко мне измором воротилось. Тут только догадался я, что заместо того чтоб к нашим на конный двор вернуться, я верст тридцать в сторону шагнул. Ну, не судьба, значит!

Вижу, навстречу мне мужичок с дровами едет. Мужичончко этакой худенькой да мозглявенькой: «Ну, на что такому мозглецу топор?» – думаю. Подошел к нему.

– Продай, мол, топор, дяденька!

Он перепугался.

– Христос, – говорит, – с тобой, молодец! топор-от, чай, мой!

– Известно, – говорю, – что твой; только и для нас он словно надобен!

Ну, он столько учтив был, что больше со мной не разговаривал.

Таким манером прошло больше месяца, что я все дальше да дальше пробирался.

Невинные рассказы. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru
Верить ли, даже не обогрелся ни разу порядком, ни разу путем не поел. Привычки-то к ночному ремеслу еще не было, да и шел я все глухим местом да проселком – так и в питейный-то зайти не с чем. И страх тоже одолел, потому что зима для беглого человека – самое некорыстное время; крутом это суметы, ни бежать, ни схорониться некуда: того гляди, как зайца изымают.

Однако около благовещения словно потеплило, а в деревнях в это время на пригреве об ину пору даже жарко бывает. Тут, братец мой, только я восчувствовал, какова на свете жизнь хороша есть. Сядешь, бывало, в сторонке около стожка: солнышко прямо в лицо тебе поглядывает, ветерки словно бархатные кругом поигрывают, в стороне, чу, вода русло себе просасывает, наверху всякая птица кишнем кишит, и не видать ее в вышине, а словно стон сверху вниз стелется. Журчит это, шумит все, точно и не один ты в свете, точно всегда кто ни на есть с тобой присутствует... Самое развеселое это время! Тут и поживишка у меня порядочная случилась. Иду я раз сумерками своим трактом и вижу, что посередь самой большой дороги кибитка стоит; лошади, пара, сзади привязаны, ящика нет. Подхожу я к кибитке, слышу – разговор там идет; один седок, должно быть, слышал меня, встал и смотрит через кибитку... Купец.

– Много лет здравствовать, господа хозяева! – говорю.

Только он думает, что меня, значит, ящик помогать им прислал.

– Скоро ли же ящик-то вернется? – спрашивает.

Пошел я вперед, будто кибитку осматриваю, а сам примечаю, как бы за дело мне половчей взяться. Вижу, впереди зазора, у кибитки одна оглобля напрочь отломлена; значит, ни взад, ни вперед нет возможности.

– Да ты что за человек? – спрашивает купец.

А другой его товарищ, даже не видевши еще ничего, забился вглубь, да только знай стонет. Вижу я, что они ребята ласковые, и в разговор с ними взошел.

– Вы, – говорю, – хозяева, просто, что ль, едете?

– Нет, – говорит, – без топора тоже не ездим.

Ну, и топор показывает.

– А коли есть топор, так дайте, значит, пять целковых – и бог с вами! А не то будем силу пробовать!

Заартачился было купец, да товарищ его, спасибо, на выручку мне подоспел. Застонал это, заревел пуще прежнего: «Отдай да отдай пять целковых!»

Рассчитались.

Пошел я после того в кабак, да там и забился. Об ину пору хорошо это бывает. Придет это тошно да смутно так; назади некорыстно, да и вернуться туда уж нельзя, а впереди словно туман да темнеть висит... куда идти? Думаешь-думаешь, даже головой о стену шаркнешься. Косушка вина много тут помощи делает. Выпьешь одну – в сердце словно радуга просияет; выпьешь другую – словно по морю по окяюну плывешь; выпьешь третью – ни земли, ни воды под тобой нет, да и люди – ровно точки в глазах мерещатся...

В кабаке я человека встретил. Показалось мне, что он на меня с первого раза слишком зорко посмотрел, да и с целовальником словно перемигнулся. Вот выпил я свою чарку и сел в углу на лавку, будто как благодушествую, а у самого даже муравьи по-за кожей заползали! Все, знаешь, по новости своей думаю, что на лазутчика попал. Только они промеж себя разговор ведут с целовальником.

– Худо, Савва Дементыч! – говорит человек, – разве вот летом поправимся, а не то, видно, совсем отсель откочевывать придется.

– Что ж так?

– Да ровно уж слишком много порядков здесь завелось. Намеднишь Сидорку на гумне

Невинные рассказы. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru изловили, отпустить-то отпустили, да уж и выкуп больно несообразный заломили. Надоело... Только бы вот товарищей таких подыскать, чтоб и в огонь и в воду охочи были идти, так, кажется, ни на минуту бы здесь не остался.

– И Дарьюшку ништо не жалко!

– Что Дарьюшка! только связался я с ней, а то давно бы нам это дело покинуть надо! Намеднись вот муж: «Ты, говорит, меня в окаянство ввел, ты меня вором сделал, да и жену теперь отнимаешь!» Как будто я задаром его вором-то сделал! И что еще: так это остервенел, что ухватил нож да с ножом зря вперед и лезет. Даже смотреть на него глупо.

Целовальник захохотал.

– Однако надо правду-истину сказать, – говорит, – и ты в его добре ровно слишком хозяйствуешь!

– Чего хозяйствовать! С ней, брат, всякий хозяйствовать может – была бы охота! Намеднись вот офицер проезжий ночевать у них становился, так мне даже тошно стало, как она перед ним привередничала...

– Так вот она какова!

– Да уж так-то «какова», что опять-таки говорю: найдись у меня теперь товарищ хороший, чтоб вместе бежать отсель, ни на минуту бы даже не задумался.

А сам говорит это да на меня поглядывает. Однако я молчу и все это думаю, что он меня испытать хочет. Долго ли, коротко ли они промеж себя побеседовали, только он не утерпел, подошел ко мне.

– Да ты что, – говорит, – земляк, в землю глазами уткнулся да нюни распустил?

– А так, мол.

– Что такать-то, а ты говори дело. Отколь бредешь?

– Прохожий, мол; шел да зашел – и все тут!

– Прохожий Иван стащил на селе кафтан, идет на большую дорогу за шубой... так, что ли?

– Хоть бы и так, тебе что за дело?

– Больно ты, брат, горд либо труслив уж не в меру. Тебя же жалеючи спрашивают.

– Да ты сам-то кто таков?

– А я, – говорит, – человек небольшой, по прозванию сторож ночной; неподалечку бекет здесь содержим да господ проезжающих в страхе божаем держим!

Целовальник засмеялся.

– Да, и уму-разуму наставляем их, потому как без нашей науки они беспреречно забылись бы... Вот еще онамеднись углицкие купцы тут ехали; ну, я точно что малую толику от них попользовался; однако за это и притчу им сказал: «Который, мол, зверь всех зверей лютее? лев. Кто льва лютее? человек, потому человек человека погубляет, а лев льва никогда. Кто человек лютее? разбойник!.. Так вы, говорю, ваши здоровья, в этом месте поздно ночью не ездите, потому тут шалят...» Так хочешь, что ли, с нами, молодец?

Посумнился я тут с крошечку. Хоть и вижу, что кончанье для меня одно впереди, однако с непривычки все будто робостно.

– Что задумался? или, брат, по пословице: собака волка дерет – и драть не умеет, и отстать не смеет? А ты, коли в тебе живая душа есть, говори прямо: хочешь другом быть?

– Ты бы ему поднес для куражу, Миронич! – говорит целовальник, – а то вишь, он

Невинные рассказы. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru
как от дороги осовел!

Стали мы тут пить и бражничали таким родом дня с три. На четвертый день такие ли други-приятели сделались, словно вот век только друг о дружке и сокрушались. Так и решилась судьба моя в кабаке.

Привел он меня к своей любезной. Муж у ней тутотка на большой дороге въезжий двор держал... так, не больно чтоб очень корыстный. Место это самое глухое да неприятное, и стоял ихний двор, словно торчок, один-одинехонек; кругом верст на двенадцать лес дремучий, по дороге песок по колени; ни воды, ни лужаечки нет – так, дичь одна. Как едет, бывало, кто по дороге, так издалеца еще слышно, как по лесу словно щелканье пойдет. Стало быть, польза от постояльцев была самая пустая; разве уж больно кто обночает, или кони в песках шибко замаются, так к Федоту Карпову на часок завернет, а прочие норовят, бывало, мимо поскорей проехать. Да и жили они как-то сумнительно; у других хозяев и работник и работница путные есть, а у них и всего-то одна работница, да и та немая да дурочка была. Ну, для проезжих господ оно и неприглядно; который и остановится случаем, так все по сторонам озирается, не хотят ли, мол, резать его.

А Федот Карпов самый из себя паренек мизерный да нескладный был. Махонькой да тощей такой, борода это клинушкой, глазки маленькие да врозь разбегаются – даже смотреть гнусно. И все-то, бывало, или на полатях проклажается, либо в окошко сонной глядит, а начнет это работать, так и не глядел бы на него: только в навозе, словно боров, копошится... А со всем этим такой жадай был, что как увидит монету, даже словно обеспамятует весь: этим только и держал его Корней в узде.

Зато на Дарьюшку точно что можно залюбваться было. И высокая-то, и полная-то, и глаза большие навывате, а тело белое да разбелое, словно вот пена молочная скипелась. Одно слово, отдай все, да и мало. Пойдет это по горнице или даже на месте шевельнется, так вся тебе кровь в голову вдруг и кинется... Песни тоже петь мастерица была: что хочет над тобой своим голосом сделает! И тоской-то тебя всего зальет, и удалью да молодечеством сердце разутешит, словно вся человеческая душа в руках у ней была. Жила, вишь, она прежде у одного господина молодого в любовницах, однако вышел ему срок жениться, он и выдал ее за Федота. От него и песни-то петь она выучилась.

Пришли мы к ним около полдён; смотрим, Дарьюшка у ворот сидит, на солнышке греется. Поздоровались.

– Жить, что ли, у нас будете? – спрашивает Дарьюшка, а все на меня исподлобья посматривает.

– Да, – говорит Корней, – покудова до тепла надобно будет прожить.

– А после куда?

– А куда путь лежать будет... верного еще ничего сказать теперь не могу.

Только она на эти его слова ровно усмехнулась; только так-то нехорошо да обидно, что разом мне Корнеевы слова вспомнились, которые он целовальнику в кабаке говорил.

– Чего смеешься? правду говорю, что остатние дни у вас здесь валандаюсь! – говорит Корней.

– Ну, и с богом! – отвечает Дарьюшка, а сама все на меня да на меня поглядывает.

Словно помертвел Корней.

– Ишь ты, подлая! – говорит.

Однако она ничего; сидит себе да знай полегонечку посмеивается.

– Так неужто ж, мол, мне всем твоим прихотям подражать? – говорит, – хочешь идти, так иди... плакать по тебе, что ли?

– И уйду; только так я тебя на прощаньи приголублю, что век ты меня не забудешь... змея ты!

Невинные рассказы. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru

Чудно мне это показалось. «Будь, думаю, я на Корнеевом месте, не посмотрел бы на косы твои русые!» Однако он смолчал; только все у него нутро, словно у зверя лесного, зарычало.

В тот же вечер у них с Федотом Карповым дело чуть не до убийства дошло, и все опять эта Дарьюшка на озорство завела.

– Слышал, – говорит, – Федот Карпыч, что Корней Мироныч от нас в дальны стороны собирается?

Как сказала она это, Федот Карпов даже помертвел весь. Ну, и Корней словно потупился. А она заместо того, чтоб смирять их, только пуще друг на дружку натравливает.

– Сказывают, как это там хорошо да привольно, и реки-то, слышь, молочные, и берега-то кисельные, и воруют-то все безданно-беспошлинно... ин и тебе за ним уж бежать, Федот Карпыч?

Слушает это Федот, а у самого даже бороденка словно лист трясется.

– Правду, что ли, баба лает? – говорит.

Ну, солгать бы тут Корнею: пошутил, мол, и вся недолга; однако он или посовестился, или не нашелся с первого разу: пробормотал что-то невнятно в ответ и замолчал.

– Ан врешь ты! – говорит Федот, – не посмеешь отсель уйти!

А сам и заикается-то, и по столу-то кулаком бьет...

– Али люб тебе стал? – говорит Корней.

– Люб не люб, а у меня с тобой счеты есть... В кабалу ты ко мне шел!

Ну, лезет на Корнея, да и шабаш, даже на месте словно скачет; и кулачишком-то, и головой-то ему в брюхо норовит... удивление, да и только!

– Ты, – говорит, – женой у меня завладал; так задаром, что ль, я тебе ее отдал?

– Ишь тебя больно спрашивались...

А Федот все одно:

– Издохнешь, – говорит, – мне служивши! убью я тебя и в ответе не буду!.. потому – ты вор... да, говорит, вор, вор, вор... разбойник ты!

Корней только знай рукой отмахивается, как он слишком на него наскакивать начнет.

А Дарьюшка, сделавши свое дело, ушла за перегородку, словно горя ей мало; только и слышно, как она там позевывает да потягивается.

– Часто этак-то у вас бывает? – спрашиваю я ее.

– А кто их знает? Каждый день все ссору да драку заводят... Что на них смотреть-то? Да неужго взаправду Корней на чужую сторону собирается?

– Да, взаправду.

– Куда?

– А куда глаза глядят.

– Ну, и бог с ним!

– Будто тебе его не жалко?

Невинные рассказы. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru
Так она, братец мой, не то чтоб поскучать или хоть бы задуматься – все же чужой человек перед ней, – даже засмеялась в ответ.

– Ты, – говорит, – с Корнеем, что ли?

– С Корнеем.

– Напрасно... кабы ты с нами остался, и Федот бы Карпыч Корнея отпустил...

Говорит это, да так-таки прямо в глаза мне и смотрит.

– А намеднись, – говорит, – офицер проезжий у нас становился, так раза с четыре ворочался: все бежать с собой меня сманивал! И опять приехать обещался...

– А Корней чего смотрел?

– Что Корней! Известно, в хлеву злобствовал! Разве его в горницу пуцают, когда приезжие господа есть?

– Видно, ты таки охоча гулять-то!

– А для че не гулять, когда гулять можно... весело гулять! Вот у меня барин был миленький – уж то-то мы с ним погуливали!.. Хочешь, что ли, песню тебе спою?

Сняла со стены гитару, да словно разлилась тут вся:

Ах где, жена, была, где, сударыня, была?

Я была, сударь, была у попа в гостях...

И поет-то, и плечьми-то подергивает, и каблучками-то пристукивает... всякая словно жилка в ней вдруг заговорила!

А грудь-то белая да полная тяжеленько это под гитарой мечется, ровно моченьки у ней нет, ровно истомило ее всю, измаяло! Так оно хорошо да сладко, что и Корней с Федотом лаяться перестали, а у меня даже свет в глазах помутился!.. Как легли мы после того с Корнеем на сеннице спать, долго она мне сквозь сон все мерещилась!

Жили мы у них с месяц места, ничего не делавши; однако я укрепился, против товарища подлецом сделаться не хотел. Подивился я тут на Корнея! Уж на что, кажется, крепкий человек был, а перед ней и даже перед этим Федоткой словно овца смирялся: что хотели из него делали. Она, бывало, и за водой его посылает, и кушанье стряпать велит – все справлял!

По времени и совсем тепло установилось. Стал Федот Карпов нам докучать, что мы только руки склавши сидим да чужой хлеб едим. Начал и я Корнею вспоминать, что не затем в товарищи к нему пошел, чтоб у бабы под юбкой прятаться...

Вот вышли мы со двора поздно вечером, на самый егорьев день. За десять верст от двора и место у нас было такое назначено, чтоб с товарищами сойтись. Только идем мы опушкой, а у меня словно сердце в груди измирает: то, знаешь, робость непереносная всего обхватывает, то вдруг такую в себе силу и мочь почувствуешь, что, кажется, не шел, а летел бы вперед да вперед. И чего-чего тут не передумаешь! и стоны-то загодя тебе слышатся, и кровь будто перед глазами проливается...

И ничего-таки этого не бывает, и все, братец ты мой, это один разговор! Настоящий разбойник никогда не убивает; убивает больше мелкий воришка, который с предметом своим совладать не может. А у нас всякое дело миром кончается: одна часть тебе, другая часть нам, и ступай на все на четыре стороны! Случается, правда, что бабы от страха пищат, – ну, и Христос с ними, пускай пищат!

Потому – какая для нас корысть человека жизни лишать? Первое дело – грех занапрасно на душу возьмешь, а второе дело – след непременно оставишь. Иной, свою часть вручивши, погорюет-погорюет, да и бросит дело так, потому дорожному человеку с полицейскими связываться тоже не приходится. Ну, а как убьешь-то его, он волей-неволей на тебя пожалуется; пойдут это шарить да сыскивать, и хоть ничего настоящего не найдут, однако на целый месяц все дело тебе перепакостят.

Невинные рассказы. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru
В эту ночь мы барина остановили. Молоденький такой да нежненький, а трясется, сердечный, один на тележке. Шибко он нас испугался, даже смешался совсем.

– Что ж ты не везешь, каналья ты этакая! – кричит ямщику, а сам почти плачет. Ну, денег у него мы не густо нашли, потому домой в побывку налегке ехал, а взяли у него чемоданишко, часы золотые да перстенок с руки. Больно мне его жалко было. И то говорил Корнею: «Что, мол, младость обижать?» Однако он не послушал: «Не смотри, говорит, что, младость; вырастет, такой же супостат будет!»

В другую ночь, видим, целый рыдван по дороге шестериком ползет. Ну, так и мерещится мне, что Семериков это рыдван.

– Братцы, – говорю, – голубчики! никак, это мой едет!

Однако вышел не он, а барин какой-то большой. Растянулся себе на подушках барин любезный, спит во всю ивановскую, а у самого крест на манишке болтается. Ну, мы его разбудили.

– Ваше благородие, – говорит Корней, – извольте вставать, на станцию приехали!

Только он поначалу высоко было взял.

– Как вы смеете! – говорит, – да вы знаете ли, говорит, что я вас туда упеку, куда Макар телят не гоняет!..

И все это на крест свой показывает – такой старикашка затейный! Однако Корней его сразу смирил.

– Чтобы тебе, ваше благородие, не повадно было вздор болтать, так я, – говорит, – креста этого тебя лишая!

Урезонился он маленько, стал прощенья просить. Много он нам ласковых слов говорил: что и воровать-то стыдно, что и братья-то мы все, что обижать нам друг дружку, стало быть, не приходится; однако как наше дело к спеху было, мы вслушаться в его речи настоящим манером не могли, и так-таки вчистую его обобрали, что даже лошади после того от легкости рысцей побежали.

Стащили мы нашу добычу в лес, в самую тущобу, и хворостом там ее завалили. Только в лесу долго оставаться еще неспособно было. И по дороге, и в поле уж сухо, а в лесу еще земля словно не весь пар отдала. Приклонишься книзу, даже видишь, как земля на глазах твоих отходить начинает, а в иных местах, где поглуше, словно вот легкая-легонькая пеленочка еще лежит – ледок, значит. А из-подо льду уж и травка зелененькая выбивается.

Воротились мы на постоялый ранним утром, чуть еще солнышко показалось. В горнице, видно, еще спали; только немая работница за ворота вышла, позевывает да на восход крестится; да и та, увидевши нас, словно испугалась, и вдруг ни с того ни с сего в ворота шарахнулась... что за чудо! Однако Корней, должно быть, чутьем беду свою почуял и сам за ней следом ударился...

Только я уж застал, как он Федота допрашивал; вижу, на нем и звания лица нет, а Федот стоит у стены в одной рубашке, волосы это растрепаны, рожа немытая; стоит да под рукой его, ровно комар, топорщится.

– Куда убегла? сказывай! – говорит Корней.

И не то чтоб шибко выкрикивает, однако даже мне от его голосу жутко стало.

Ну, и Федотке, видно, не до разговоров пришлось; лепечет что-то про себя да руками разводит.

– Продал ты, что ль, ее? – опять говорит Корней, – сказывай, сказывай же ты мне, аспид ты эдакой!

Собрал он его, братец ты мой, в охалку и грянул об пол. Уж топтал он, топтал, уж возил он его по полу-то, возил!.. Давно и душонка-то его смрадная, чай, в тартарары пошла, а он все сытости не чувствует... Возьмет это, поднимет его с полу, и опять обземь как шваркнет!

Ну, под конец и сам измаялся; грянулся это на лавку да как завопит, да застонет, аж вчуже меня холодный пот прошиб!

Часа через два мы этот проклятый постоялый двор со всех четырех углов зажгли. Так и сгорел со всеми пожитками; даже немая, по глупости своей, выбежать не успела...

И пошли мы после того во путь во дороженьку, отреклись от мира прелестного, поклонилися бору дремучему, и живем, нече сказать, ни худо ни красно, а хлеб жуем не напрасно.

Странствуем мы с ним по русскому царству, православному государству, странствуем по горам, по долам, по лесам, по полям, по зеленым лузам, а больше около большой дороги держимся.

Весело, брат! это уж говорить нечего... то есть, просто у нас житье-пережитье!.. Однако идешь это иной раз по опушечке, и вдруг на тебя дурость найдет... Растужишься, разгорюешься и падешь где-нибудь под елочкой, тяжельно вздыхаючи, горьки слезы роняючи, свою жизнь проклинаячи... И елочка это словно тебя понимает: так-то плавно да заунывно лапами своими над тобой помавает: вздохни, мол, замученный! вздохни, бесталаный, несчастный! вздохни, сирота, сиротский сын!

Одно нехорошо: не могу я вообразить, как бы с Семериком свидеться... Слушай ты! Недавно сплю я и вижу, будто передо мной Семеричище-горынчище стоит. Стоит это преогромный такой, и вширь и ввысь раздался, и всей будто тушей своей на меня налегчи хочет... Начал было я тут тосковать да вперед рваться, чтобы, то есть, жажду свою на нем утолить, однако словно вот сковало меня всего: лежу на земле, ни единым суставом шевельнуть не могу... И вот, братец ты мой, какое тут чудо случилось! Смотрю я на него и вижу, словно стал он, Семеричище, пошатываться да поколыхиваться; ну качался-качался, даже в лице исказился совсем, да как грохнется вдруг сам собой наземь! Налетели это птицы-коршуны, расклевали телеса его неженные, кости белые люты звери разнесли... И на том самом месте, где Семерик стоял, выросло будто божье деревцо, божье деревцо живительное, от всех ран-скорбей целительное... Уж куда хорош этот сон!

И другой еще сон я видел: прихожу будто я в град некий, и прихожу не один, а с товарищами: такие приятели есть, сотскими прозываются. Подхожу это к палатам пространым: с четырех концов башни высятся, спереду стоят батюшки-солдатушки; стоят солдатушки, ружьем честь отдают, за белы руки меня принимают, принимаячи разутешными речами ублажают: «Ты войди, мол, к нам, вор-разбойничек! душегубчишка ты окаяненький! Отдохни ты у нас в остроге каменном, за затворами крепкими-железными!»

Третий сон я видел: стою я на месте высокиим, и к столбу у меня крепко-накрепко руки привязаны. Собралось тут народу видимо-невидимо, все на меня позевать-поглазеть, на меня, на шельмецкого шельмеца, на разбойника!

И молился я тут спасову образу,
И на все стороны низко кланялся:
Вы простите меня, люди божи,
Помолитесь за мои грехи,
За мои ли грехи тяжкие!
Не успел я на народ возрители,
Как отсекли мою буйну голову
Что по самые плечи могучие...
Ну, этот сон нельзя сказать, чтоб пригож был... Однако не лучше ли нам это бросить-забыть...

Ах, в горе жить, некручинну быть!
А и горе-горе, гореваньице!
Ах, в горе жить, некручинну быть,
Нагому ходить – не стыдится!
ЗАПУТАННОЕ ДЕЛО
Случай
I

«Будь ласков с старшими, невысокомерен с подчиненными, не прекословь, не спорь,
Страница 114

Невинные рассказы. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru
смиряться – и будешь ты вознесен премного: ибо ласковое теля две матки сосет».

Такого рода напутственный завет был произнесен Самойлом Петровичем Мичулиным двадцатилетнему его детищу, отправлявшемуся из дома родительского на службу в Петербург.

Самойло Петрович, бедный мелкопоместный дворянин, в простоте души своей был совершенно уверен, что, снабженный подобными практическими наставлениями, Ванечка его, без всякого сомнения, будет принят в столице с распростертыми объятиями. На всякий случай старик, однако ж, кроме душеспасительного слова, вручил сыну тысячу рублей денег с приличным наставлением носить их всегда при себе, не мотать, не мытарствовать, а тратить себе помаленьку.

«Дитя оно молодое, – думал добродетельный старик, – и повеселиться, и пожуировать жизнью захочет – бог с ним! Да притом же и объятия-то... кто его знает! прижимист, сухосерд нынче стал человек».

И вот уже около года живет юноша в Петербурге, около года он добронравен, не прекословит, смиряется и на практике во всей подробности осуществляет отцовский кодекс житейской мудрости – и не только двух, но и одной матки не сосет ласковое теля!

А между тем он ли не уклонялся, он ли не угождал, он ли не нагибался! Кротче сердцем, смиреннее душою, кажется, в целом мире нельзя было сыскать человека! и все-таки от всей фигуры фортуны видел он один только зад... пренеприятное дело!

Сунулся было Иван Самойлыч к нужному человеку местечка попросить, да нужный человек наотрез сказал, что места все заняты; сунулся он было и по коммерческой части, в контору купеческую, а там все цифры да цифры, в глазах рябит, голову ломит; пробовал было и стихи писать – да остроумия нет! От природы ли голова его была так скупко устроена, или обстоятельство кой-какие ее сплюснули и стиснули, но оказывалось, что одна только сфера деятельности и была для него возможною – сфера механического переписывания, перебеливания, да и там уж народ кишмя кишит, яблоку упасть некуда, все занято, все отдано, и всякий зубами за свое держится...

Словом, вся жизнь господина Мичулина, с самого его въезда в Петербург, была рядом мучительных попыток и исканий, и все без результата... А отцовские деньги все уходили да уходили, а желудок просил есть по-прежнему, да и кровь-то еще молода и тепла в жилах... просто ни на что не похоже!

Поникнув головою, тихим шагом возвращался Иван Самойлыч домой после одной из ежедневных и неудачных своих экспедиций.

Дело шло уж к десяти часам вечера. Печальное и неприятное зрелище представляет Петербург в десять часов вечера, и притом осенью, глубокою, темною осенью. Разумеется, если смотреть на мир с точки зрения кареты, запряженной рьяною четверкою лошадей, с быстротою молнии мчащих ее по гладкой, как паркет, мостовой Невского проспекта, то и дождливый осенний вечер может иметь не только сносную, но даже привлекательную физиономию.

В самом деле, и туман, который, как удушливое бремя, давит город своею свинцовою тяжестью, и меленькая острая жидкость – не то дождь, не то снег, – докучливо и резко дребезжащая в запертые окна кареты, и ветер, который жалобно стонет и завывает, тщетно силясь вторгнуться в щегольской экипаж, чтоб оскорбить нескромным дуновением своим полные и самодовольно лоснящиеся щеки сидящего в нем сытого господина, и гусиные лапки зажженного газа, там и сям прорывающиеся сквозь густой слой дождя и тумана, и звонкое, но тем не менее, как смутное эхо, долетающее «пади» зоркого, как кошка, форейтора – все это, вместе взятое, дает городу какую-то поэтически улетающую физиономию, какой-то обманчивый колорит, делая все окружающие предметы подобными тем странным, безразличным существам, которые так часто забавляли нас в дни нашей юности в заманчивых картинах волшебного фонаря...

И покачивается себе сытый господин, самодовольно развалившись на мягких подушках, и сладко жмурит глаза, одолеваемый неопределенною, но тем не менее мягкою дремотою, необыкновенно вкрадчивым, но вместе с тем и необыкновенно сладким полужабьем... И напоминает ему оно, это волшебное полужабье, то блаженное состояние, которое каждый из нас более или менее ощущал в детстве,

Невинные рассказы. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru слушая долгим зимним вечером бесконечно-однообразные и между тем никогда не утомляющие, давным-давно переслушанные и между тем всегда новые, всегда возбуждающие судорожное любопытство рассказы старой няни о Бабе-яге-костяной-ноге, об избушке на курьих ножках и т. п.

Притаились дети вокруг стола в узкой и низенькой детской! молчат они и не пошевельнутся; нет улыбки на розовых губках их, не слышно свежего, звучного смеха, за минуту перед тем оглашавшего комнату; все мускулы на этих полных жизни личиках выразили какое-то напряженное внимание; тусклый и трепещущий свет разливают кругом давно забытая и страшно нагоревшая светильня сальной свечки; обычно тихо и мерно дрожит древний голос древней няни старую сказку о Змее Горыныче... Люблю я это морщинистое лицо старой няни, люблю ее желтые, костлявые руки, люблю ее уверенность, будто она действительно вяжет чулок, между тем как на деле только спускает одну петлю за другою; люблю ее воодушевление, ее сочувствие к высокой добродетели Полкана-богатыря, Бовы-королевича; люблю ее движение, когда она, внезапно помолодев и озаренная какою-то юною силою, стучит дряхлым кулаком по столу, приговаривая: «Дернет Полкан-богатырь за руку – рука прочь; схватит за голову – голова прочь...»

И сжимается детское сердце страхом великим, и сочувствует Илье Муромцу, следит за борьбой его с страшным Соловьем-разбойником, и робко вглядываются зоркие глазки в темный угол комнаты, высматривая, нет ли там Бабы-яги, не затаился ли где-нибудь ехидный Змей Горыныч, и весело смеются и хлопают дети в ладоши, когда няня неопровержимыми доводами доказывает им, что Змей Горыныч давно окошел и издох, гадина, стараниями разных добродетельных витязей... И сладко засыпают они, резвые дети, и самые розовые мечты убаюкивают юные воображения их, точно так же, как убаюкивают они и того господина, который сквозь туман и ветер едет себе в уютной карете своей, между прочим твердо уверенный, что ни туман, ни ветер не огорчат пухлых и благовоспитанных щек его.

Но не в карете ехал, а шел себе скромно пешком Иван Самойлыч, и потому весьма естественно, что петербургский осенний вечер утрачивал в его глазах свой благонамеренный характер. Холодный и резкий ветер, дувший ему в самое лицо, не навевал на него сладостной дремоты, не убаюкивал его воспоминаниями детства, а жалобно и тоскливо стонал около него, нагло набрасывая ему на глаза капюшон его шинели и с видимым недоброжелательством насвистывал в уши один и тот же знакомый припев: «Озяб, бедный человек! хорошо бы бедному человеку у огня да в теплой комнате! да нет у него ни огня, ни теплой комнаты, озяб, озя-яб, бедный человек!»

Конечно, и в ступающем по грязи человечестве рождались кой-какие мысли по поводу дождя, ветра, слякоти и других неприятностей, но это были скорее мысли черные и неблагоприятные, вращавшиеся большею частью около того пункта, что есть, дескать, в мире, и даже в самом Петербурге, люди сытые, которые едут теперь в каретах, которые сидят себе покойно в театрах или просто дома один на один с нежною подругою; но что этот господин, едущий в карете, мигающий из кресел смазливенькой и затейливо поднимающей ножку актрисе, сидящий один на один с миловидной подругой и прочая, – вовсе не оно, странствующее во мраке грязи и невежества человечество, а совсем иной, совершенно ему незнакомый господин...

«Что же за доля моя горькая! – думал Иван Самойлыч, всходя по грязной и темной лестнице в четвертый этаж, – ни в чем-то мне счастья нет... право, лучше бы не ехать сюда, оставаться бы в деревне! А то и голодно-то, и холодно...»

В дверях его встретила хозяйка квартиры, Шарлотта Готлибовна Гётлих, у которой он нанимал весьма маленькую комнату с одним подслеповатым окном, выходившим на самую помойную яму. Шарлотта Готлибовна взглянула на него недоверчиво и покачала головой; в первой комнате раздавались шумные голоса собравшихся нахлебников: голоса эти неприятно поразили слух Ивана Самойлыча. С некоторого времени он стал как-то задумчив, сделался мизантропом, убегал всякой компании и вообще вел себя довольно странно.

И нынче, как всегда, пробрался он потихоньку в свою комнату, молча выпил поданный ему стакан чая, бессознательно выкурил обычную трубку вакштафа и начал думать... На этот раз мыслей оказалось нестерпимо много, и все такие чудные, одна другой страннее.

В сущности, дело было чрезвычайно просто и немногосложно. Обстоятельства Ивана

Невинные рассказы. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru
Самойлыча были так плохи, так плохи, что просто хоть в воду. Россия – государство обширное, обильное и богатое – да человек-то глуп, мрет себе с голоду в обильном государстве!

А тут, кроме безденежья, еще и другие горести завязались и окончательно сбили с толку героя нашего. Припоминая все, что сделал он со времени отбытия из дома родительского в обеспечение своего голодного желудка, господин Мичулин впервые усомнился, действительно ли поступал он в этом деле как следует, и не обманывал ли себя насчет покорности, уклонения, добронравия и других полезных добродетелей.

Впервые, как будто бы сквозь сон, мелькнуло у него в мозгу, что отцовский кодекс житейской мудрости требовал безотлагательного и радикального исправления и что в некоторых случаях скорее нужен наскок и напор, нежели безмолвное склонение головы.

Но малый-то он был по преимуществу скромный и безответный, да притом же и оробел ужасно. Приехал он в Петербург из провинции; жизнь казалась в розовом цвете, люди смотрели умильно и добродетельно, скидали друг перед другом шляпы чрезвычайно учтиво, жали друг другу руки с большим чувством... И вдруг оказалось, что люди-то они все-таки себе на уме, такие люди, что в рот пальца им не клади! Ну, куда же тут соваться с системою смиренномудрия, терпения и любви!

И куда ни обернется он, за что ни схватится – все вокруг него глядит как будто самостоятельно. Шел он, например, давеча по Невскому – навстречу начальник отделения идет, и крест на шее, и вид такой привлекательный... А ведь еще молодой человек! Конечно, он уж и полноват, и с брюшком, а все-таки молодой человек. Вот и он тоже молодой человек, а не начальник отделения... Что за притча такая!

Встретил он также щегольские дрожки: лошади отличные, пристяжная так и подкидывает; в дрожках едет господин с орлиным носом и пронизательными глазами смотрит на мир, как будто взором своим хочет повертеть дыру во вселенной.

– Смотрите-ка, – говорят кругом, – это В*** едет! пройдоха, кулак, бестия! а ведь что за голь, что за голь-то была! просто, с позволения сказать, в одной рубашке хаживал.

И между тем В*** еще молодой человек, да ведь и он, Мичулин, молодой человек, а не ездит же в щегольских дрожках!

А вон и еще молодой человек – этот даже совсем розовый молодой человек, а ведь на нем одно пальто рублей шестьсот стоит; он и весел, и беспечен, все движения его живы и непринужденны, смех его звонок и свободен, глаза бодры и светлы, на щеках здоровье ключом бьет. Актриса ли мимо проедет – улыбнется ему, да и он актрисе улыбнется; важный человек встретится, руку ему жмет, шутит с ним, смеется...

– Этот молодой человек – князь С***, – говорят все кругом... Да ведь и Иван Самойлыч молодой человек, а он уж и хил, и желт, и согнут, да и актриса ему не улыбается...

Да уж что тут далеко ходить, в отвлеченности пускаться! в одинаковой с ним сфере, подле него, все нахлебники пользуются хоть какую-нибудь ролью, каким-нибудь значением, одним словом, действуют как люди взрослые и самостоятельные... Иван Макарыч Пережиги, например, был некогда мирным деревенским жителем и затравил на своем веку не одну сотню зайцев. Конечно, и зайцы, и деревня – все это было уж очень давно; конечно, в настоящую минуту Иван Макарыч пользовался несколько двусмысленною репутацией насчет способов жизни, да ведь в этом виновна уж собственная его блудная натура, да притом хоть как-нибудь, а доставал-таки он себе кусок хлеба. Жил тут же и Вольфганг Антоныч Беобахтер, философии кандидат; этот служил, а в свободное от занятий время играл на гитаре различные бравурные арии. Вместе с ним проживал еще Алексис Звонский, чрезвычайно сведущий и ученый молодой человек; этот писал стихи, ставил фельетон в газету. Наконец, рядом с Иваном Самойлычем обитала Наденька Ручкина: и она была девица сведущая, хотя только по своей части...

Мысль эта давно уж вором кралась в сердце Ивана Самойлыча, и вдруг зависть, глубокая, но бессильная и робкая, закипела в груди его. Все, решительно все

Невинные рассказы. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru оказывались с хлебом, все при месте, все уверены в своем завтра; один он был будто лишний на свете; никто его не хочет, никто в нем не нуждается.

– Да что же я в самом деле такое? – говорил он, прогуливаясь мелким шагом по комнате, – отчего же на меня, именно на меня, обрушиваются все несчастья? отчего другие живут, другие дышат, а я и жить и дышать не смею? Какая же моя роль, какое мое назначение?..

– Жизнь – лотерея! – начал было по привычке отцовский кодекс житейской мудрости, – смиряйся и терпи!

– Оно так, – подзывает между тем какой-то недоброжелательный голос, – да почему же она лотерея, почему ж бы не быть ей просто жизнью?

Иван Самойлыч задумался.

«Ведь хоть бы этот князь! – думал он, – вот он и счастлив, и весел... Отчего ж именно он, а не я? Отчего бы не мне уродиться князем?»

И мысли все росли и росли и принимали самые странные формы.

– Да что же я, что же я такое? – повторял он, с бессильною злобой ломая себе руки, – ведь годен же я на что-нибудь, есть же где-нибудь для меня место! где ж это место, где оно?

Так вот какая странная струна задрезжалась вдруг в сердце Ивана Самойлыча, и задрезжалась так назойливо и бойко, что он уж и сам, по обычной своей робости, не рад был, что вызвал ее.

И все предметы вокруг него смотрели как-то подозрительно и странно, принимали такую настойчивую, вопрошающую физиономию, как будто тащили его за воротник, душили за горло и, приставив к его лбу холодное дуло пистолета, сиплым басом допрашивали его: отвечай же нам, что же ты в самом деле такое?

Бледный, испуганный, упал он на кресло, закрыл руками лицо и горько заплакал...

В голове его внезапно отчетливо нарисовался деревенский его дом, родитель в вязанной из шерсти ермолке, мать, вечно болеющая зубами и с вечно подвязанною щекою, отец дьякон с дьяконицею, отец иерей с попадьей... Как все там просто, как дышит все деревенскою, буколическою тишиною, как зовет все к отдохновению и успокоению!.. И зачем было оставлять все это? зачем было менять известное, полное самых приятных и вкусных ощущений, на неизвестное, чреватое горестями, огорчениями и другим дрязгом? Зачем было соваться с кротостью и смирением туда, где нужны дерзость и упрямое преследование цели?

А между тем в соседней комнате раздался знакомый Ивану Самойлычу голосок, напевавший известную арию из «Русалки»:

Прийди в чертог ко мне златой,
Прийди, о князь мой дорогой...
Голосок был небольшой, но необыкновенно мягкий и свежий. Господин Мичулин невольно начал прислушиваться к пению и задумался... И думал он много, и сладко думал, потому что в знакомом маленьком голосе было что-то юное, как будто дающее крылья его утомленному воображению.

Странное действие производят на нас иногда самые ничтожные, по-видимому, явления! Часто самого пустого обстоятельства, просто звуков какой-нибудь нелепой шарманки или голоса разносчика, тоскливо и протяжно вопиющего: «Игрушки детские, игрушки продать!» – достаточно для того, чтоб расстроить всю умственную систему какого-нибудь важного господина, разбить в прах все эти штуки и экивоки, которые на пагубу человечества в голове его строятся...

Так точно было и с песенкой, вылетавшей из соседней комнаты. Песенка была самая простая, лилась себе ровно и без претензий, и вдруг поразила слуховой орган Ивана Самойлыча и, сама не зная как, совершенно расстроила все его соображения о смысле и значении жизни, о конечных причинах и так далее. И стал было господин Мичулин сам подпевать и звать к себе дрожащим голосом дорогого князя, стал бить ногою такт и улыбаться и покачивать головою... Но вот тихо-тихо замер последний

Невинные рассказы. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru
звук песенки, еще раз, и уж в последний раз стукнула в такт нога Ивана Самойлыча, еще раз ускоренно стукнуло его сердце, и вдруг ничего не стало слышно, и прежняя темнота опустилась на его душу, прежний холод охватил сердце...

Потому что не он, а другой был тот дорогой князь, которого звала песенка в золотые чертоги, потому что ему наотрез было сказано, «что уж чему не быть, так уж не бывать, и беспокоиться о том не извольте...»

С горя, чтоб хоть сколько-нибудь рассеять печальные мысли свои, решил он отправиться в общую комнату.

II

Там, в облаках табачного дыма, беседовала вся обычная компания Шарлотты Готлибовны.

На первом плане плотно сидел Иван Макарыч Пережиги. Он был в венгерке весьма лихого покроя и в настоящую минуту курил табак из саженого черешневого чубука. История господина Пережиги весьма проста. Жил он некогда в малороссийской своей деревне, травил зайцев, и вдруг – кто его знает? – запил ли он, проигрался ли в пух, или просто другие какие-нибудь независимые обстоятельства приключились, – только в одно прекрасное утро и зайцы, и деревня как-то исчезли, и он принужден был отправиться искать счастья в Петербург. Малый был он видный, сильный и плотный, несмотря на свои сорок лет, и потому не остался долго без занятия... Вообще, с тех пор как он поселился у Шарлотты Готлибовны, благодарная немка стала как-то более приятнее смотреть на мир, чаще улыбалась и несравненно больше послаблений и льгот оказывала нахлебникам.

Жизнь Иван Макарыч вел беззаботную и веселую. Вставал он рано; утром ходил обыкновенно в ближайший трактир, выпивал рюмку горчайшей, сыгрывал, не переставая, партий двадцать в бильярд, к которому с малолетства питал весьма нежную страсть; иногда он давал и десять и пятнадцать вперед, иногда ему давали вперед пятнадцать и десять...

Доконав таким образом утро, он уходил домой обедать, а вечером обыкновенно передавал слушателям эпизоды из своего безвозвратно минувшего благоденствия; рассказывал разные любопытные случаи, бывшие с ним во времена его ожесточенных войн против волков, зайцев и других животных, которых он называл общим, но несколько темным именем «скотов» и «подлецов».

Из этого видно, что жизнь Ивана Макарыча как нельзя лучше содействовала его растительным и воспроизводительным силам.

Характер имел он от природы веселый, но не лишенный легкого сардонического оттенка. Он охотно любил подшутить над учеными и не пропускал никогда случая сказать белокуруму Алексису, который в науках, что называется, собаку съел и читал-таки на своем веку и Бруно Бауера, и Фейербаха:

– Ну, а что, Бинбахер-то все на своем стоит? все говорит, что того-го нет... главного-то, наибольшего-то и нет? Бестия, бестия этот Бинбахер! уж эти мне немцы!.. вот тут они, тут у меня сидят!

Иван Макарыч ударял себя при этом плашмя ладонью по горлу, желая этим выразить, что зарезали, дескать, его немцы, и не без лукавства посматривал на Шарлотту Готлибовну, которая и краснела, и улыбалась в одно и то же время, и с детски наивным простодушием отвечала:

– О, ви очень любезни кавалир, Иван Макарович!

Но при этом оставалось покрытым непроницаемой тайной, кого именно разумел господин Пережиги под неблагозвучным именем Бинбахера – Фейербаха или Бруно Бауера.

По левую сторону от Пережиги рисовалась сама хозяйка квартиры. Это была длинная, прямая и тощая фигура, как будто бы сейчас проглотившая аршин. Движения благородной немки отличались какою-то особенною апатичностью и дубоватостью, неприятно поражающею взор. Как будто все ее мысли, весь ее организм устремились в одну сторону – к любезному ее другу, Ивану Макарычу. Она с немым подобострашием смотрела ему в глаза, с самодовольною улыбкою прислушивалась к

Невинные рассказы. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru звукам его богатырского голоса, как будто хотела всем и каждому на стене зарубить, что это, дескать, все мое; все, что вы тут ни видите, – принадлежит мне, мне без раздела.

Лицо ее было худощаво и покрыто красными пятнами, глаза маленькие, выразившие какое-то ненасытное нахальство, углы губ опущены, и желудок выдавался несоразмерно вперед.

Едва раскрывал Иван Макарыч рот, чтоб сказать слово, как и она, в свою очередь, спешила показать ряд острых и кривых зубов и начинала улыбаться, смотрела ему томно в глаза и, по окончании его речи, гордо окидывала взором все общество.

По всему было видно, что она оставалась совершенно довольна своей судьбою и в особенности не могла достаточно нахвалиться Пережигой.

Кроме хозяйки и Пережиги, в комнате находились еще два лица: кандидат философии Вольфганг Антонович Беобахтер и недоросль из дворян Алексис Звонский.

Беобахтер, маленький и приземистый, быстрыми, но мелкими шагами ходил по комнате, бормотал себе под нос какие-то заклинания и при этом беспрестанно делал рукою самое крошечное движение сверху вниз, твердо намереваясь изобразить им падение какой-то фантастической и чудовищно колоссальной карательной машины.

Алексис, вытянутый и сухой, сидел около стола и, устремив влажные глаза в потолок, обретался в совершенном оптимизме. Молодой человек размышлял в эту минуту о любви к человечеству и по этому случаю сильно облизывал себе губы, как будто после вкусного и жирного обеда.

По обыкновению, дело шло о вещах, вызывающих на размышление, и таинственный Бинбахер оказывался совершенным подлецом...

– Я вам говорю, все они врут, бестии! – кричал Пережига, – уж как же тут без «него» обойдешься! Это в ихней земле – ну так точно... там оно можно! а у нас... да вы только сообразите, вы только подумайте!

– О, как это правда, о, как это очень правда! – воскликнула Шарлотта Готлибовна, подобострастно глядя в самое лицо своему другу и так близко наклонившись к нему, как будто хотела положить ему в рот длинный и сухой нос свой.

Господин Беобахтер, самым мягким тенором, поспешил объявить, что, несмотря на это, он «все-таки надеется», и тут же почел за долг с необычайной грацией отмахнуть голову какому-то фантастическому, но тем не менее закоренелому врагу преобразований – преобразований таинственных, но уже заранее во всей подробности нарисовавшихся в его воображении.

– Вы материалист, Иван Макарыч, – отозвался Алексис, – вы не понимаете, какая сладость заключается в слове «надежда»! Без надежды холодно, сухо, безотраднo! Одним словом, без надежды нет любви – вот искреннее убеждение моего сердца!

Надо сказать раз навсегда, что Алексис в стихах своих постоянно изображал груди, вспаханные страданием, чела, взбороненные горькою мыслью, и щеки, вскопанные тоскою, но о чем были эти «страдание, горе и тоска» – тайна эта была глубоко скрыта во мраке его мозгового вещества.

– Пожалуй себе, надейся! вот и он надеется, – прервал Пережига, указывая на Ивана Самойлыча, – да ведь яйцо выведенное разве получит!

Все взоры обратились на Мичулина. Он стоял у печки бледный и задумчивый, как будто бы сам глубоко чувствовал свое ничтожество. Сначала и он стал было прислушиваться к общему разговору, хотел было и свое словечко как-нибудь вернуть, но разговор был сухой и ученый, да притом же к нему и не обращался никто, как будто все молчаливо соглашались между собой, что для ученого разговора он не годится.

– Ну что, как делишки? – обратился к нему Иван Макарыч.

Мичулин не отвечал, но еще унылее прежнего окинул взором компанию.

Невинные рассказы. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru
– Говорил я тебе, душа ты горькая, – продолжал Пережиги, – говорил тебе, поезжай в деревню! уж где тебе тут! сирота сиротой выглядишь – а туда же лезешь!

Шарлотта Готлибовна никак не упустила случая, чтоб тут же не удивиться высокой справедливости замечаний своего любезного друга, а Беобахтер все сильнее и сильнее наяривал ручонкою заветное движение сверху вниз.

– А по-моему, вы очень хорошо сделали, что остались здесь, – сказал он, быстро остановившись перед Мичулиным и пристально смотря ему в глаза.

Постояв с полминуты, он приложил палец к губам и самым вкрадчивым тенором продолжал:

– «Ведь в наши дни спасительно страдание!»

– Страдание есть удел человека на земле, – начал было Алексис, – страдать и любить...

Беобахтер сделал отрицательный жест головою, давая тем знать, что Алексис совершенно не в ту сторону перетолковывал слова его.

– Страдание тем приятно, – говорил он таким равнодушным тоном, как будто дело шло о чрезвычайно вкусном обеде, – тем приятно, что вот, как тут прихлопнет, да там притиснет, да в другом месте, тогда...

И он с особенным наслаждением напирал на слова «прихлопнет» и «притиснет».

– Нет, я с тобой никак не могу согласиться, – возразил Алексис, вовсе не стараясь доискиваться, что будет после таинственного «тогда».

Иван Самойлыч решительно не знал, к чьей партии ему пристать: к Беобахтеру ли, доказывавшему несомненную полезность страдания, к Алексису ли, тоже предписывавшему страдание как лекарство от всего, но по какому-то странному обстоятельству никак не соглашавшемуся с кандидатом философии; или, наконец, к Пережиге, уверявшему по чести, что все это вздор, а вот, дескать, у него спросите, так он знает.

– Любовь хорошо! отчего ж и не любовь? – говорил между тем Беобахтер, как будто бы обращаясь единственно к Ивану Самойлычу, а на самом деле, видимо, желая уязвить Алексиса, – да любовь после, а прежде-то... Вы меня понимаете? – продолжал он, еще пристальнее смотря в глаза Ивану Самойлычу.

– Догадываюсь, – отвечал робко Мичулин.

– Отчего же после любовь? – приставал Алексис, – и теперь любовь, и потом любовь! Зачем этот ригоризм!

И умолк, как будто бы словом «ригоризм» он насквозь проткнул своего противника.

Иван Самойлыч между тем собрался с мыслями и заметил компании, что, конечно, может быть, любовь и страдание вещи полезные и спасительные, да обстоятельства-то его из рук вон плохи, – им-то как помочь? страдание, дескать, хлеба не дает, любовь тоже не кормит... Так нельзя ли уж что-нибудь такое придумать, что бы он мог применить к делу.

На это Беобахтер забормотал что-то об индивидуализме; говорил, что думать о себе подло; что если он и погибнет, то это ничего не значит и даже в некотором отношении принесет несомненную пользу для будущего, как реактив.

– Да, как ррреактив! – повторил он, метая из крошечных глаз молнии.

Вообще кандидат философии в этом случае совершенно не пощадил личности Ивана Самойлыча; но так как Алексис остался таким объяснением совершенно доволен, то Беобахтер счел за нужное тут же присовокупить, что все-таки любовь – потом, а прежде...

– Да что ты их слушаешь! – вступился Иван Макарыч, – нет, видно, вы и Бинбахера-то только так говорите, что читали! По-моему, ты просто ступай в

Невинные рассказы. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru
деревню да храни себе на боку! Право, славное будет житье! Так, что ли?

Иван Самойлыч робко усмехнулся; его самого уж давно ласкала эта лакомая перспектива.

– А то, брат, пропадешь, ей-богу, пропадешь! – продолжал Пережиги, – или запьешь с горя – уж я знаю!

Последовало несколько минут молчания.

– Оно, конечно, водка! – снова начал Пережиги, – отчего бы и не выпить? и в глазах светлее, и на людей веселее смотреть, да и горя не чувствуешь... да ведь она, водка-то, вор! – она познание есть зла и добра!

Мичулин стоял у печки бледнее прежнего; Беобахтер искоса поглядывал на него, как Бертрам на Роберта, и весьма затейливо улыбался; Алексис не слушал: он закатил глаза под лоб и беседовал с человечеством.

– Вот и у нас в трактир отставной чиновник ходит, – продолжал Пережиги, – весь трясется, такой оборванный да ощипанный, и глаза гноятся, и руки дрожат; кажется, в чем душа держится, а все пристаёт: поднеси, дескать, Емеле водочки... Да хоть бы польза какая была, а то от водки-то только коробит его да жжет...

Снова минута напряженного молчания.

– А вот, ведь и чиновник был, в службе служил, мундир носил, да и не Емелей, а Данилом Александрычем прозывался, а уж Емелей-то это так, после трактирные прозвали! Да вот выгнан был из казенного места, выгнал его хозяин за неплатеж на улицу – ну, он с горя рюмочку, потом другую, а там и пошел... Познание есть зла и добра!

Последовало опять несколько секунд тягостного молчания.

– А впрочем, по мне как знаешь! – продолжал Пережиги, обращаясь к Мичулину, – оно, конечно, коли хочешь, он и счастлив! дали ему водки – он и забыл, что в разодранных сапогах ходит... право, так!

И внезапно, по какому-то непостижимому сцеплению идей, на Пережигу напал припадок сентиментальности, и он стал восторгаться тем, что за минуту выставлял в глазах Ивана Са-мойлыча как вещь, которой должно всячески остерегаться. Шарлотта Готлибовна тоже круто переменяла образ мыслей и заранее глубоко вздохнула.

– Да еще как счастлив-то! – говорил Иван Макарыч, – пуще князя всякого счастлив, поди-тка ты, чай, какие ему сны видятся! – не надо ему ни дворцов, ни палат! – вот она, школа жизни-то, вот! а то что вы тут с Бинбахером! в Сибирь его, Бинбахера, на каторгу его!

Долго еще Иван Макарыч не мог успокоить своего филантропического потока, долго сидел он, покачивая головой и приговаривая: «Право, не надобно ему ни дворцов, ни бархату; каждая слеза его...»

Наконец все как будто бы притихли. Беобахтер по-прежнему грациозно двигал рукою сверху вниз, но уже скорее бессознательно, нежели с намерением; Алексис еще более облизывал себе губы, беседуя с человечеством; Иван Самойлыч конфузился и выводил кой-какие заключения из виденного и слышанного.

В это время часы уныло зазвенели одиннадцать. Но и часы били на этот раз как-то особенно злонамеренно. Ивану Самойлычу показалось, будто каждое биение часового колокольчика заключало в себе глубокий смысл и с упреком говорило ему: «Каждая дуга, которую описывает маятник, означает канувшую в вечность минуту твоей жизни... да жизнь-то эту на что ты употребил, и что такое все существование твое?»

Отчего же прежде никогда не говорил ему этого бой часов? отчего прежде окружающие его предметы не смотрели на него с таким вопросительным, испытующим видом?

И едва начинал он в уме своем развивать движение руки Беобахтера, как в мозгу

Невинные рассказы. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru его зарождалась другая мысль, совершенно в pendant[89] к этому движению – мысль страшная, давно не дававшая ему покоя и которая была не что иное, как известное уже читателю из первой главы: «Кто ты таков? Какая твоя роль? Жизнь – лотерея» и проч.

И потом все это исчезало, и на сцену являлся полусгнивший, дрожащий старик и, указывая на водку, говорил: «Познание есть зла и добра».

– Да ведь и не Емеля был он совсем, а, слышь ты, Данило Александрыч, и служил некогда, и молод был некогда, да вот выгнали же его из службы и стал он Емелей, по милости добрых людей.

С ужасом и содроганием вспоминал Иван Самойлыч этот странный анекдот; в голове его вдруг пробежала мысль: «А ну, как и я – Емеля?» – да тут же и примерзла к мозгу – до такой степени эта мысль испугала его...

В таком именно настроении духа подошел он к своей комнате, как вдруг за соседней дверью, ведшей в уединенное жилище девицы Ручкиной, послышался шорох. Сердце его забилось; чудная песенка назойливее прежнего зазвучала в ушах, и все звала, все звала... дорогого князя...

«Идти или не идти?» – думал Иван Самойлыч.

А между тем уж стучался.

– Кто там? – раздался за дверью знакомый свеженький голосок.

– Это я... вы не почиваете, Надежда Николаевна?

– Нет, не сплю... войдите.

Иван Самойлыч вошел; перед ним стояло маленькое, уютное существо, но до того живое и вертлявое, что в одно и то же время виделось во всех углах комнаты; существо розовое и свежее, облеченное только большим под кашемир платком, плохо скрывавшим приятную нежность ее форм и беспрестанно распахивавшимся по причине неимоверной живости движений маленького существа.

«У, какая игривая!» – была первая и совершенно естественная мысль Ивана Самойлыча, но мысль, подобно молнии промелькнувшая минутно и скрывшаяся, как в туче, в мозговом лабиринте своего владельца.

– Что это вы сегодня так долго засиделись, Иван Самойлыч? – отозвалось между тем маленькое существо, переходя от одного комода к другому, от стола к кровати, подбирая с полу разные ниточки, бумажки и все прибирая к сторонке, чтоб ничего не пропало втуне, потому что вперед на черный день пригодится.

– Да я так-с... я насчет того-с... – бормотал сконфуженный Мичулин.

– То есть как же насчет того? уж опять не насчет ли прежнего? и-и-и не думайте, Иван Самойлыч!

Мичулин молчал, хоть внутренно и скорбел, быть может, о том, что ему даже и думать было запрещено.

– А я в театре была... сегодня «Уголино» давали... до страсти люблю трагедии... а вы?

Иван Самойлыч с любовью смотрел на Наденьку и как будто бы соображал, каким образом это крошечное, совершенно водевильное тельце могло до такой степени пристраститься к трагедии.

– Господин Каратыгин играл... уж я плакала, плакала... И какой видный мужчина! Я до смерти люблю плакать...

Господин Мичулин даже хихикнул от умиления.

– Так вы весело провели вечер? – спросил он, а глаза его между тем все сильнее и сильнее разгорались.

Невинные рассказы. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru
– Очень весело! я вам говорю, я ужаси как плакала... особенно когда эта душа Вероника...

– С вами был кто-нибудь?

– Да, кавалер... он, видите, был прежде мой жених, когда я еще у родителей жила... сватался за меня... Такой тоже видный из себя мужчина, яблок нам купил... да я все плакала, мне не до яблок было...

Мичулин вздохнул.

– Что вы сегодня такие скучные? – спросила Наденька.

– Да я так-с... – отвечал он снова, запинаясь, – я ничего-с...

Но Наденька все-таки поняла, в чем дело; она тотчас же, по свойственной ей подозрительности, догадалась, что все это по тому делу, по прежнему.

– Нет, нет, и не думайте, Иван Самойлыч! – сказала она, волнуясь и махая руками, – никогда, ни в жизнь свою не получите!.. Уж я что сказала, так уж сказала! мое слово свято... и не думайте!

И по-прежнему с невозмутимым равнодушием маленькая женщина подбирала с полу бумажки, перевешивала с одной вешалки на другую разные платья и юбки, без всякой, впрочем, совершенно надобности, а единственно из удовлетворения живости и бойкости характера.

– Гм, в жизнь!.. а что такое жизнь? – соображал между тем господин Мичулин, – вот в том-то и штука, Надежда Николаевна, что такое жизнь?.. Не есть ли это обман, мечтание пустое?

Наденька на минуту перестала суетиться и в изумлении остановилась посреди комнаты.

Перед нею стоял все тот же ординарный господин Мичулин, которого она аккуратно видала каждое утро и каждый вечер; все так же геморроиден был цвет его испещренного рябинами лица, только на губах едва заметно играла не лишенная едкости и самодовольства улыбка, как будто бы говорила эта улыбка: «А что, задал я тебе, голубушка, загвоздку; на-тка, поди, раскуси ее!»

– То есть как же обман? – в свою очередь, робко и нерешительно спросила Наденька, думая, что Иван Самойлыч потому, вероятно, заговорил об обманах, что сам намерен употребить в отношении к ней какое-нибудь злостное ухищрение.

– Да так-с, обман! просто обман! Посудите сами, ведь если бы я в самом деле жил, я бы занимал какое-нибудь место, играл бы какую-нибудь роль!

Наденька уж совершенно разуверилась и обдумывала, что бы ей такое поднять с полу.

– Так вы думаете, – сказала она с расстановкою, – что тот только и живет, кто играет какие-нибудь роли?

Иван Самойлыч понял, что под словом «роли» Наденька разумела исключительно те, которые играет господин Каратыгин, и поэтому не нашелся, что отвечать.

– Гм, – сказала девица Ручкина.

– Так я все вот насчет этого дела, – снова начал Мичулин.

– То есть насчет чего же, Иван Самойлыч? если насчет того, то будьте совершенно покойны: уж я что сказала, так уж сказала, а если насчет чего другого, извольте, я с удовольствием.

Иван Самойлыч не отвечал; сердце его надрывалось; слова замирали на губах, и даже что-то похожее на слезу сверкнуло в глазах его... В который раз получал он этот черствый отказ!

Невинные рассказы. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru – Оно не то, Надежда Николаевна, – говорил он дрожащим голосом, – все бы еще снести можно! Да ведь другие!.. Ведь другие-то пьют, другие едят, другие веселятся! Отчего же другие?

Действительно ли несчастье его происходило оттого, что другие живут, другие веселы, или просто присутствие маленького существа, к которому сам питаешь маленькую слабость, еще горчее делает наше горе, – как бы то ни было, но герою нашему действительно сделалось тяжело и обидно.

А между тем Наденька тоже задумалась; она, конечно, заметила эту слезу, но все еще как-то думалось ей, что Иван Самойлыч хитрит, что все это он насчет того дела, насчет прежнего, а назначение и роль были тут только предлогом, чтоб пустить ей пыль в глаза и, пользуясь ее ослеплением, поставить-таки на своем.

– Да, оно, конечно, обидно, – сказала она тонко и деликатно, делая вид, как будто не замечает, куда клонится речь господина Мичулина, – да знаете ли, Иван Самойлыч, уж не пойти ли вам спать?

Иван Самойлыч сознался, что действительно уж поздно и что спать пора.

Лежа на одинокой постели своей, долго не мог заснуть Иван Самойлыч. Все ему чудилось живое, полненькое личико Наденьки, и светло, и роскошно рисовалась и суетилась перед глазами его эта миньютюрная, уютная фигурка, вечно хлопочущая, вечно бегающая... И мерещится ему во мраке его комнаты, что вот сверкнула ее грудь, вот промелькнула около самых его губ крошечная ножка... и ловит он ее взглядом, и усиливается высмотреть в густой темноте это дорогое, мимолетное видение, но тщетно! во мгле тонет взор его, во мгле, в глубокой, непроницаемой мгле, и не успевает он опомниться, как перед ним стоит длинный и тощий вопрос, вопрос насмешливый и недоброжелательный, составляющий все несчастье и гибель его бедной жизни.

И скорее закрыл он глаза, чтоб не видеть этого больного, изнеможенного вопроса, и начал думать о том, как было бы приятно, если бы Наденька... О, если бы Наденька!.. если бы она знала, как бьется сердце бедного Ивана Самойлыча, несчастного Ивана Самойлыча, каждый раз, как долетает до него ее маленький, незатейливый голосок, поющий маленькую, незатейливую песенку!.. Если бы она видела, другими глазами видела, как судорожно и трепетно сжимается это сердце, как прислушивается это ухо, как притопывает эта нога, как преобразается и озаряется внезапным светом и теплотой все это так долго зябнувшее на стуже и непогоде существо! Если бы она видела все это! И как смела и бойка была его мысль, какое будущее готовил он ей, этой дорогой, вечно незабвенной Наденьке! не то чреватое горестями и лишениями будущее, которое на самом деле ждало ее, а будущее ровное и спокойное, где все так удобно и ловко слагалось, где всякое желание делалось правом, всякая мысль становилась делом... если бы знала она!

Но не видела, не знала она ничего! Обидна и груба казалась ей привязанность господина Мичулина, и тщетно раскрывалось сердце скромного юноши, тщетно играло воображение его: ему предстояла вечная и холодная, холодная мгла!

III

Уж мозговое вещество Ивана Самойлыча подернулось пеленою, сначала мягкой и полупрозрачною, потом все более и более плотною и мутною; уж и слуховой его орган наполнился тем однообразным и протяжным дрожанием, составляющим нечто среднее между отдаленным звучанием колокольчика и неотвязным жужжанием комара; уж мимо глаз его пронесся огромный, неохватимый взором, город с своими тысячами куполов, с своими дворцами и съезжими дворами, с своими шпицами, горделиво врезающимися в самые облака, с своею вечно шумною, вечно хлопочущею и суetyющею толпою. Но вдруг город сменился деревнею с длинным рядом покачнувшихся на сторону изб, с серым небом, серою грязью и бревенчатую мостовую... Потом все эти образы, сначала определенные и различные, смешались: деревня украсилась дворцами; город обезобразился почерневшими бревенчатыми избами; у храмов привольно разрослись репейник и крапива; на улицах и площадях толпились волки, голодные, кровожадные волки... и пожирали друг друга.

Но вот и города исчезли в тумане, и деревня утонула в синем, неизглядном озере, и волки скрылись далеко-далеко в густые леса фантазии Ивана Самойлыча... Но что же вдруг так сладко поразило слух его, что зашекетало вдруг, зашевелило бедное его сердце? С тоскою и трепетом вслушивается он в эти вечно милые, вечно желанные

Невинные рассказы. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru
звуки, с томлением и грустью вливает в себя чудную гармонию простенькой песенки,
ласкающей слух его..

– Наденька, Наденька! – молящим голосом говорит Иван Самойлыч.

Но гордо и с обидным презрением смотрит на него, униженного и умоляющего, маленькая женщина. Крошечная ироническая улыбка мелькает на розовых губках ее; миньютюрное негодованье слегка приподняло ее тонкие ноздри и окрасило нежным пурпуром упругие щеки...

– Наденька! – говорит он задышающимся от волнения голосом, – я не виноват, что люблю вас... Что же мне делать, если это выше сил моих!..

И он с трепетом ждет ее слова: он не замечает, что возле нее стоит другое лицо – лицо, принадлежащее ученому другу ее, белокурому Алексису; не замечает, как томно опирается она на руку юноши, какие полные неги и томления взоры от времени до времени обращает к нему...

Но вот и на него взглянула она, но как-то сурово и с недоумением. Обиженным тоном отвечает она ему, что удивляется, каким образом мог он даже подумать сделать ей такое странное предложение; что, конечно, он человек неглупый, и даже начитанный человек, но что и она, с своей стороны, девушка честная, и хотя не дворянка, но не хуже иной дворянки сумеет подать карету не только ему, Ивану Самойлычу, но и всякому другому, даже получше и почище его, кто осмелится подъехать к ней с подобным предложением.

И снова все исчезает в безразличном тумане: и белокурое, но несколько апатическое лицо Алексиса, и миньютюрная, вечно тревожная фигурка Наденьки, и тоскливо звучит вдали знакомая песенка о дорогом князе и золотых чертогах...

– Что же я, в самом деле, такое? – спрашивает себя господин Мичулин, – какое мое назначение, какая судьба моя?

Толпами собираются около него бледные призраки и насмешливо кричат ему: «Ох, устал, устал ты, бедный человек! разломило тебе всю голову!»

Бледный, трепещущий, падает он на колени, прося пощадить его, объяснить ему это страшное дело, не дающее ему ни днем, ни ночью покою, но падает так неловко и неожиданно, что бледные призраки мгновенно исчезают.

В комнате темно; старинная кукушка жалобно прокуковала два раза и замолкла.

«Черт знает, что за дрянь в голову лезет! – подумал Иван Самойлыч, – а вот еще философы утверждают...»

И он было намеревался, не пускаясь в дальнейшие рассуждения, во сне узнать, что утверждают философы, как вдруг за тонкою перегородкою, которая одна отделяла его постель от заветной комнатки, послышались голоса.

Иван Самойлыч начал прислушиваться.

– Уж я вижу, сударь, – щебетал знакомый ему голосок, – уж, пожалуйста, не приводите мне своих резонов, уж пожалуйста... Я все, все насквозь вижу...

– Нет, Наденька! ты ошибаешься, друг мой, ошибаешься, милый ты человек! – отвечал Алексис, стараясь придать голосу своему льстивый тон.

– Уж, пожалуйста, в чем другом, а в этом не ошибусь... Стыдитесь, сударь!

– Да помилуй же, Наденька! право, я нигде не был...

– Я вам говорю, что все насквозь вижу, все ваши хитрости вижу, Алексей Петрович! Уж как вы там меня ни называйте – образованная ли я, или необразованная, – а уж я все-таки вижу!

Алексис молчал.

– Зачем же притворство и коварство? – продолжала между тем Наденька, – уж

Невинные рассказы. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru скажите мне лучше прямо, что я несчастнейшая из женщин!.. Я девушка прямая, Алексей Петрович; я честная девушка, Алексей Петрович, и не люблю ходить вокруг да около... Уж скажите мне просто, что я в слезах должна проводить жизнь!

– Отчего же в слезах, Наденька? – отвечал лаконически Алексис и потом прибавил:
– Отчего же в слезах, милый, хороший ты человек?

И опять все смолкло вокруг Ивана Самойлыча, но не в голове его: там, напротив, началась страшная деятельность, начался шум и стукотня; мысли бегали по мозговым его нервам, перебивали друг у друга дорогу, и вдруг накопилось их такое множество, что он уж и сам не рад был, что проснулся и, как глупая тварь, поддался грубому и животненному инстинкту любопытства...

Не успел еще он хорошенько сообразить, как бы этак, воспользовавшись недоразумением, хитро вырыть ближнему яму, как уж и действительно каким-то образом подкопался под Алексиса. В судьбе его внезапно произошла совершенная и неожиданная перемена; в одно мгновение ока он сделался решительно баловнем фортуны; он ходит по Невскому под руку с молодою женой, в бекеше с седым бобровым воротником, на лбу красуется глубокий шрам, полученный в битве за отечество, а на фраке огромная испанская звезда с бесчисленным множеством углов. Он меняется приятною улыбкою и поклоном с значительными господами, он совершенно доволен своею судьбою и беспрестанно вынимает из кармана необыкновенно массивный хронометр, как будто бы для того, чтоб узнать, который час, а в самом деле для того только, чтоб показать народу: пусть-де видит он, какие на свете бывают удивительные часы и цепочки.

С презрением и иронически улыбаясь, смотрит он на проходящего мимо и дрожащего от холода, в изношенном донельзя темно-вишневом с искрою пальто, Алексиса и делает вид, будто не замечает его. Но Алексис издали завидел знакомую ему маленькую фигурку; он уж спешит к ней с обыкновенным приветствием: «Здравствуй, Наденька, здравствуй, хороший ты, милый человек!» – но вдруг у самых ушей его раздается грозный голос: «Милостивый государь, вы забываете...» – и Алексис, поджав хвост, удаляется поспешными шагами восвояси.

Но вот и четыре бьет на каланче Думы; Иван Самойлыч по привычке уж чувствует в желудке приятную тоску.

– Не прикажешь ли, душа моя, зайти в магазин, купить чего-нибудь к обеду? – говорит он, обращаясь к Наденьке.

– Отчего же и не зайти? – отвечает она с таким философским равнодушием, как будто бы действительно так и быть должно.

И в самом деле, люди богатые; отчего же и не зайти.

Уж с четверть часа стоят они в великолепном магазине.

Наденька, как существо живое и по преимуществу прожорливое, бегаёт из одного угла в другой, переходит от винограда к великолепным бонкретьенам, от превосходных, подернутых легким пухом персиков к не менее превосходному ананасу, всего отвеживает, всего откладывает в свой ридикюль... Но все это в порядке вещей, все так и быть должно; одно только несколько странным кажется Ивану Самойлычу: седой и строгий приказчик как будто подозрительно, как будто исподлобья смотрит на все эти заборы. Он мысленно негодует на такую неуместную недоверчивость; уже рука его протянута, чтоб расстегнуть великолепное пальто и показать негодяю-корыстолюбцу многоугольную испанскую звезду, как вдруг... Но тут его руки опускаются; холодный пот градом катит с благородного чела, он бледнеет, осматривается, щупает себя... Боже! нет никакого сомнения! все это было самообольщение: и испанская звезда, и пальто с удивительно теплым воротником, и одутловатые щеки, и гордый вид... все, решительно все исчезло, как по волшебному мановению! Как и в бывалое время, висит на нем, как на подлой вешалке, его старая и вытертая шинелька, более похожая на капот, нежели на шинель; по-прежнему желты и изрыты рябинами его щеки; по-прежнему согнута его спина и унижен и скареден его вид.

Тщетно толкает он исподтишка неосторожную Наденьку, тщетно мучит он мозг свой, стараясь выжать из него что-нибудь похожее на изобретательность: Наденька, нисколько не конфузясь, услаждает свое небо дарами юга, и, тоже не конфузясь,

Невинные рассказы. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru спит мозг Ивана Самойлыча, тупо и равнодушно смотря на невероятные старания его выпутаться из беды и как будто подсмеиваясь над собственным своим бессилием...

– Десять рубликов и семь гривенок-с! – звучит ему между тем в самые уши страшный голос приказчика.

– Серебром? – шепчет в ответ, заикаясь и совершенно растерявшись, Иван Самойлыч.

– Да, серебром... неужто медными? – решительно и вовсе непоощрительно отвечает тот же самый досадный голос.

Мичулин конфузится еще пуще.

– Так-с; серебром-с... – говорит он, бледнея и между тем ощупывая карманы, как будто отыскивая бывшие в них неизвестно куда завалившиеся деньги, – отчего же-с? я с удовольствием... я человек достаточный... Скажите пожалуйста, а я и не заметил!.. Представьте себе, мой милый, я и не заметил, что у меня в кармане дыра, и какая большая – скажите!..

Но приказчик только покачивает головой.

– А ведь можете себе представить, – продолжает Иван Самойлыч тоном соболезнования, – и пальто совсем новенькое! только что с иголки! ужасно, как непрочно шьют эти портные! Да и не удивительно! Французы, я вам скажу, французы! Ну, а француз, известно, ветром подбит! уж это нация такая... Не то что наш брат русский: тот уж за что примется, так все на славу делает, – нет, далеко не то!.. Скажите, пожалуйста, и давно вы торг ведете?

– Торг-то мы ведем давно, – отвечает угрюмый приказчик, – а деньги-то вы все-таки отдайте...

– Ах, боже мой! право, какой скверный народ эти французы! право, только что с иголки! О, премошенники эти портные!

– Видно, брат, мошенник-то ты! – неумолимо и резко отвечает угрюмый приказчик, – знаем мы вас! у вас у всех карманы-то с дырками, как к расплате приходится! Иван Терентьич! а сходи-ка, брат, за Федосеем Лукьянычем! Он, кажется, тут, поблизости!

Услышав знакомое ему имя Федосея Лукьяныча, Иван Самойлыч совершенно упал духом. Со слезами на глазах и униженно кланяясь, показывает он седому приказчику дырявые карманы своего пальто, тщетно доказывая, что не виноват же он, что за минуту перед тем имел и бобровый воротник, и испанскую звезду, и одутловатые щеки, и что все это, по ухищрениям одной злобной волшебницы, которая давно уж денно и ночью его преследует, вдруг пропало, и остался он дрянь дрянью, что называется, гол как сокол, пушист как лягушка.

– Мамону-то послужить умеешь! – говорит ему бесстрастный голос седого приказчика, – тельцу-то поклоняешься, чреву угождаешь! а что в Священном писании сказано? забыл? грех, брат, тебе! стыдно, любезный!

– Послужил, почтеннейший, попутал лукавый, точно, попутал! – отвечает жалобным голосом Иван Самойлыч, – да ведь это в первый раз; ведь другие едят же...

– Да другие-то почище! Мало ли что делают другие! У других в карманах-то не дырья!

И седой приказчик строго покачивает головой, приговаривая:

– Ишь, с чем подъехал, анафемский сын! ишь ты: и испанская звезда у него была! Знаем, брат, вас! знаем, чревоугодники, идолопоклонники!

А между тем Мичулин робко посматривает на Наденьку. Дерзко и с презрением глядит она на него, как будто хочет окончательно доконать и уничтожить несчастного.

– Так вы вот как, Иван Самойлыч! – говорит она ему, быстро размахивая руками, – так вы изволите на хитростях! вы хотели воспользоваться моею к вам откровенностью! Уж сделайте одолжение! я все понимаю! Может быть, я и

Невинные рассказы. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru
необразованная, и не читала книг... Уж, пожалуйста, не отпирайтесь! я все вижу,
все понимаю, очень хорошо понимаю... все ваши коварства... Сделайте одолжение!

– Да что же я, в самом деле, такое? – бормочет между тем Иван Самойлыч, очень кстати вспомнив, что затруднение именно в том и состоит, что он до сих пор не может себе определить, что он такое, – да чем же я хуже других?

– Известно чем! – лаконически отвечает седой приказчик, – известно чем! у других-то в карманах-то нет дырьев.

– Другие едят, другие пьют... да я-то что ж?

– Известно что! – звучит тот же самый жесткий голос, – можете смотреть, как другие кушают! – но так иронически звучит, как будто бы хочет сказать недоумевающему Мичулину: – Фу, какой же ты, право, глупый! не можешь никак понять самой пустой и обыкновенной вещи!

Иван Самойлыч уж было и смекнул, в чем дело, и начал было углубляться в подробное рассмотрение ответа приказчика, как вдруг слух его поражает другой, еще страшнейший голос – голос Федосея Лукьяныча.

Важно и не мигнувши слушает Федосей Лукьяныч жалобу старого приказчика о том, что вот, дескать, такие-то мошенники и приедалы перерыли всю лавку, наели на десять рубликов и семь гривенок и теперь показывают только карманы с дырьями...

– Гм, – мычит Федосей Лукьяныч, оттопырив губы и обращаясь всем корпусом к Мичулину, – ты?

– Да я, того, – бормочет Иван Самойлыч, – я шел и устал... освежиться захотелось... вот я и зашел!

– Гм, ты не оправдывайся, а отвечай, – основательно возражает Федосей Лукьяныч, окидывая взором всех присутствующих, вероятно, для того, чтоб удостовериться, какой эффект производит на них его соломонов суд.

– За дело ему, за дело! – кричит с своей стороны Наденька, – осрамить меня хотел!.. Уж, пожалуйста, подальше с своими резонами! я очень хорошо все знаю и вижу.

– фамилия? – отрывисто вопрошает суровый голос Федосея Лукьяныча, снова обращаясь к нашему герою.

– Мичулин, – отвечает Иван Самойлыч, но так робко, как будто бы и сам не уверен, точно ли это так и не есть ли это такое же создание блудного его воображения, как и теплое пальто, испанская звезда, одутловатые щеки и проч.

– Имя? – снова вопрошает Федосей Лукьяныч, весьма, впрочем, довольный, что произвел робость и страх в истязуемом субъекте.

– Иван Самойлов, – еще тише и робче отвечает герой наш.

– Эй, любезный, взять его!

Последние слова, очевидно, относились к одному рослому мужчине, как-то случайно тут же прогуливавшемуся.

И вот уже берут Ивана Самойлыча под руки; вот открываются перед ним двери ада...

– Пощадите! батюшки, пощадите! – кричит он, задыхаясь от трепета.

– Да что это, с ума, что ли, вы сошли, Иван Самойлыч? – раздается вдруг у самого его уха знакомый голос, – совсем спать не даете добрым людям! Ведь я очень хорошо понимаю, к чему все это клонится, да уж не бывать этому! сказано, так уж сказано и напрасно вы беспокоитесь и из себя выходите!

Иван Самойлыч открыл глаза: перед ним в заманчивом неглиже стояла миловидная Наденька, та самая Наденька, которая и проч.

Невинные рассказы. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru
IV

– А, это ты, Наденька! – бормочет сквозь сон Иван Самойлыч, – что ж это ты не спишь, душенька? А можешь себе представить, мне привиделось, будто фе-до...

Наденька покачала головкой и ушла.

А между тем Лета, эта услужливая река, снова заливая волнами своим воображение господина Мичулина, снова начинает она шуметь в ушах его, снова беснуется и выходит из берегов своих.

И вдруг он опять очутился на улице; но на нем уже не прежнее щеголеватое пальто, а обыкновенная истертая его шинелька; не благовидна и не горда его осанка, как будто скоробился, сморщился он весь, как будто все члены ему свело от холода и голода...

Не заглядывает он в окна кондитерских, булочных и фруктовых лавок. Сколько соблазнов лежит перед ним в красиво и симметрически расположенных кучках и заперто под замком! И все это заперто, все под ключом! на все это можете глядеть! как выразился недавно с убийственным хладнокровием строгий приказчик...

А дома ждет его зрелище, полное жгучего, непереносимого отчаяния. В холодной комнате, в изорванном платье, на изломанном стуле сидит его жена; около нее, бледный и истомленный, стоит его сын... И все это просит хлеба, но так тоскливо, так назойливо просит!..

– Папа, я есть хочу! – стонет ребенок, – дай хлеба...

– Потерпи, дружок, – говорит мать, – потерпи до завтра; завтра будет! нынче на рынке все голодные волки поели! много волков, много волков, душенька!

Но как говорит она это! Твой ли это голос, милая маленькая Надя? тот ли это мелодический, сладкий голосок, распевавший себе беззаботно нехитрую песенку, звавший князя в золотые чертоги? Где твой князь, Надя? Где твои золотые чертоги? Отчего твой голосок сделался жесток, отчего в нем пробивается какая-то едкая, несвойственная ему желчь? Надя! что случилось, что случилось с тобою, грациозное создание? где веселый румянец твой? где беззаботный твой смех? где хлопотливость твоя, где твоя наивная подозрительность? где ты, прежняя, ненаглядная, миленькая Наденька?

Отчего глаза твои впали? отчего грудь твоя высохла? отчего в голосе твоём дрожит тайная злоба? отчего сын твой не верит твоим словам... отчего это?

– Да ведь и вчера говорили мне, – отвечает ребенок, – что все голодные волки поели! да вон другие же дети сыты, другие дети играют... я есть хочу, мама!

– Это дети голодных волков играют, это они сыты! – отвечаешь ты, поникнув головой и не зная, как увернуться от вопросов ребенка.

Но напрасно стараешься ты, напрасно хочешь успокоить его: он не верит тебе, потому что ему хлеба, а не слов надобно.

– Ах, отчего же я не сын голодного волка! – стонет дитя, – мама,пусти меня к волкам... я есть хочу!

И ты молчишь, подавленная и уничтоженная! Ты вдвойне несчастна, Надя! Ты сама голодна, и подле тебя стонет еще другое существо, стонет сын твой, плоть от плоти твоей, кость от костей твоих, который тоже просит хлеба.

Бедная Наденька! что же не идет он, что не спешит он на помощь к тебе, этот давно желанный дорогой князь твоего воображения? что не зовет он тебя в золотой чертог свой?

С томлением и непереносною тоскою смотрит Иван Самойлыч на эту сцену и тоже уверяет маленького Сашу, что завтра все будет, что сегодня все голодные волки поели. что ему делать? как помочь?..

И ты тоже знаешь, бедная Наденька, что нечем ему помочь, ты понимаешь, что он ни на волос не виноват во всем этом; но ты голодна, подле тебя стонет любимое дитя

Невинные рассказы. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru
твое, и ты упрекаешь мужа, ты делаешься несправедливою...

– Зачем же вы женились? – говоришь ты ему жестким и оскорбительным голосом, – зачем же вы связали себя другими, когда и себе не в состоянии добыть кусок хлеба? Без вас я была счастлива, без вас я была беззаботна... я была сыта... Стыдно!

В свою очередь подавленный и уничтоженный, стоит Иван Самойлыч. Он чувствует, что в словах Нади страшная правда, что он должен был подумать, и много подумать, о том, прилично ли бедному человеку любовь водить, достаточно ли будет на троих его скудного куска... И неумолимо, неумолимо преследует его это страшное «стыдно!».

А между тем в комнате все холоднее и холоднее; на дворе делается темно; ребенок все так же стонет, все так же жалобно просит хлеба! Боже! да чем же все это кончится? куда же поведет это? Хотя бы поскорее пришел завтрашний день! а завтра что?..

Но ребенок уж не стонет; он тихо склонился головкой к груди матери, но все еще дышит!..

– Тише! – едва слышно говорит Наденька, – тише! Саша уснул...

Но что же за мысль гнездится в головке твоей, Наденька?

Зачем же ты улыбаешься, зачем в этой улыбке вдруг сверкнуло отчаяние и злобная покорность судьбе? Зачем ты бережно сажаешь ребенка на стул и, не говоря ни слова, отворяешь дверь бедной комнаты?

– Наденька, Наденька! куда ты идешь? что хочешь ты делать?

Ты сходишь несколько ступеней и останавливаешься... ты колеблешься, милое дитя! В тебе вдруг забилося это маленькое, доброе сердце, забилося быстро и неровно... Но время летит... там, в холодной комнате, в отчаянии ломает руки голодный муж твой, там умирает твой сын! И ты не колеблешься, в отчаянии ты махнула рукой; ты не сходишь – бежишь вниз по лестнице... ты в бельэтаже... ты дернула за звонок... Страшно, страшно за тебя, Надя!

А он уж ждет тебя, дряхлый, бессильный волокита, он знает, что ты придешь, что ты должна прийти, и самодовольно потирает себе руки, и самодовольно улыбается, поглядывая на часы... О, он в подробности изучил натуру человека и смело может рассчитывать на голод!

– Я решилась, – говоришь ты ему, и голос твой спокоен...

Да, спокоен, не дрогнул твой голос, а все-таки спокойствие-то его как будто мертвое, могильное...

И старик улыбается, глядя на тебя; он ласково треплет тебя по щеке и дрожащею рукой привлекает к дряхлой груди своей юный стан твой...

– Да как же ты бледна, душенька! – говорит он ласково, – видно, тебе очень кушать хочется...

Э! да он просто шутник! он превеселый малый, этот маленький старичок, охотник до миленьких, молоденьких женщин!

– Да, я хочу есть! – отвечаешь ты, – мне нужно денег.

И ты протягиваешь руку... Стало быть, ты еще хороша, несмотря на твое страдание; стало быть, есть еще в тебе, несмотря на гнетущую нищету твою, нечто зовущее, возбуждающее застывшие силы шутливого старика, потому что он, не считая, кладет тебе в руку деньги; он не торгуется, хотя и знает, что может купить тебя за самую ничтожную плату...

– Ешьте, – говоришь ты мужу и сыну, бросая на стол купленный ужин, а сама садишься в угол.

– Это жадные волки дали, мама? – спрашивает тебя ребенок, с жадностью поглощая

Невинные рассказы. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru
ужин.

- Да, это волк прислал, – отвечаешь ты рассеянно и задумчиво.
- Мама! когда же убьют голодных волков? – снова спрашивает ребенок.
- Скоро, дружок, скоро...
- Всех, убьют, мама? ни одного не останется?
- Всех, душенька, всех до одного, ни одного не останется...
- И мы будем сыты? у нас будет ужин?
- Да, скоро мы будем сыты, скоро нам будет весело... очень весело, друг мой!

А между тем Иван Самойлыч молчит; потупив голову, с тайным, но неотступно гложущим угрызением в сердце ест он свою долю ужина и не осмеливается взглянуть на тебя, боясь увидеть во взоре твоём безвозвратное осуждение свое.

Но он ест, потому что и его мучит голод, потому что и он человек.

Но он думает, горько думает, бедный муж твой! Страшная мысль жжет его мозг, неотступное горе сосет его грудь! Он думает: сегодня мы сыты, сегодня у нас есть кусок хлеба, а завтра? а потом?... вот о чем думает он! ведь и завтра ты будешь должна... а там опять...

Вот эта страшная, гложущая мысль! Наденька, Наденька! правда ли, что ты будешь должна?..

Ивану Самойлычу делается душно; глухое рыдание заливает грудь его; голова его горит, глаза открыты и неподвижно устремлены на Наденьку...

– Наденька! Наденька! – стонет он, собрав последние силы.

– Да что ж это, в самом деле, за срам такой! – слышится ему знакомый голос, – здесь я, здесь, сударь! что вам угодно? что вы кричите? Целую ночь глаз сомкнуть не давали! Вы думаете, что я не понимаю, вы думаете, что я не вижу... Крепостная я ваша, что ли, что вы на меня так грозно смотрите?

Иван Самойлыч открыл глаза; в комнате было светло, у кровати его стояла Наденька в совершеннейшем утреннем дезабилье.

– Так это... был сон! – сказал он, едва очнувшись, – так ты, того... не ходила к старику, Наденька?

Девушка Ручкина взглянула на него в недоумении. Но вскоре все сделалось для нее ясным как на ладони; ее вдруг осенила светлая мысль, что все это неспроста и что старик-то именно не кто иной, как сам Иван Самойлыч, но уж если она раз сказала: не бывать! – так уж и не бывать тому, как ни хитри и ни изворачивайся волокита.

– Нет, черт возьми! должно же это кончиться? – сказал про себя Иван Самойлыч, когда Наденька вышла из комнаты, – ведь так просто ни за грош пропадешь!

Господин Мичулин взглянул в зеркало и нашел в себе большую перемену. Щеки его опали и пожелтели пуще прежнего, лицо осунулось, глаза сделались мутны; весь он сгорбился и изогнулся, как олицетворенный вопросительный знак.

А между тем нужно идти, нужно просить, потому что, действительно, пожалуй, ни за грош пропадешь...

Да полно, идти ли, просить ли?

Сколько времени ходил ты, сколько раз просил и кланялся – выслушал ли кто тебя? Ой, ехать бы тебе в деревню к отцу в колпаке, к матери с обвязанною щекой...

Но, с другой стороны, тут же рядом возникает вопрос, требующий безотлагательного объяснения.

«Что же ты такое? – говорит этот навязчивый вопрос, – неужели для того только и создан ты, чтоб видеть перед собою глупый колпак, глупую щеку, солить грибы и пробовать домашние наливки?»

И среди всего этого хаоса противоречащих мыслей внезапно восстает в воображении Ивана Самойлыча образ злосчастного Емели... Этот образ так ясно и отчетливо рисуется перед глазами его, как будто действительно стоит перед ним согнутый и трясущийся старик, и может он его ощупать и осязать руками. Все туловище Емели как будто разлезается в разные стороны, все члены будто развинчены и вывихнуты; в глазах слезы гноятся, и голова трясется...

Жалобно протягивает он изнеможенную руку, дрожащим голосом вымаливает хоть десять копеечек и потом указывает на штоф с водкою и приговаривает: «Познание есть зла и добра!»

Иван Самойлыч стоит, как в чадугу; он хочет освободиться от страшного кошмара и не может...

Фигура Емели преследует его, давит ему грудь, стесняет дыхание... Наконец он делает над собою сверхъестественное усилие, хватает шляпу и опрометью бежит из комнаты.

Но на пороге его останавливает Беобахтер.

– Вы поняли, что я говорил вам вчера? – спрашивает он с таинственным видом.

– То есть... догадываюсь, – отвечает Иван Самойлыч, совершенно смущенный.

– Разумеется, это были только некоторые намеки, – снова начинает кандидат философии, – ведь это дело сложное, очень сложное, всего и не перескажешь!

Минутное молчание.

– Вот, возьмите это! – прерывает Беобахтер, подавая Мичулину крохотную книжонку, из тех, которые в Париже, как грибы в дождливое лето, нарождаются тысячами и продаются чуть ли не по одному сантимому.

Иван Самойлыч в недоумении берет книжку, решительно не зная, что с нею делать.

– Прочтите! – говорит Беобахтер торжественно, но все-таки чрезвычайно мягко и вкрадчиво, – прочтите и увидите... тут все!.. понимаете?

С этими словами он удаляется, оставив господина Мичулина в совершенном изумлении.

V

Погода на дворе стояла сырая и мутная; как и накануне, сыпалось с облаков какое-то неизвестное вещество; как и тогда, месили по улицам грязь ноги усталых пешеходов; как и тогда, ехал в карете закутанный в шубу господин с одутловатыми щеками, и ехал в калошах другой господин, которому насвистывал вдогонку ветер: «Озяб, озяб, озя-я-яб, бедненький человек!» Словом, все по-прежнему, с тем незначительным прибавлением, что всю эту неблагоприятную картину обливал какой-то бледный, мутный свет.

Навстречу Ивану Самойлычу ехала очень удобная и покойная карета, придуманная в пользу бедных людей, в которой, как известно, за гривенник можно пол-Петербурга объехать.

Иван Самойлыч сел. В другое время, при «сем удобном случае», он подумал бы, может быть, о промышленном направлении века и выразился бы одобрительно насчет этого обстоятельства, но в настоящую минуту голова его была полна самых странных и черных мыслей.

Поэтому кондуктор не получил от него ни улыбки, ни поощрения – ничего, чем так щедро любят наделять иные охотники до чужих дел.

А между тем в карету набираются другие господа; сперва вошла какая-то скромная

Невинные рассказы. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru
девушка, потупив глазки; вслед за нею впрыгнул белокурый студент весьма приятной
наружности и сел прямо против нее.

– Здравия желаем-с! – сказал белокурый студент, обратясь к девушке. Но девушка
не отвечает, а, посмотрев исподлобья на юношу, подносит ко рту платок и
отворачивает к окну свое личико, изредка испуская из-под платка скромное
«ги-ги-ги!».

– Наше почтение-с! – начал снова студент, обращаясь к веселой девушке.

Но ответа и на этот раз не последовало; только скромное «ги-ги-ги!» выразилось
как-то резче и смелее.

– А что вы скажете насчет этого нововведения? – ласково спросил Ивана Самойлыча
очень опрятно одетый господин с портфелем под мышкою.

Господин Мичулин махнул головой в знак согласия.

– Не правда ли, как дешево и экономически? – снова и еще ласковее обратился
портфель, в особенности нежно, хотя и не без энергии, напирая на слово
«экономически».

– Да-с, выгодная спекуляция, – отвечал Иван Самойлыч, усиливаясь, в свою
очередь, поощрительно улыбнуться.

– О, очень выгодно! очень экономически! – отозвался в другом углу господин с
надвинутыми бровями и мыслящей физиономией, – ваше замечание совершенно
справедливо, ваше замечание выхвачено из натуры!

– Впрочем, это смотря по тому, с какой точки зрения смотреть на предмет, –
глубокомысленно заметил господин с огромными черными усами, и тут же физиономия
его приняла такой таинственный вид, как будто спешила сказать всякому: знаем мы,
видали мы!..

– Батюшки, пустите! да отворяй же, лакей! батюшки! вспотел, измучился!.. Ну уж,
город! эк его угораздило!

Разговор, принимавший несколько назидательное направление, вдруг прервался, и
взоры всех пассажиров обратились на толстого господина в какой-то странной,
лилового цвета, венгерке, который, пыхтя и кряхтя, влез боком в карету.

– Ну уж город! – говорила венгерка, – истинно вам скажу, божеское наказание! я,
изволите видеть, здесь по своему делу – так, поверите ли, просто, то есть,
измучили, проклятые! душу тянут, вздохнуть не дают! И всё этак, в белых
перчатках: на красную, подлец, и смотреть не хочет – за кого, дескать, вы нас
принимаете, да правосудие у нас не продажное! а вот, как сто рублей... Эка бестия,
эка бестия! поверите ли, даже вспотел весь!

И венгерка снова начала кряхтеть и пыхтеть, со всех сторон обмахиваясь платком,
что возбуждало немалую веселость в скромной девушке, и чуть слышные «ги-ги-ги!»
снова начали вылетать из-под платка, закрывавшего рот ее.

– То есть, что же вы разумеете под точкой зрения? – прервал портфель, которого,
видимо, конфузил санфасон[90] лиловой венгерки, – если вы хотите сказать то, что
французы так удачно называют поэнь де вю, кудель...[91]

– Знаем мы! – пожали мы! – и французов видали, да и немцев тоже! – отвечали усы
и потом, наклонясь с таинственным видом и оглядываясь во все стороны, прошептали
вполголоса: – Что-то скажут об этом извозчики... вот что!

Присутствующие вздрогнули; действительно, никому из них до тех пор и в голову не
приходило, что-то скажут о том извозчики, а теперь около них, и сзади, и
спереди, и по бокам, вдруг заговорили тысячи извозчичьих голосов, кивали тысячи
извозчичьих голов, весь мир покрылся сплошной массой воображаемых извозчиков,
там и сям прерываемую.. опустелыми извозчичьими колодами!

– Да; если иметь такого рода консидерацию, [92] – прошептал портфель.

Невинные рассказы. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru
– Да уж что тут? – говорили между тем усы еще таинственнее и ударяя себя при этом кулаками в грудь, – уж я знаю, уж вы меня спросите! – мне это дело как своя ладонь известно!

И усы действительно показали немелкого разбора голую ладонь и, еще более наклонившись и предварительно оглянувшись на все стороны, вполголоса приговаривали:

– Уж мне это дело ближе известно... я служу там...

– Так вы тоже бюрократ? – спросил портфель, оправившись от первого ошеломления и как в каменную стену упираясь в слово «бюрократ».

– Да ведь это опять-таки с какой точки зрения посмотреть на предмет! – лаконически отвечали усы.

– А я вам скажу, господа, что все это вздор! совершенный вздор! – загремела венгерка.

По соседству чуть слышно раздалось знакомое «ги-ги-ги!» веселой девушки.

– Истинно так! – продолжала греметь венгерка, – истинно так! что это за народ, хоть бы и извозчики! дрянь, осмелюсь вам доложить, просто слякоть!.. Вот кабы вы у нас, в нашей стороне побывали, – вот народ! тот так уж действительно усахарит! – вот природа, так природа! это уж, истинно вам говорю, смотреть в свое удовольствие можно! А то что это за народ у вас, взглянуть не на что! просто дрянь, слякоть!

И венгерка тоскливо покачивала головой.

– Да; это если смотреть на предмет с одной точки, – сказал между тем портфель, улыбаясь и не обращая внимания на пессимистское возражение венгерки, – но если взглянуть на дело, например, со стороны эманципации животных...

Усы жалобно замычали.

– Да ведь это все пуф! – сказали они, – это всё французы привезли! Извозчики – вот главное дело! – извозчики – вот корень причины! – извозчики, извозчики, извозчики!

И снова в глазах всех присутствующих замелькали извозчики, извозчики, извозчики!

– Вот оно дело-то! – продолжали усы, – вон он сыт, наелся, – его и колом с печи не своротить! А вот как хлеба-то нет, он и пошел, и пошел... а уж как пошел, так, известно, что будет!.. знаем мы! видали мы!

– О, ваше замечание совсем справедливо! ваше замечание выхвачено из природы! – отозвались брови, – голод, голод и голод – вот моя система! вот мой образ мыслей!

– Так вот с какой точки зрения должно смотреть на предмет! – таинственно повторили усы, – а уж что тут животное! Животное, известно, скотина!

– Однако ж, читали ли вы в «Петербургских ведомостях» артикль?[93] – возразил портфель, с необыкновенным усилием напирая на слово «артикль».

– Знаем мы! – читали мы! – вздор все это, надуванция! гога и магога!

– Однако ж с большим увлечением написан...

– Увлечение? – загремела венгерка, – уж позвольте, насчет увлечения...

– Ги-ги-ги! – отозвалось по соседству.

– Так вот, извольте видеть, я все насчет увлечения-то! – продолжала венгерка, – да вот барышеньке все что-то смешно... веселая барышенька!.. так вот, насчет того-то... у меня, смею вам доложить, покойник батюшка, царство ему небесное, предводителем был, так вот это увлечение! как замахает, бывало, руками... у!

Невинные рассказы. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru
Отстаивал, нечего сказать! умел-таки постоять за своих покойник! Нет, нынче такие люди повывелись! – с фонарем таких не отыщешь! – нынче все разбирают: может, дескать, и прав!.. о-ох, времена тугие пришли!.. а барышенька-то все смеется... веселая барышенька!

– Когда же можно вас видеть? – говорил между тем исподтишка студент.

– Ах, какие вы, право, странные! – отвечала веселая барышенька, еще пуще закрываясь платком.

– Вы находите? – снова начал студент.

– Разумеется! ги-ги-ги!

– Отчего же – разумеется?

– Да как же это можно!

– Да отчего же это невозможно?

– Да нельзя!

– Странно! – сказал студент, хотя, по-видимому, не отчаивался еще в успехе своего предприятия.

– Главное дело в том, – соображали вслух усы, – чтоб человеку цель была дана, чтоб видел человек, зачем он существует... вот главное – а прочее все пустяки!

Иван Самойлыч начал прислушиваться.

– То есть вы разумеете под этим то, что у французов зовется проблемой жизни? – спросил портфель, сильно напирая на слово «проблему».

– Что французы? что немцы? – лаконически отвечали усы, – уж поверьте моей опытности, уж мне лучше знать это дело, уж я там и служу... все это надуванция, все гога и магога!.. это дело мне вот как известно!

И снова усы показали обнаженную ладонь чрезвычайно почтенного размера.

– Однако ж, согласитесь со мной, ведь и французская нация имеет свои неотъемлемые достоинства... Конечно, это народ ветреный, народ малодушный – кто же против этого спорит?.. Но, с другой стороны, где же найдете столько самоотвержения, того, что они сами так удачно называли – резиньясьион?[94] а ведь это, я вам скажу...

– Знаем мы! – видали мы и французов, и немцев! – пожили-таки на своем веку! – говорили бесчувственные усы, – все это вздор! – главное дело, чтоб человек видел, что он человек, знал бы цель!.. Цель-то, цель – вот она штука, а прочее – что? вздор! все вздор!.. уж поверьте моей опытности...

– Вот вы изволили выразиться насчет цели нашего существования, – скромно прервал Иван Самойлыч, – извольте видеть, я сам много занимался насчет этого предмета, и любопытно бы узнать ваши мысли...

Усы задумались; Мичулин ожидал с трепетом и волнением разрешения загадки.

– Лакей! что ж ты, братец, не остановишь? ворон считаешь, туняец! – загремела венгерка.

– Так и я тут выйду, – меланхолически сказали усы.

– А как же ваши мысли насчет этого обстоятельства? – робко заметил Иван Самойлыч.

– Все зависит от того, с какой точки взглянуть на предмет! – разом сообразили усы.

– О, это совершенно справедливо! ваше замечание выхвачено из природы! –

Невинные рассказы. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru
отозвались надвинутые брови, – все, решительно все зависит от точки зрения...

Усы и брови вышли из кареты. Медленно и неповоротливо поплелся снова экономический экипаж по гладкой мостовой.

– Когда же вас можно видеть? – по-прежнему спрашивал студент у веселой барышеньки.

– Ах, какие вы странные! – по-прежнему отозвалась барышенька, закрывая рот платком.

– Отчего же – странный? – приставал студент.

– Да как же это возможно!

– Да отчего же это невозможно?

– Да оттого, что нельзя!

– А я так думаю совсем напротив, – отвечал студент и дернул за шнурок.

– Пойдемте! – снова сказал юноша.

– Ги-ги-ги!

Карета остановилась, студент вышел, барышенька немножко подумала – и все-таки пошла за ним, сказав, однако ж: «Ах, право, какие вы странные! уж чего не вздумают эти мужчины!» – но сказала она это решительно только для очищения совести, потому что студент уж вышел и ждал ее на улице.

Наконец и Ивану Самойлычу пришлось выходить. На улице, по обыкновению, сновала взад и вперед толпа, как будто искала чего-то, хлопотала о чем-то, но вместе с тем так равнодушно сновала, как будто сама не сознавала хорошенько, чего ищет и из чего бьется.

И герой наш отправился искать и хлопотать, как и все прочие.

Но и на этот раз фортуна, с обыкновенною своею настойчивостью, продолжала показывать ему несколько не благовидный зад свой.

Как нарочно, нужный человек, к которому уж в несчетный раз пришел Иван Самойлыч просить себе места, провел целое утро на воздухе, по случаю какого-то торжества. Нужный человек был не в духе, беспрестанно драл и марал находившиеся перед ним бумаги, скрежетал зубами и в сотый раз обещал согнуть в бараний рог и упечь «куда еще ты и не думал» стоявшего пред ним в струнке маленького человека с весьма лихо вздернутым седеньким хохолком на голове. Лицо нужного человека было сине от свежего еще ощущения холода и застарелой досады; плеча вздернуты, голос хрипл.

Иван Самойлыч робко вошел в кабинет и совершенно растерялся.

– Ну, что еще? – спросил нужный человек отрывистым и промерзлым голосом, – ведь вам сказано?

Иван Самойлыч робко приблизился к столу, убедительным и мягким голосом стал рассказывать стесненные свои обстоятельства; просил хоть что-нибудь, хоть какое-нибудь, хоть крошечное местечко.

– Я бы не осмелился, – говорил он, заикаясь и робея все более и более, – да ведь посудите сами, последнее издержал, есть нечего, войдите в мое положение.

– Есть нечего! – возразил нужный человек, возвышая голос, – да разве виноват я, что вам есть нечего? да что вы ко мне пристаёте? богадельня у меня, что ли, что я должен с улицы подбирать всех оборвышей... Есть нечего! – ведь как нахально говорит! Извольте видеть, я виноват, что ему есть хочется...

Седенький старичок с хохолком тоже не мало удивился.

Невинные рассказы. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru
– Да ведь и я не виноват в этом, посудите сами, будьте снисходительны, – заметил Иван Самойлыч.

– Не виноват! – вот как отвечает! На ответы-то, брат, все вы мастера... Не виноват! Ну, да положим, что вы не виноваты, да я-то тут при чем?

Нужный человек в волнении заходил по комнате.

– Ну, что ж вы стоите? – сказал он, подступая к господину Мичулину и как будто намереваясь принять его в потасовку, – слышали?

– Да я все насчет места, – возразил Иван Самойлыч несколько твердым голосом, как бы решившись во что бы то ни стало добиться своего.

– Говорят вам, что места нет! слышите? Русским языком вам говорят: нет, нет и нет!.. Поняли вы меня?

– Понять-то я понял! – глухим голосом отвечал Мичулин, – да ведь есть-то все-таки нужно!

– Да что вы ко мне привязались? – да вы знаете ли, что я вас, как неблагонамеренного и назойливого, туда упеку, куда вы и не думаете? Слышите! – есть нужно! точно я его крепостной! Ну, в богадельню, любезный, идите! в услужение идите... хоть к черту идите, только не приставайте вы ко мне с вашим «есть нечего»!

И нужный человек снова начал разминать по комнате окоченевшие члены.

– Тут целое утро на холоду да на сырости... орешь, кричишь на них, на бестий, а они еще и дома покоя не дают...

– Да ведь я не виноват, – снова возразил Иван Самойлыч дрожащим голосом, худо скрывая накипевшую в груди его злобу, – я не виноват, что целое утро на холоду да на сырости...

– А я виноват? – с запальчивостью закричал нужный человек, топнув ногою и сильно пошевеливая плечами, – виноват? а? да ну, отвечайте же!

Иван Самойлыч молчал.

– Что ж вы привязываетесь? Да нет, вы скажите, что ж вы пристааете-то? виноват я, что ли, что вам есть нечего? виноват? а?

– Стыдно будет, если на улице подымут, – заметил Иван Самойлыч тихо.

– Отвяжитесь вы от меня! – вскричал нужный человек, теряя терпение, – ну, пусть подымут на улице! я вам говорю: нет места, нет, нет и нет.

Иван Самойлыч вспыхнул.

– Так нет места! – закричал он вне себя, подступая к нужному человеку, – так пусть на улице подымут – так вот вы каковы, а другим небойсь есть место, другие небойсь едят, другие пьют, а мне и места нет!..

Но вдруг он помертвел; малый-то был он смирный и безответный, и робкая его натура вдруг всплыла наружу. Руки его опустились; сердце упало в груди, колени подгибались.

– Не погубите! – говорил он шепотом, – виноват – я! я один во всем виноват! Пощадите!

Нужный человек стоял как оцепенелый; с бессознательным изумлением смотрел он на Ивана Самойлыча, как будто не догадываясь еще хорошенько, в чем тут дело.

– Вон! – закричал он наконец, оправившись от изумления, – вон отсюда! и если еще раз осмелитесь... понимаете?

Нужный человек погрозил, сверкнул глазами и вышел из комнаты.

VI

Иван Самойлыч был окончательно уничтожен. В ушах его тоскливо и назойливо раздавались страшные слова нужного человека:

– Нет места! нет, нет и нет!

– Да отчего же нет мне места? да где же, наконец, мое место? Боже мой, где это место?

И все прохожие смотрели на Ивана Самойлыча как будто исподлобья и иронически подпевали ему: «Да где же, в самом деле, это место? ведь кто же nibудь да виноват, что нет его – места-то!»

Мичулин решился немедленно обратиться с этим вопросом к людям знающим, тем более что его мучили уж не одни материальные лишения, не одна надежда умереть с голода, но и самая душа его требовала успокоения и отдыха от беспрестанных вопросов и сомнений, ее осаждавших.

Знающие люди были не кто иные, как известные уж читателю Вольфганг Антоныч Беобахтер, философии кандидат, и Алексис Звонский, недоросль из дворян.

Оба друга только что пообедали и, сидя на диване, покуривали себе папироски. У Вольфганга Антоныча была в руках гитара, на которой он самым сладкозвучным образом тренькал какую-то страшную бравуру; у Алексиса плавала в глазах какая-то мутная влага, на которую он беспрестанно и горько жаловался, говоря, что она мешает ему прямо и бодро взглянуть в самые глаза холодной, бесстрастной и безотрадной действительности. Друзья, казалось, были в хорошем расположении духа, потому что говорили о будущих судьбах человечества и об эстетическом чувстве.

Оба друга равно стояли грудью за страждущее и угнетенное человечество; разница состояла только в том, что Беобахтер, как кандидат философии, непременно требовал ррразрррушения, а Алексис, напротив того, готов был положить голову на плаху, чтоб доказать, что период разрушения миновался и что теперь нужно создавать, создавать и создавать...

– Ну, клади! – говорил Беобахтер самым равнодушным голосом, делая при этом обычное движение разжатою рукою сверху вниз и уж совсем приготовившись отмахнуть Алексису его легковесную голову.

Но Алексис головы не клал.

– Уж ты не коварствуй, – возгласил Беобахтер мелодическим голосом в ту минуту, когда вошел Иван Самойлыч, – ты не уклоняйся, а говори прямо: любишь или не любишь? любишь – так прочь их, с лица земли их – вот что! А иначе не любишь!

– Однако ж, за что ж их с лица земли? – заметил, с своей стороны, Алексис, – я, право, никак не могу понять этого ригоризма...

И действительно, по лицу Алексиса можно было угадать, что он точно никак не мог понять.

Кандидат философии крошечным сжатым кулачком описал самую незаметную дугу.

– И знать ничего не хочу, и видеть ничего не хочу! – говорил он медовым своим голоском, – и не представляй ты мне своих резонов! все это софизмы, любезный друг! Не любишь, говорю тебе, не любишь – и все тут! Так бы и сказал с первого слова! Разрушить, говорю тебе, ррразрушить – вот что нужно! а прочее все вздор!

И господин Беобахтер сделал несколько аккордов на гитаре и запел совершенно особенную и крайне затейливую бравуру, но запел таким голосом, как будто гладил кого-нибудь по головке, приговаривая: «Паинька, душенька! умница, миленький!»

– Странно, однако ж!.. – заметил после некоторого молчания, собравшись с мыслями, Алексис.

Беобахтер сделал совершенно незаметное движение плечами.

Буква р снова посыпалась в страшном изобилии.

– Странно, однако ж! – не переставал возражать, с своей стороны, Алексис, всякий раз все более и более собираясь с мыслями.

– Уж я тебя, подлеца, насквозь знаю, – говорил Беобахтер, – ведь ты «буржуазия», я тебя знаю...

На это Алексис отвечал, что, ей-богу, он не «буржуазия», и что, напротив того, для человечества готов всем на свете пожертвовать, и что если уж на то пошло, то, пожалуй, хоть сейчас же, среди белого дня, пройдет по Невскому под руку с мужиком.

– Нет, уж это будет не эстетически! – заметил господин Беобахтер.

– Ну, я не думаю, – отвечал Алексис, еще раз собравшись с мыслями.

– Что такое эстетическое чувство? – спросил господин Беобахтер, видимо намереваясь дать своим доказательствам вопросительную форму, столь часто употребляемую самыми знаменитыми ораторами.

Алексис задумался.

– Эстетическое чувство, – сказал он, собравшись с мыслями, – есть то чувство, которым в высшей степени обладает художник.

– Что такое художник? – столь же отрывисто спросил кандидат философии.

Алексис снова задумался.

– Художник, – сказал он, в последний раз собравшись с мыслями, – есть тот смертный, который в высшей степени обладает эстетическим чувством...

– Гм, – заметил господин Беобахтер, – прочь их! с лица земли их! Нет им пощады!.. я тебя знаю, всю твою душу насквозь вижу: ты подлец, ренегат...

– Странно, однако ж! – заметил Алексис.

Но Вольфганг Антонович не слушал; он сделал аккорд на гитаре и сладким тенором запел известную: Разгульна, светла и любовна, всячески стараясь выразить что-нибудь удалое, отколоть какое-нибудь отчаянное коленце, но решительно без всякого успеха, потому что коленце оказывалось самым смиренным и снисходительным.

– А я к вам, господа, насчет одного дельца, – приступил Иван Самойлыч.

Беобахтер и Алексис начали вслушиваться.

Мичулин вкратце изложил им свои утренние похождения, рассказал, как он был у нужного человека, как просил о местечке и как нужный человек отвечал, что места ему нет, нет и нет... Затем Иван Самойлыч уныло поник головой, как бы ожидая решения знающих людей.

Но Беобахтер и Алексис упорно молчали: первый – потому что не вдруг мог отыскать в голове своей неизвестно куда завалившуюся сильную мысль, которую он давно уже припас и которая могла одним разом сшибить с ног вопрошавшего; второй – потому что имел благородную привычку всегда выждать мнение кандидата философии, чтоб тут же приличным образом возразить ему.

– Да ведь мне есть нужно, – начал снова Иван Самойлыч.

– Гм, – сказал Беобахтер.

Алексис начал собираться с мыслями.

– Конечно, он не виноват в этом, – продолжал Мичулин, с горечью вспомнив полученный утром от «нужного человека» жесткий отказ, – конечно, жизнь – лотерея, да в том-то и штука, что вот она лотерея, да в лотерее-то этой билета

Невинные рассказы. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru
мне нет...

Беобахтер положил в сторону гитару и посмотрел ему пристально в глаза.

– Так вы меня не поняли? – сказал он с укором, – а прочли вы книжку?

Иван Самойлыч отвечал, что не имел еще времени. Беобахтер грустно покачал головой.

– Вы ее прочтите! – убеждал он самым меланхолическим тоном, – там вы все узнаете, там обо всем говорится... Все, что я вам ни говорил, – все это только предварительные понятия, намеки; там все полнее объяснено... но уж поверьте, тут иначе и быть не может! Или любишь, или не любишь: тут нет середины, я вам говорю!

– Однако ж, это странно! – тотчас же возразил Алексис, хотя и не развивал далее своей мысли.

– Так вы думаете? – перебил Иван Самойлыч.

– Прочь их! с лица земли их! вот мое мнение! Prrrrr...

– А вы как насчет этого дела? – спросил Мичулин, обращаясь к Алексису.

– Моя грудь равно для всех отверста! – отвечал Алексис совершенно невинно.

За сим водворилось глубокое молчание.

– Извините, что беспокоил вас, господа, – сказал Иван Самойлыч, намереваясь удалиться восвояси.

На это приятели отвечали, что это ничего, что, напротив, они очень рады и что если вперед случится какая-нибудь нужда, то смело обращался бы прямо к ним. При этом с немалым также искусством дано было ему заметить, что если между ними и существует некоторое разногласие, то это только в подробностях, что в главном они оба держатся одних и тех же принципов, что, впрочем, и самый прогресс есть не что иное, как дочь разногласия, и если их мнения не безусловно верны, то, по крайней мере, об них можно спорить.

Со всем этим Мичулин, конечно, не мог не согласиться, хотя, с другой стороны, не мог и не сознаться внутренно, что все это, однако ж, чрезвычайно мало подвигало его вперед.

На столе у себя он нашел тщательно сложенную записку. Записка была следующего содержания:

«Иван Макарыч Пережига, свидетельствуя свое совершенное почтение его высокоблагородию Ивану Самойлычу, честь имеет покорнейше просить его высокоблагородие, по случаю дня тезоименитства, пожаловать завтрашний день, в три часа пополудни, откушать обеденный стол».

С досадою отбросил он от себя затейливую записку и лег на кровать.

Но ему не спалось; кровь его волновалась; злоба кипела в груди, и все нашептывал тайный голос какую-то вкрадчивую и вместе с тем страшную легенду.

Вокруг все тихо; ни шороха не слышно в комнате соседки. Мичулин встал с постели и начал ходить по комнате – средство, к которому прибегал он всякий раз, когда что-нибудь его сильно тревожило.

А между тем ветер все шумит на улице, все стучится в окно к Ивану Самойлычу и совершенно вразумительно свистит ему в самые уши: «Озяб бедный ветер! пусти его, добрый человек, бог наградит тебя за это!»

И герой наш решительно не знает, кому отвечать, продрогнувшему ли ветру, или комоду под красное дерево и картине, изображавшей, в противоречие свидетельству всей истории, погребение кота мышами, и уж не висевшей, а как будто бегавшей по стене, потому что и комод, и картина тоже, в свою очередь, допекали ужасно и насмешливо спрашивали: «А отвечай нам, отчего она лотерея? какое твое

Невинные рассказы. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru
назначение?»

А Наденька между тем вкушала в соседней комнате на маленькой своей кроватке то удивительное кушанье, полное разных десертов и неимоверно воздушных пирожных, которое называется сном. В ее позе было нечто необыкновенно грациозное и девственное; маленький, уютный ротик был полуоткрыт; булабочное ее сердечко быстро и усиленно билось в миньютюрной темнице своей.

Но она не обращала внимания ни на страстное буйство ветра, который, смотря на нее из окошка, злился и завывал, ни на полный томления взор молодого месяца, только что скинувшего с себя черную епанчу из туч, которая, на досаду, не давала ему до тех пор пощеголять перед людьми своею молодостью и удалством. Она спокойно спала себе, как и всякая другая смертная, и надо же какому-то злему недругу беспокоить и будить ее в эту сладкую минуту; надо же, чтоб какая-то безобразная белая фигура дернула ее за руку в самый патетический момент сна!..

Открыв заспанные глаза, Наденька не мало струхнула. В околотке давно уже носились слухи насчет какой-то странной болезни, которая ходила будто бы из дома в дом в самых странных формах, проникала в самые сокровенные закоулки квартир и, наконец, очень равнодушно приглашала на тот свет.

Сообразив все эти обстоятельства, Наденька сильно встревожилась, потому что была крайне животолюбива и ни за что в свете не согласилась бы умереть. А привидение между тем не шевелилось и молча устремило на нее глаза свои. Наденька заключила, что дело-то плохо и что конец ее пришел невозвратно, и потому, простившись мысленно с ученым своим другом и поручив, кому следует, свою крошечную душу, обдумывала уж, какой даст там ответ в своем брэнном и несколько легком земном странствии, как вдруг молодой и щеголеватый месяц взглянул прямо в лицо привидению.

– Так вы так-то! – вскричала Наденька, оправившись внезапно от своего испуга и быстро вскочив с постели, несмотря на очевидную легкость своего костюма, – так вы вот как! вы не удовлетворяетесь тем, что по целым ночам стонете и не даете мне спать – вы еще и подсматривать вздумали! Вы думаете, что я не благородная, не мадам, так со мною все, дескать, можно! Ошиблись, сударь, очень ошиблись! Конечно, я простая девица, конечно, я русская, да не хуже иной барыни, не хуже немки; вот что-с!

И маленькие глазки ее горели; маленькие ноздри раздувались, маленькие губы дрожали от гнева и негодования... Но привидение, которое было не что иное, как сам Иван Самойлыч, вместо ответа издало чрезвычайно простой и односложный звук, более похожий на мычанье, нежели на вразумительный ответ.

– Я все понимаю! – бойко сыпала между тем Наденька, – все понимаю не хуже всякой другой... Бесстыдник, сударь, срамник!

Иван Самойлыч отвечал, но как-то отрывисто и бессвязно; и притом звук его голоса был так сух и беззвучно-бесстрастен, как будто ему и не шутя было больно и тошно жить на свете.

Говорил он все прежнюю историю, что вот, дескать, другие едят, другие пьют... все другие...

Наденька слушала его в страхе и трепете; никогда она не видала его столь решительным; сердце ее упало; голос замер в груди; она хотела звать на помощь и не могла; умоляя, простирая она свои маленькие ручонки к лукавому нарушителю ее спокойствия; жалобен и безмолвно-красноречив был ее взор, взывавший о пощаде... Привидение остановилось.

– Так вам очень гадко со мною?.. – сказала оно голосом, заглушаемым накипевшими в груди рыданиями, – так я очень противен?..

– Оставьте меня! – едва слышно шептала Наденька.

Привидение не трогалось; молча стояло оно у заветного изголовья, и невольные слезы непризнанной горести, слезы оскорбленного самолюбия кралась по впалым и бледным, как смерть, щекам его.

Невинные рассказы. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru
– Бог с вами! – сказало оно шепотом и медленно направило к двери шаги свои.

Наденька вздохнула свободно. Сгоряча она хотела было закричать и объявить всем и каждому, что вот, дескать, так и так; но – странное дело! – ни с того ни с сего почувствовала она, как будто в груди ее вдруг зашевелилось что-то такое, что, с одной стороны, очень и очень намекало на совесть, а с другой, могло назваться, пожалуй, и жалостью. Грустно взглянула она вслед удаляющемуся Ивану Самойлычу и даже чуть-чуть не решилась позвать его назад, чтоб объяснить ему, что не виновата же и она, что дело такой оборот приняло... И все-таки ничего не сказала, а просто посмотрела, как он вышел из комнаты, заперла поплотнее дверь, покачала головой, прибрала с полу две или три завалывшиеся бумажки и снова легла почивать.

VII

Именинный обеденный стол был устроен на славу. Шарлотта Готлибовна не пожалела ни трудов, ни издержек, чтоб угодить своему любезному кавалеру. Она истоптала себе все ноги, но к трем часам все уже было готово. Даже она, сухопарая и продолговатая хозяйка, приличным образом подкрасившись, рисовалась в столовой, производя приятный для слуха шум накрахмаленною, как картон, юбкою.

Когда Иван Самойлыч явился в столовую, вся компания была уж налицо. Впереди всех торчали черные как смоль усы дорогого именинника; тут же, в виде неизбежного приложения, подвернулась и сухощавая и прямая, как палка, фигурка Шарлотты Готлибовны; по сторонам стояли известные читателю: кандидат философии Беобахтер и обольстительный, но несколько апатический недоросль Алексис под руку с девицей Ручкиной.

Казалось, Наденька была совершенно довольна своею судьбой, потому что очень любила порядочную компанию и вообще чувствовала некоторый недуг к людям, которые не принадлежали к так называемой швали – мастеровым, лакеям, кучерам и далее до бесконечности.

Конечно, рассуждая строго, происхождение Шарлотты Готлибовны было покрыто весьма густым мраком неизвестности, но Наденька смотрела на этот предмет снисходительно. Она, разумеется, не могла не допустить, что Шарлотта Готлибовна, действительно, не русская...

И теперь, как и всегда, Иван Макарыч шутил над ученым Алексисом, приговаривая:

– А подлец Бинбахер-то! Знать ничего не хочет! ничего, говорит, не надо! все уничтожу, все с глаз долой! Ах, эти немцы!

И, по обыкновению, Шарлотта Готлибовна, потупив глаза, отвечала: «О, ви очень любезни кавалир, Иван Макарович!», и, по обыкновению, осталось покрыто мраком неизвестности, кого именно разумел господин Пережиг под словом Бинбахер.

– А не выпить ли нам водочки, мадам? – возопил именинник, обращаясь к Шарлотте Готлибовне, – ведь нынче времена-то опасные! слышь ты, холера по свету бродит! а вот мы ее, холеру! вот мы ее! по-свойски-то, по-нашему!

И действительно, холера, вероятно, сильно поморщилась, когда господин Пережига вытянул одним глотком огромную рюмку, которую он не без едкости называл стаканчиком на ножке.

За обедом было очень весело; лица всех смотрели как-то благоприятно и ободрительно. Алексис беспрестанно, и кстати и некстати, улыбался; Беобахтер тоже не делал обычного движения рукою сверху вниз; Пережиг же всех по чести уверял, что Бинбахер ничего не знает, потому что немец, а вот у него спросите, так он русский и знает, да еще так знает, что у Шарлотты Готлибовны от одной этой мысли закатывались под лоб глаза.

– У, как я был на своей-то стороне! – гремел он, с самодовольным видом покручивая усы, – у меня был двор!.. то есть, что все эти здешние дворы! просто дрянь! Одних егерей было человек пятьдесят! Музыканты свои были! Театр домашний был! плясуньи были, комедии представляли! Вот оно, какое житье-то было! любезное житье!

Конечно, Иван Макарыч большую половину прихвастнул, но присутствующие из

Невинные рассказы. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru
учтивости почли долгом не возражать ему, а Шарлотта Готлибовна даже совершенно была уверена в истине слов своего любезного кавалера и с непритворным участием вмешалась в разговор, сказав в скобках:

– О, это, должно быть, ужасно чудесно было!

– Уж так чудесно, что просто невозможно! Уж я вам скажу, такие были актеры – просто на славу! Вся губерния съезжалась смотреть – истинно вам говорю!

По поводу актеров господина Пережиги разговор перешел вообще к оценке эстетических и других способностей человека, и при этом развивались гостями самые мудрые и затейливые мысли.

Беобахтер, махая ручонкою сверху вниз, говорил самым приятным и вкрадчивым тенором, что оно, конечно, ничего, жить можно, а все-таки не дурно и даже полезно, если «прихлопнет» да «притиснет». Буква р, по обыкновению, играла и тут весьма немаловажную роль.

Алексис болтал во рту языком и безотчетно размахивал во все стороны руками.

Шарлотта Готлибовна утверждала насчет этого предмета что-то столь жестокое и обидное, что Наденька почла за долг вступить и тут же колко дать ей почувствовать, что она хотя и благородная немка (о! никто в этом не сомневается!) и хотя «всем, конечно, известно», что в ихней земле водятся дворяне, но ведь и в других землях отнюдь не все же мастеровые или чумички какие-нибудь... о нет, далеко не все!

Весь этот шум покрывался густым басом Пережиги, который смело утверждал, что все это вздор, что тут «иначе» быть нельзя и что у него, дескать, спросите, так он знает и мигом все объяснит.

– А скажите, пожалуйста, – начал между тем Иван Самойлыч, очевидно стараясь исподволь дать разговору интересующий его оборот, – вот вы, Иван Макарыч, вы человек опытный, бывалый... Вот хоть бы у вас: ведь, я думаю, у каждого из них было свое особенное назначение, своя особенная, так сказать, роль в жизни?..

– Разумеется, было! чего на свете не бывает, – отвечал Иван Макарыч, от частых возлияний одобрительно кивая на все стороны головой, – известно, – один псарь, другой егерь, третий просто чумичка! Как не быть!

И опять пошли толки о трудности отыскать человеку в брэнной его жизни назначение. Пережига отзывался, что тут вообще «поломаешь-таки себе голову», и действительно, в то же время начал с таким рвением ломать себе голову при виде беспрестанно возрастающих и вновь отвсюду восстающих затруднений, что непременно погиб бы в этой борьбе, если бы не спас его известный стаканчик на ножке, которому он не переставал свидетельствовать свое почтение.

– Мое тут мнение вот какое! – вмешался господин Беобахтер, – все это вздор, а нужно – вот... – и махнул рукою сверху вниз.

Хотя последние слова были сказаны особенно мелодическим тенором, но Алексис не преминул возразить своему ученому противнику, сказав, что он не видит, почему непременно – «вот», и что гораздо лучше, если для всех равно отверсты объятия. При этом Алексис размахивал руками и действительно для всех отверзал объятия!

– Так вот вы изволили заметить, – снова обратился Мичулин к Пережиге, – что один чумичка, другой егерь... ну, это понятно: они уж люди такие – ну, и роли по ним... А вообще-то как вы понимаете? то есть вообще-то человеку какая роль предстоит в жизни? Вот хоть бы мне, например? – прибавил он в виде предположения.

И умолк.

И все гости тоже сурово молчали, как будто никто и не предвидел со стороны господина Мичулина подобного философического вопроса.

– Мое мнение вот какое, – разразился наконец сладкозвучный Беобахтер, – прочь все – вот!..

Невинные рассказы. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru
И на этот раз Алексис, по обыкновению, отозвался, что никак не может понять этого ригоризма и что гораздо лучше, если для всех равно отверсты объятия.

Но сомнение все-таки осталось сомнением, запутанное дело ни на шаг не подвинулось вперед.

– Так как же вы думаете, Иван Макарыч? – снова навязывался Мичулин.

– Это уж вы вот у них спросите, – лаконически отвечал Пережигга, закрывая глаза от излишества возлияний, – это им будет лучше известно!

С этим словом Иван Макарыч, а за ним и все гости вышли из-за стола.

Но именинник сильно ошибался, если в числе таинственных «их» разумел и ученого Алексиса.

Алексис, казалось, так сильно желал всякого счастья дорогому имениннику, что от полноты чувства едва мог болтать во рту языком.

– Ты не горюй, друг, – говорил он, обращаясь к Ивану Самойлычу, – ты друг! я тебя знаю! ты смиренный и кроткий – вот!.. вот он так буйный, я знаю, чего он хочет! Да вот, не дадут же тебе ничего! да! вот же назло тебе для всех отверсты объ-я-тия!.. да... объ-я-ти-я...

Наденька села возле него, начала усовещивать, уговаривала, чтоб он был хоть мало-мальски поумнее, но Алексис ничем не трогался, потому что в нетрезвом виде непременно считал долгом пускаться в конфиденции и обнажать догола свою крохотную душу.

– Ты оставь, ты отойди от меня, хороший, милый ты че ловек, – говорил он, вертя головою, – ведь я знаю, что ты про меня думаешь, что и он... вот тот, что от философии-то... я все знаю, да плевать я... Я сам знаю, что глуп, сам это чувствую, милый ты человек, сам вижу... Ну, что ж! глуп так глуп... уж такая, видно, слабая моя голова.

И захохотал, как будто бы и сам от всей души поздравлял себя с тем, что глуп и слабоголов.

Беобахтер, с своей стороны, не возражал ничего, потому что сам чувствовал в сердце приятную веселость и махал рукою уж не сверху вниз, а снизу вверх.

– Да уж ты не скрывайся... ты философ! – продолжал между тем Алексис, – ведь я вижу... я вижу, что ты меня презираешь... ну, презирай! Ведь я сам чувствую, что достоин презрения... дру-у-г! да ведь что ж делать, коли голова-то слаба? голова-то, голова, вот что!..

– Ну, нализался же ты, брат, – лаконически заметил Иван Макарыч.

– А еще барин! туда же барином зовется! – подхватила девица Ручкина.

– Уж какой же барин! – жаловался в ответ Алексис, – барин!.. самому иногда есть нечего – барин. Сапогов нет – барин! Пальто на плечишках изорванное – барин!.. Вот те и барин! да уж я вижу, что ты меня презираешь!.. ты! философ!

И снова воображение Алексиса начало рисовать ему самые горестные картины, и снова пуще прежнего начал он жаловаться на свою слабую голову, на судьбу, на одного таинственного незнакомца, обсчитывавшего его по литературной части, и ко всему прибавлял – барин!

Наконец девица Ручкина почла долгом увести его в свою комнату.

Уныло посмотрел Иван Самойлыч вслед расходящимся гостям. Он видел, как Иван Макарыч пошел под руку с Шарлоттой Готлибовной, как Алексис, с своей стороны, пошел с Наденькой – тоже под руку... Да и философии кандидат Вольфганг Антоныч Беобахтер поспешно надел шинель и отправился на улицу, вероятно с тем намерением, чтоб пройтись с кем-нибудь – тоже под руку!..

И он тоже шел под руку, но не с Наденькой и даже не с Шарлоттой Готлибовной, а с

Невинные рассказы. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru каким-то бестелесным и чрезвычайно длинным существом, называемым: «Что ты такое? какое твое назначение?» и так далее, – существом уродливым, которое, несмотря на видимую свою бесплотность, страшно оттянуло ему обе руки.

VIII

Разгоряченный вином и горькими мыслями, вышел Иван Самойлыч на улицу. На дворе стоял трескучий мороз, который в Петербурге весьма часто следует за самую несносную слякоть; извозчики, съезжившись в клубок, проминались по укатанной дороге и хлопали в ладоши! В окнах высоких домов мелькали огни... Огни эти так гостеприимно манили к себе прозябнувшего и посиневшего на стуже странника, извозчики так тоскливо и вместе недоверчиво смотрели на них. Оборванному и оглоданному всегда кажется, что огонек как будто бы именно на него с особенною приветливостью глядит из окна...

Но Иван Самойлыч не думал ни об огнях, ни об извозчиках. Машинально шел он себе в легкой шинелишке своей, как будто бы вовсе и не чувствовал холода; в голове его было совсем пусто, одна только мысль чудовищно раскинулась в его воображении – та мысль, что у него всего-навсе остался в кармане один целковый, а между тем надо жить, надо есть, надо за квартиру платить...

Но холод все-таки делал свое дело. Как ни закован был Иван Самойлыч в тройную броню неудач и лишений, но не мог не почувствовать покалываний и пощипываний своего привычного друга. Очнувшись невольно, он увидел перед собою огромное снеговое пространство, более похожее на поле, чем на городскую площадь. Посредине поля возвышалось великолепное освещенное каменное здание; у подъездов сутились кареты, сани, возки, кричали кучера и лакеи; там и сям под навесами пылали зажженные костры. А холод между тем щипал лицо, ломил череп, резал глаза; шинелька защищала плохо и скудно...

Вид залитого светом здания сильно расшатал вождение в окоченевшем теле Ивана Самойлыча; он вспомнил про целковый, бывший у него в кармане, и потом, по какому-то безотчетному побуждению, взглянул на разложенные костры... Костры пылали красным пламенем и далеко по площади расстилали густой и едкий дым...

– Что ж... можно и тут обогреться! – подумал Иван Самойлыч.

Но странная, искусительная мысль блеснула вдруг в голове его; секунду, не более как секунду, стоял он в раздумье; потом вынул из кармана целковый, с ожесточением взглянул на него, и в одно мгновение ока был уж у кассы театра и покупал себе билет в пятом ярусе.

Как нарочно, в этот день давали какую-то героическую оперу. В театре народу была куча; с шумом растворялись и запирались двери лож; смутный и густой говор носился по огромной зале от партера и до райка.

Иван Самойлыч очутился посредине между одним бравым офицером и какою-то довольно красивою, но сильно намазанною девицей.

С злобой смотрел он вниз на беспрестанно наполнявшиеся ложи, на дам в кокетливых нарядах, которые влетали в них подобно легким и призрачным видениям...

Но вот и говор утих. Посреди всеобщего безмолвия вдруг послышался отдаленный горный рожок; в каком-то полусне начал прислушиваться Иван Самойлыч к простой и жалобной мелодии его. В памяти его вдруг воскресли давнишние годы его детства, необозримые и ровные поляны, густой сосновый лес, синее озеро, лениво расплескивавшее свои волны, и посреди всего этого самая беззвучная, глубокая тишина, и только рожок, именно рожок, назойливо звучит в самое ухо, и именно ту же самую простую и трезвую мелодию. Но вот рожку начинает вторить флейточка, к флейточке нерешительно присоединяется скрипка, и вдруг звуки начинают расти, расти, и, наконец, целые потоки их вырвались с шумом из оркестра и заходили по зале.

Загудели контрабасы, тоскливо жаловались нежные флейточки; назойливо рвали душу скрипки; отрывисто и сухо командовал барабан.

Герой наш ожил; бледный, притаив дыхание, упивался он жалобным стоном флейты, отчаянным воплем скрипки; все нервы его были в каком-то болезненном, небывалом напряжении, голова горела, губы и глаза были сухи, во всем существе его

Невинные рассказы. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru
разыгралась такая же буря, какая происходила в оркестре.

– Вот это так хорошо! так их! руби их! мо-шен-ни-ки, хри-сто-про-давцы! – шептал он, сам хорошенько не сознавая, почему бравурная музыка напомнила ему мошенников и хриstopродавцев.

– Что ж? хлопайте! выражайте же свое удовольствие! – заметил на ухо Мичулину сидевший сзади какой-то сын природы с огромными усами и бородой.

Занавес был поднят; на сцене, неизвестно о чем, но очень складно, толковала густая толпа; потом толпа расступилась, и какой-то господин начал что-то петь. У Ивана Самойлыча не было ни либретто, ни обязательного соседа, поэтому он очень немного понял из всего этого. Однако ж по всему было видно, что господин был доволен собою и не мало сочувствовал восходящему солнцу, потому что сильно разводил руками.

– Фразы, брат! вздор все это! знаем мы! – говорил господин Мичулин, на которого, видимо, начал действовать образ мыслей Беобахтера, – знаем мы эту природу! ты нам давай барабанов – вот что.

И барабан не заставил себя ждать; музыка снова загрела полным оркестром, и снова гром заходил и заколыхался волнами по зале.

– Выражайте же свое удовольствие! – приставал упомянутый выше сын природы.

Ощущение, произведенное этой громкой, но вместе с тем глубоко-стройной музыкой, было как-то странно и ново для Ивана Самойлыча. Он никак не ожидал, чтоб за звуками могла ему слышаться толпа, – да и какая еще толпа! – вовсе не та, которую он ежедневно привык видеть на Сенной или на Конной, а такая, какой еще он не видывал и, что всего страннее, возможность которой он вдруг начал весьма ясно и отчетливо сознавать.

– Да, дело-то было бы лучше! – думал он, прогуливаясь в антракте по коридору, – тогда бы, может быть, и я...

И он не оканчивал своей фразы, потому что и без дальнейшего объяснения очень хорошо и отчетливо постигал, что было бы тогда.

Но вот оркестр снова заиграл. Сначала происходили неизбежные объяснения любовников; какая-то тощая госпожа презрительно передавала смирному и безответному клевету свои чувства; клевет слушал совершенно равнодушно и только ждал случая, чтоб дать тягу за кулисы. Потом вприпрыжку выбежал из-за кустов как будто нарочно тут же очутившийся господин в бархатной кацавейке...

Мичулин все время отрицательно кивал головой, находя, по-видимому, что все это фразы...

Но вот на сцену спустилась ночь; красноватая луна горела на холстинном небе, озеро синело вдаль; все деревья будто притихли и притаились в ожидании чего-то страшного, необыкновенного; нигде ни шороха, ни шелеста...

И вдруг, посреди безмолвия, раздается оклик, и снова все стихло; вот и еще оклик, и еще, и еще... деревья как будто оживились и выпрямили сонные верхушки свои; озеро заходило холстинными волнами; луна горит все краснее и краснее...

Снова целый гром на сцене, снова все волнуется и колышется, и слышатся Ивану Самойлычу и выстрелы, и стук сабель, и чуется ему дым...

С волнением смотрит он во все глаза на сцену; с судорожным вниманием следит за каждым движением толпы; ему и в самом деле кажется, что вот наконец все кончится; он хочет сам бежать за толпой и понюхать заодно с нею обаятельного дыма... С особенною нежностью смотрит он на молодого человека, раздирающим голосом молящего оставить ему его любовь и наивные мечтания... Он так юн, так свеж еще, молодой человек! ему так жалко вдруг расстаться с своими обаятельными кумирами; ему хотелось бы еще долго обманывать свое сердце и убаюкивать себя золотой мечтой. Но тщетны все его усилия: истина налицо; она трезво и без страха снимает с души его лишние покровы... И грустно повторяет горное эхо вопль юноши, последний вопль!..

. . .

Вот что говорили звуки душе Ивана Самойлыча.

Но барабаны и выпитое за обедом вино порядочно-таки расшатали его воображение. Быстрыми шагами шел он по улице, напевая какой-то вовсе недвусмысленный мотив и сильно стараясь подделаться под барабан. Рядом с ним очутился и сын природы, который сидел сзади его в театре. С сыном природы шел еще какой-то господин, который беспрестанно кивал утвердительно головой и улыбался.

– Ну, что, как вам понравилась опера? – приступил сын природы к Ивану Самойлычу, – ведь с перчиком опера-то? а? как вы насчет этого?

– Да; я думаю, что если бы... – процедил Иван Самойлыч сквозь зубы.

– Уж и не говорите! я сам об этом много думал, а вот нас-то мало... вот что! А я уж думал об этом, как не думать! спросите вон хоть у него. Антоша! ну, скажи, ведь думал я об этом?

Антоша поспешно закивал головой и выставил ряд острых и длинных зубов.

– Рекомендую вам его! – продолжал сын природы, подводя к Ивану Самойлычу Антошу, – благороднейший человек! Я вам скажу, мы много с ним думаем, черт возьми! чудеснейшая душа! и как сострадает! право, никто так не сострадает! Антоша! друг! приятель!

Антоша осклабился.

– Очень рад, – пробормотал Иван Самойлыч, совершенно сконфуженный такую бесцеремонностью.

– Вам, может быть, странна такая откровенность? – говорил между тем господин с усами и бородой, – я вам скажу, вы не удивляйтесь. Ведь я замечал за вами в театре-то, я видел, что подле меня человек страдает.

Молчание.

– Так как вы думаете, не соединиться ли нам в одни общие объятия? а? ведь как заживем-то! лихо, ей-богу, лихо заживем... Братство – канальство! братство – вот моя метода! больше знать ничего не хочу! то есть, отнимите у меня братство – просто ничего не останется, просто дрянь дрянью сделаюсь!.. Так, что ли? братство, что ли? Эх, канальство, да отвечай же, ракаля, забулдыга ты этакой!

И едва начал Иван Самойлыч соображать, каким образом мог он вдруг возбудить в постороннем человеке столько симпатии к себе, как уж сын природы тискал его в своих объятиях и словно жесткою щеткою драл ему щеки своими усами и бородою, беспрестанно приговаривая: «Вот так люблю! разом тебя понял! разом увидел, что ты такое! у, да наделаем же мы им теперь вместе дела!»

– Да ну, полезай же! – говорил он, обращаясь к приятелю Антоше и сталкивая его с Иваном Самойлычем.

Антоша всем телом кинулся в объятия оторопевшего героя нашего.

Путники очутились около одного дома, которого окна были ярко освещены. Сын природы остановился.

– А не запечатлеть ли нам? – спросил он с таким видом, как будто у него вдруг родилась чрезвычайно светлая и благотворная мысль. – Антоша! приятель! друг! ведь запечатлеть? а?

И он мигал глазами вычурной вывеске, на которой в живописном беспорядке красовались бильярд, чашки, окорок ветчины с воткнутою в него вилокю и графины с водкой.

Антоша три раза улыбнулся и шесть раз кивнул головой.

Невинные рассказы. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru
– Ну, а ты? – обратился сын природы к Ивану Самойлычу.

– Я не знаю, – бормотал Мичулин, – я забыл... я бы с радостью, да вот забыл...

– Антоша! друг! про что это он говорит? а? ведь он про деньги, кажется, говорит, изменник, пррредатель!

– Ка... – заговорил Антоша и не кончил, а только клюнул кончиком носа в стену.

Сын природы стал перед Иваном Самойлычем, расставил ноги, уперся руками в бока наподобие ферта, взглянул ему в глаза с видом горько-уязвленной дружбы и с упреком замотал головой.

– А, так вот ты каков, предатель! Деньги! разве я спрашивал у тебя денег? спрашивал? а? так вот я же тебя – деньги! Антоша! друг!

И оба друга мгновенно взяли Ивана Самойлыча под руки и быстро потащили его вверх по тускло освещенной лестнице.

Мичулин совсем растерялся. Он еще в первый раз видел к себе столько сочувствия, столько горячей симпатии. И в ком? в людях совершенно ему чужих, в людях, которых ему довелось раз только видеть, и то мимоходом.

Половые засуетились. Машина заиграла.

– Эй, малый! – кричал сын природы, – да что это она, братец, там у вас размазню какую-то играет! ты нам давай барабанов – вот что! э? с барабанами есть?

– Никак нет-с, – отвечал половой, бодро потряхивая кудрями.

– Отчего ж нет?

– Да не требуется, – отвечал половой.

– Не требуется? Э, брат, видно, к вам народ-то такой, людишки-то все такие – размазня ходят! Нет, брат, мы вот втроем, мы души крепкие, закаленные... Антоша, а Антоша! друг! закаленные души, а?

– О-о-ох! – жаловался сын природы, покручивая усы, – времена-то наши еще не пришли, а то бы чего-чего мы втроем не наделали! Слышь ты, осел! слышишь, олух? – продолжал он, обращаясь к половому, – вот мы втроем какие люди! так ты давай нам барабанов, бравуру давай – вот что, понимаешь? Ну, проваливай да неси скорее, что там у вас есть.

Через минуту стол был уставлен бутылками, графинами и стаканами. В стороне скромно стояла закуска.

– Уж я таков есть! – говорил сын природы, наливая стаканы, – я вот весь тут на ладони, что хочешь со мною делай! Любишь! – друг, не любишь – бог с тобою! а я уж тут весь, как есть сын природы! Ни лукавства, ни хитрости!

Иван Самойлыч выпил – горько.

– Да ну, пей же! она водка откровенная! вот и я откровенный! вот и постегали меня раз, а все-таки откровенный – не могу, нельзя мне иначе! Антоша, Антоша! – продолжал он с укором, – и ты друг после этого? и тебе не стыдно, а? дар природы стоит перед тобою, и тебе не совестно? ай да друг! Ну, осрамил, брат!

Антоша выпил одним разом...

И пили они много и долго пили. Иван Самойлыч и не помнил счета; едва опоражнивал он стакан, как перед ним вырастал новый и совершенно полный. Смутно, как будто во сне, мерещились ему тосты, предлагаемые зычным голосом сына природы.

Иван Самойлыч потерял всякое чувство. Он видел, правда, что сын природы как будто собрался куда-то выйти с Антошей и что-то указывал на него половому, но ничего не понял из всех этих жестов и разговоров.

Невинные рассказы. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru
Когда он проснулся, на дворе было уж светло. На столе лежали объедки вчерашней закуски, стояли графины с недопитой водкой. В голове его было тяжело, руки и ноги дрожали.

Он начал припоминать себе происшедшее, искал глазами своих товарищей, но в комнате не было никого. Внезапно в душу его закралось тревожное сомнение. «Что, если это мошенники! – подумал он, – что, если они завели меня, чтоб поужинать, да потом, напоивши, и оставили меня под залог?»

Эта мысль мучила его; на цыпочках подошел он к двери и приложил ухо к замочной скважине. В соседней комнате слышались ругающиеся голоса заспанных половых. Он вышел из засады и спросил шинель.

Начали искать шинель – шинели не оказалось; Ивана Самойлыча точно варом обдало. Половые засуетились; поднялась беготня, но ничто не помогало: шинель никак не отыскивалась.

– Да вы с кем приходили? – спросил буфетчик.

– Я не знаю; я в первый раз их видел.

– Мошенники! Лизуны какие-нибудь!

– Да как же я без шинели?

– Не знаю, – отвечал буфетчик с расстановкой, – уж видно, так без шинели придется... ночью-то оттепело... Да вот еще счетец не заплатили...

Язык Ивана Самойлыча прилип к нёбу.

«Сон в руку», – подумал он и всем телом затрясся.

– Так прощайте... я уж так, – сказал он, направляясь за двери.

– А как же счетец-то? – возразил буфетчик.

– Да я не знаю... это они! – бормотал Иван Самойлыч и все шел к двери.

Но его не пустили; Мичулин вздумал было силой прорваться на лестницу; но два дюжие парня крепко держали его за руки и не хотели никак выпустить. Началась борьба; отчаяние, казалось, удесятило его силы; он уже заносил ногу за порог, он был уж на лестнице, как вдруг у самого его носа, неизвестно откуда, вырос удивительного размера городской, а в ушах пренеприятно зазвучало: «А куда ты, шаромыга, лезешь?»

На такую апострофу[95] Иван Самойлыч почел за нужное отвечать, что он вовсе не шаромыга, а привык, дескать, к обращению деликатному и тонкому; но городской, по-видимому, и знать не хотел деликатного обращения. Ему вдруг очень ясно представилось, что шаромыга-то ведь грубит, тогда как на самом деле Иван Самойлыч только оправдывался и объяснял, что вот, дескать, так и так и больше ничего...

– А! ты еще грубить – ты еще рассуждать! Эй, кто там – взять его и распорядиться!

Не успел господин Мичулин оглянуться, как подле него очутилось три помощника, хотя и гораздо меньших размеров, нежели городской. Все четверо схватили его и повели на улицу.

Тщетно умолял Иван Самойлыч городского отпустить, тщетно соблазнял он его, показывая в руке уцелевшие у него два двугривенных... тщетно! городской бесстрастно шел возле и не только понуждал его за рукав, но даже для того, чтоб публично выразить свое бескорыстие, орал во все горло:

– И, что ты! бог с тобой! – да я тебя за сто рублей не выпущу! Ты, брат, знай свои порядки, ты, брат, слушайся, коли начальство приказывает, – вот что!

А народу собралась целая толпа, а в толпе-то смех, в толпе-то веселье: взяли,
Страница 150

Невинные рассказы. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru
дескать, барина в немецком платье!

– Эвось! – говорит бородатый молодец, уже поднявший было полу своего бараньего тулупа, чтоб утереть нос, и оставшийся в положении совершенного изумления, – глянь-ка, брат Ванюха! – глянь-ка, кургузого ведут!..

– Что, видно, ваша милость прогуливаться изволите? – подхватывает другой, тоже, по-видимому, очень бойкий молодец.

– Ги-ги-ги! – отозвался известный Ивану Самойлычу голос девушки, жившей своими трудами.

– Наше вам почтение! – подхватил близ стоявший белокурый студент.

– Ха-ха-ха! – раздалось в толпе.

Мичулин был ни жив ни мертв. Что скажут об нем знакомые? а знакомые непременно все тут, стоят себе рядом и смотрят ему прямо в лицо... Что скажет Наденька? а Наденька непременно здесь, и уж наверное думает, что он, позабывшись, сходил за платком, вместо своего, в чужой карман... О! это очень горестно!.. И он снова вынимал из кармана заветные двугривенные, снова перевортывал их в глазах городского, стараясь, чтоб на них ударил как-нибудь солнечный луч и сообщил им ослепительный, неотразимый блеск.

Наконец его втокнули в какую-то темную, преисполненную тараканами каморку; но и тут заклятые гонители не оставили его.

– Отпустите меня! – жалобным голосом вопиял Иван Самойлыч одному из приставников своих, называвшемуся Мазулей, – голубчик! почтеннейший! отпустите меня! Уж я после отблагодарю вас, почтеннейший! Вечно, всю жизнь буду вам благодарен, голубчик!.. Посудите сами: ведь я не какой-нибудь...

– Ах, друг ты, право, дру-уг! – отвечал Мазуля тоном, впрочем, довольно мягким, – ну, чего ты просишь, душа ты беспардонная! порядков ты не знаешь, дру-уг! Ты сади-ись! ты на народ посмотри! ведь тебя потреплют, потреплют – да и марш! Вот что! дру-уг! то-то, друг ты! душа беспардонная! а ведь мне...

И сердобольный наставник обратился к окошку.

– Бородаукин! а Бородаукин! – кричал он стоявшему снаружи товарищу, – куда, брат, рожок-то спрятал? смерть хо чется – нос совсем светло! То-то, дру-уг, порядков-то ты не знаешь! ахти-хти!

Дверь отворилась, и просунутая дружелюбною рукою Бородавкина тавлинка открыла дары свои охотнику до сильных ощущений Мазуле.

– Да чем же все это кончится? – спрашивал сквозь слезы Иван Самойлыч.

– Известно чем! – отвечал Мазуля флегматически, – известно чем! набольший раза два стукнет, да и отпустит – вот чем!

Наступило молчание.

– А может, и три стукнет! как ему вздумается! – сказал наставник, подумав немного.

Новое молчание.

Иван Самойлыч был в самом мучительном положении.

Что ж он, в самом деле, такое, что его судьба так неумолимо преследует? Уж не принц ли он какой-нибудь, свергнутый с престола посредством крамолы властолюбивого царедворца и скитающийся теперь инкогнито? Но в таком случае он был готов сейчас же, и за себя, и за своих наследников, отказаться от всяких претензий на все возможные блага, только оставили бы его в покое в эту минуту.

А между тем вошел и Бородавкин. О, как жесток он был с Иваном Самойлычем! как презрительно и обидно обращался он с ним! И первым оскорблением было то, что он,

Невинные рассказы. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru без всяких церемоний, стал скинуть перед ним свое платье и в сотый раз не узнал своей шинели, хотя в сотый раз уж держал ее у себя в руках; в сотый раз оглядывал и перевертывал ее на все стороны – и все-таки никак не мог узнать, и снова искал, и снова не находил.

– Да где же она? – спрашивал он сам себя, прибавив к этому несколько резкое выражение, – да куда ж она подевалась, распроклятая?

– Да она у вас в руках! – осмелился заметить Иван Самойлыч, но осмелился чрезвычайно робко и мягко, как будто бы делал страшное преступление.

– В руках? – ворчал Бородавкин себе под нос, как будто и не слышал, что замечание исходило со стороны Ивана Самойлыча, – а кто ее знает! может, и в руках! Вот как не нужно ее, распроклятую, – так и лезет, так и лезет! глаза колет! а как нужда – тут ее и нет! Право, так! Хитер, лукав нынче сделался народ! Ну, полезай! да полезай же, тебе говорят!

– Да когда же все это кончится? – спросил Мичулин.

Бородавкин пристально взглянул на него и отвернулся.

– Чем же я виноват? посудите сами! Ведь я ничего, право, ничего...

Бородавкин не отвечал.

– Да чем же все это кончится? – снова вопиял Иван Самойлыч.

– Ты садись! – проговорил Бородавкин лаконически.

– Посудите сами, почтеннейший! ведь я просто так... за что ж?

– Ты, брат, совсем как малый ребенок! – возразил Бородавкин, – ничего ты не понимаешь, никакого порядка! Ну, чего ты хнычешь? ты садись!

– Да посудите же сами, голубчик... ведь я человек образованный...

– Образованный! ну, какой же ты образованный, коли порядков не знаешь, на большему согрубил? А образованный! да ты садись, а я с тобой и говорить-то не буду, и слушать-то тебя не хочу!

И Бородавкин погрузился в размышления.

– Ведь мне, брат, – вот что! – сказал он подобно Мазуле, подумав несколько времени.

Наконец Ивана Самойлыча повели; проводники снова шли по сторонам. Вели его что-то долго, очень долго; и на дороге встречались разные лица, которые оборачивались и насмешливо поглядывали на бледного и чуть живого от стыда героя этой повести.

– Должно быть – мошенник! – говорил франт в коричневом пальто и с столь же коричневым носом.

– А может быть, и государственный преступник! – отвечал господин с подозрительною физиономией, беспрестанно оглядывавшийся назад.

– Мошенник! я вам говорю – мошенник! – возразило с жаром коричневое пальто, – просто платки воровал! Посмотрите, что за рожа! За ничто, из одного удовольствия готов зарезать человека...

Но подозрительный господин не уgomонился и все-таки стоял на своем, что это должен быть важный государственный преступник.

Много мудрых речей слышал Иван Самойлыч во время земного странствия своего; много полезных житейских советов прошло через слуховой его орган; но, поистине, ничего подобного не могло даже и представить себе не совсем бойкое его воображение – тому, что изрекли уста набольшего. Речь его была проста и безыскусственна, как сама истина, а между тем не лишена и некоторой соли, и с

Невинные рассказы. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru этой стороны походила на вымысел, так что представляла собою один величественный синтез, соединение истины и басни, простоты и украшенного блестками поэзии вымысла.

– Ах, молодой человек! молодой человек! – говорил набольший, – ты подумай, что ты сделал! ты вникни в свой поступок, да не по поверхности скользи, а сойди в самую глубину своей совести! Ах, молодой человек! молодой человек!

И действительно, Иван Самойлыч вникнул, и как-то вдруг ему представилось, что он и в самом деле сделал ужасно гнусное преступление.

– Да уж что ж делать! – отвечал он, внезапно подавленный могучею силою угрызений совести, – уж это грех такой случился! уж вы меня простите великодушно! право, простите!

Но набольший быстрыми шагами заходил по комнате, вероятно придумывая, как бы этак вновь еще более убедить своего подсудимого и окончательно вызвать в нем пробуждение закосневшей совести.

– Ах, молодой человек! молодой человек! – сказал он спустя несколько минут.

И снова зашагал по комнате.

– Вы извольте сами милостиво рассудить, – начал между тем Иван Самойлыч, – ведь я человек благовоспитанный и одет, кажется, как следует благовоспитанному человеку, а не то чтоб какой-нибудь мужик!

– Ах, молодой человек! молодой человек! – возразил набольший таинственным голосом и покачивая головой, как будто в одно и то же время и удивлялся неопытности Мичулина, и хотел ему сообщить что-то чрезвычайно секретное, – то-то вот неопытность! да вы не знаете, какие дела на свете делаются! да иной с бобром, сударь, ходит! по-французски, по-немецки и черт его знает еще по-каковски – а плут! мошенник, сударь! естественнейший мошенник! Ах, молодой человек, молодой человек!

Иван Самойлыч снова понурил голову, и снова набольший зашагал по комнате.

– Что же мне с вами делать? – спросил набольший после краткого размышления.

– Да уж будьте великодушны! простите! – заметил Иван Самойлыч.

– Право, не знаю! истинно вам говорю – в презатруднительное поставили вы меня положение! С одной стороны, и вас жаль: думаешь, ни за грош пропадет, по неопытности своей, молодой человек! а с другой стороны – пример нужен, долг повелевает!.. наша обязанность... о, вы не знаете, что такое наша обязанность!

Мичулин согласился, что обязанность, действительно, ответственная, но все-таки просил великодушно отпустить его.

– Уж разве для такого дня? – сказал набольший в виде предположения (день был, по-видимому, торжественный).

– Да, уж хоть для дня-то!

– Право, не знаю... дело-то оно такое затруднительное...

И набольший снова начал шагать, все обдумывая, как бы ему выйти из затруднительного положения.

– Ну, да уж бог с вами – была не была! отвечу перед богом; уж, видно, делать нечего – нрав у меня такой... то есть, поверите ли, последнюю рубашку готов с себя снять, а ближнего без рубашки не оставляю... нет!

Иван Самойлыч, с своей стороны, отвечал, что и он готов снять с себя последнюю рубашку, чтобы выразить господину набольшему свою чувствительнейшую благодарность, но что уж помнить оказанное благодеяние станет по гроб, будьте в том уверены!

Невинные рассказы. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru
– Что мне ваша память! – отвечал набольший со вздохом, – что мне благодарность ваша? Спокойствие совести – вот где награда! Ах, молодой человек! молодой человек!!

IX

Не замеченный никем пробрался Иван Самойлыч в свою уединенную комнату. Не сказав никому ни слова о случившемся с ним происшествии, запер он дверь и задумался, горько задумался... Происшествие окончательно доконало его. А тут еще и лихорадка бьет, и мысли такие в голову лезут... тяжело, совсем тяжело жить на свете!.. А лихорадка все бьет! а мысли все лезут, все лезут!

И Мичулин думал, думал... пока не пришел к нему рыжий, плечистый мужик с огненной бородой и не стал настоятельно требовать удовлетворения; за мужиком кидалась на него, показывая самые страшные и длинные когти, Наденька и тоже искала удовлетворения... Иван Самойлыч совсем растерялся, тем более что над всем этим хаосом возвышалось бесконечное на бесконечно маленьких ножках, совершенно подгибавшихся под огромную, подавлявшую их тяжестью. Но всего обиднее то, что, вглядываясь в это страшное, всепоглощающее бесконечное, он ясно увидел, что оно не что иное, как воплощение того же самого страшного вопроса, который так мучительно и настойчиво пытал его горькую участь.

И в самом деле, бесконечное так странно и двусмысленно улыбалось, глядя на это конечное существо, которое, под фирмой «Иван Самойлыч Мичулин», пресмыкалось у ног его, что бедный человек оробел и потерялся вконец...

– погоди же, сыграю я с тобой штуку! – говорило бесконечное, подпрыгивая на упругих ножках своих, – ты хочешь знать, что ты такое? изволь: я подниму завесу, скрывающую от тебя таинственную действительность, – смотри и любуйся!

И действительно, разом очутился Иван Самойлыч в пространстве и во времени, в совершенно неизвестном ему государстве, в совершенно неизвестную эпоху, окруженный густым и непроницаемым туманом. Вглядываясь, однако ж, пристальнее, он не без удивления заметил, что из тумана вдруг начинает отделяться бесчисленное множество колонн и что колонны эти, принимая кверху все более и более наклонное положение, соединяются наконец в одной общей вершине и составляют совершенно правильную пирамиду. Но каково же было изумление бедного смертного, когда он, подойдя к этому странному зданию, увидел, что образующие его колонны сделаны вовсе не из гранита или какого-нибудь подобного минерала, а все составлены из таких же людей, как и он, только различных цветов и форм, что, впрочем, сообщало всей пирамиде приятный для глаз характер разнообразия.

И вдруг замелькали ему в глаза различные знакомые лица: вот и Беобахтер, философии кандидат, с гитарой в руках, вращающийся бессознательно в одной из колонн; вон и занимающийся литературой Ваня Мараев, мужчина статный и красивый, но с несколько пьяными глазами; и все эти знакомые лица так низко стоят, так бессознательно, безлично улыбаются, завидев Ивана Самойлыча, что ему стало совестно и за них, и даже за самого себя, что мог он водить знакомство с такими ничтожными, не стоящими плевка людьми.

«А что, если и я...» – подумал он, да и не додумал, потому что мысль его замерзла на половине пути: так испугался он, вдруг вспомнив, что этак и себя может, пожалуй, увидеть в не совсем затейливом положении...

И как нарочно, огромная пирамида, до тех пор показывавшая ему, одну за другой, все свои стороны, вдруг остановилась. Кровь несчастного застыла в жилах, дыханье занялось в груди, голова закружилась, когда он увидел в самом низу необыкновенно объемистого столба такого же Ивана Самойлыча, как и он сам, но в таком бедственном и странном положении, что глазам не хотелось верить. И действительно, стоявшая перед ним масса представляла любопытное зрелище: она вся была составлена из бесчисленного множества людей, один на другого насаженных, так что голова Ивана Самойлыча была так изуродована тяготевшей над нею тяжестью, что лишилась даже признаков своего человеческого характера, а часть, называемая черепом, даже обратилась в совершенное ничтожество и была окончательно выписана из наличности. Вообще, во всей фигуре этого странного, мифического Мичулина выражался такой умственный пауперизм, такое нравственное нищенство, что настоящему, издали наблюдающему Мичулину сделалось и тесно и тяжело, и он с силою устремился, чтоб вырвать своего страждущего двойника из-под гнетущей его тяжести. Но какая-то страшная сила приковывала его к одному месту, и он со

Невинные рассказы. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru
слезами на глазах и гложащею тоскою в сердце – обратил взор свой выше.

И чем выше забирался этот взор, тем оконченнее казались Ивану Самойлычу люди. .
. . .

Он сам теперь чувствовал, как страшная тяжесть давила его голову; он чувствовал, как, одно за другим, пропадали те качества, которые делали из него человеческий образ... Холодный пот обливал его тело; дыхание замерло в груди; волосы, один за другим, шевелились и вставали; весь организм трепетал в паническом ожидании чего-то неслыханного... Он сделал отчаянное, непомерное усилие и... проснулся.

Вокруг постели его в глубокомысленном безмолвии стояли все жильцы Шарлотты Готлибовны. Первым предметом, особенно поразившим его отяжелевшие от сна глаза, была Наденька Ручкина, та самая гордая и непоколебимая Наденька, которая столько раз говорила ему, что уж если она что сказала – так уж сказала и слова своего не переменит ни в жизнь, и которая в настоящую минуту сидела на его постели и заботливо укутывала ему ноги. Это отрадное явление в одну минуту так поглотило все его внимание, что он забыл все окружающее; в душе его вдруг мелькнуло нечто похожее на мираж, и в воображении незаметно начала рисоваться тихая, но полная счастья семейная жизнь с любящею и любимую женою, с ненаглядными детьми... Он уж хотел было весело и бодро вскочить с постели, чтоб поцеловать эти розовые губки, самые розовые, какие только возможно встретить на целой поверхности земного шара, и потом, ловко подмигнув одним глазом и посмотрев под постель сперва с одной, а потом и с другой стороны, тут же сказать, как и подобает ласковому отцу семейства: «А куда спрятался этот плут-мальчик Коко, или – хитрая девочка Варенька?..»; все это уже мелькнуло было в душе Ивана Самойлыча, как вдруг глазам его представилась действительность – действительность самая нагая и безотрадная, какую только можно было себе вообразить; одним словом, действительность, составленная из Шарлотты Готлибовны, Ивана Макарыча, господина Беобахтера и Алексиса Звонского.

– А мы было думали, что тебе уж того... карачун пришел! – заревел, как из бочки, сиплый бас друга и приятеля Ивана Макарыча над самым ухом Мичулина.

– Да, именно ми думаль, што вам уж совсем карачун, – отозвалась тощая фигура Шарлотты Готлибовны, томно опираясь на мощное плечо Пережиги.

– Смотря на вас в эту минуту, я понял наконец загадку жизни! Я видел бледную смерть, махающую неумолимым лезвием косы своей... О, это была страшная, торжественная минута! Мне представлялась эта бледная смерть... pallida mors... Вы читали Горация, Иван Самойлыч?

Так проговорил свое приветствие господин Беобахтер, но проговорил его таким сладким и приятным голосом, как будто бы дело шло о вещи самой обыкновенной.

– Да, мы думали, что вы уж совсем умерли! – отозвался, с своей стороны, апатически-лаконический Алексис.

Иван Самойлыч благодарил соседей за участие, говорил им, что он еще совершенно жив, в доказательство чего и начинал было подниматься с постели. Но он не мог: голова его горела, в глазах было мутно, силы ослабли, и как ни старался он казаться бодрым и свежим, а поневоле должен был снова опуститься на подушку.

– Благодарю, брат, бога, что ты еще не околел и что тут не было квартального надзирателя! – заревел снова Иван Макарыч и протянул уж руку, чтоб ударить больного, в знак сочувствия, по плечу, и непременно ударил бы, если бы не удержала его Наденька.

– Квартальный надзиратель? – прошептал Иван Самойлыч едва внятным голосом. – А что, разве я что-нибудь... того?

– Да, брат, уж известно... того.

– О, ви очень вольна мисль делал! – прервала Шарлотта Готлибовна.

– То есть, просто донеси я или кто-нибудь другой, просто найдись какая-нибудь этакая шельма, хриstopродавец – озолотят, ей-богу, озолотят. Не будь я Иван Пережига!.. ну, а тебя, известно, на казенную квартиру с отоплением и

Невинные рассказы. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru
освещением... ха-ха-ха! Так ли, Шарлотта Готлибовна?

– О, ви очень любезни кавалир, Иван Макарович!

– Да, это ужасно! быть закованным в тяжелые цепи, осужденным на вечную тьму, вечно видеть одно и то же сухое и прозаическое лицо темничного стража, слышать, как капля по капле вытекает жизнь!.. о, это ужасно!.. – сказал господин Беобахтер, особенно нежно напирая на слова: «капля по капле».

– Уж как пошел, брат, по мечтанию, – снова заметил Иван Макарыч, – да начал вывертывать в голове разные этакие штуки, так тут уж, брат, адье, мон плезир, [96] пиши пропало... Вот я про себя скажу: я в жизнь свою никогда не мечтал, а поди-тко, поищи другого такого молодца...

Шарлотта Готлибовна зарделась.

– Ну, так что ж ты не встаешь? – продолжал он, обращаясь к Мичулину и сильно тряся его за руку, – не спать же, в самом деле, целый день! Небойсь раскис, укачали тебя домовые-то? Эка баба! просто даже смотреть на тебя противно!

Но Иван Самойлыч молчал; бледный как полотно, лежал он без всякого движения на постели; пульс его бился слабо и медленно: во всем существе своем ощущал он какую-то небывалую, болезненную слабость.

Наденька Ручкина наклонилась к нему и, взяв его за руку, спросила, не нужно ли ему чего-нибудь, что он чувствует, и так далее, как обыкновенно спрашивают сердобольные молодые девушки.

– Я не знаю... мне больно! – чуть слышно отвечал Иван Самойлыч, – мне очень больно...

– А! – небойсь и язык развязался, – ревел между тем Пережига, – небойсь расшевелился, как женский-то пол подошел!

– Оставьте меня... я болен! – шептал Иван Самойлыч умоляющим голосом.

– Да и в самом деле, пусть его тут бабится! Милости просим, господа, ко мне!

Иван Самойлыч остался один на один с Наденькой; глаза его неподвижно были устремлены на нее; бледное, худое лицо выражало непереносное страдание; медленно взял он ее руку и долго-долго прижимал к губам своим.

– Наденька! – добрая! – сказал он прерывающимся голосом, – поцелуй меня... в первый и в последний раз!..

Наденька изумилась. По свойственной ей подозрительности она начала уж было смекать, что все это не даром, что все это штука, что он хочет только усыпить ее бдительность; но когда она взглянула на это изможденное лицо, на эти глаза, обращенные к ней с мольбою и ожиданием, ей вдруг стало как-то совестно своих подозрений; маленькому сердцу ее сделалось и тесно, и неловко, а притом и слеза, самая миньютюрная, крохотная слеза, как-то совершенно нечаянно навернулась на глаза и упала с ее глаз на раскрытую грудь Мичулна. Делать нечего, Наденька отерла слезу, наклонилась и поцеловала больного. Лицо Ивана Самойлыча улыбнулось.

– Что это с вами, Иван Самойлыч? – спросила Наденька, – верно, вы простудились?

– Ох, нет! это все то... все по тому делу... помните, по которому я к вам приходил?

– А что, разве оно важное какое-нибудь дело, что так расстроило вас?

– Да; оно, знаете... дело капитальное!.. А как мне больно- то, больно-то, если бы вы знали!

Наденька покачала головкой.

– Не послать ли за лекарем, Иван Самойлыч?

Невинные рассказы. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru
– За лекарем?.. да, оно бы не худо! может, что-нибудь и прописал бы... а впрочем, зачем? ведь дела-то он мне все-таки не объяснит!.. нет, не нужно лекаря!

– Да, по крайней мере, он помог бы вам, Иван Самойлыч!

– Нет, уж это пустое дело, Наденька, самое пустое! я вам говорю, я знаю.. Оно, может статься, и поможет, да толку-то в этом что будет! Ну, выздоровлю... а потом-то?.. нет, не надо лекаря...

Наденька молчала.

– Да к тому же, лекарю-то ведь нужно денег; к бедному хороший-то и пойти не захочет... вот оно что! а какой попадетсЯ-то, – Христос с ним! только измучит... лучше уж так умереть!

В это время дверь с шумом отворилась, и в комнату ввалилась дебелая фигура Пережиги с штофом в одной и рюмкою в другой руке.

– А вот, хвати-ко, друже, бальзамчику! – ревел знакомый Иван Самойлычу голос, – это, брат, знаешь, как душу отведет, ей-богу, отведет!.. А умрешь, так, видно, так уж оно быть должно, видно, так уж и богу угодно! – ну-ка, выпей. Да не морщись же, баба!

И Мичулин с ужасом видел, как дрожащая и неверная от частых жертв Бахусу рука Пережиги наполняла рюмку жгучим, как огонь, составом, заключавшимся в графине. Он начал было отказываться, говорил, что ему легче, что он слава богу, но тщетно: рюмка была уже налита, да притом же и Наденька своим мягким голоском убеждала его попробовать, авось, дескать, от этого немного и полегчит ему. Не переводя духу, выпил Иван Самойлыч поданную водку и почти без чувств упал на постель.

– Эка водка! эка вор-водка! – говорил между тем друг и приятель Иван Макарыч, глядя на искаженное конвульсиями лицо Мичулина, – эк ее забирает, эк забирает! – у, бестианская водка! еще как он не захлебнулся! – право, так, живуч, живуч! – а ведь в чем душа держится!

И Пережига с самодовольною улыбкою любовался изнеможением и страданиями Ивана Самойлыча, как будто хотел сказать ему: «А что, брат! – задал я тебе задачу? – посмотрим, как-то ты из нее выпутаешься... а живуч! живуч!»

Действительно, выпутаться было уж довольно трудно. Наденька побежала за доктором и вскоре привела какого-то немца, несколько навеселе, беспрестанно нюхавшего табак и плевавшего во все стороны. Лекарь подошел к больному, долго и с напряжением щупал ему пульс, как будто хотел повертеть у него в руке дыру, и покачал головой; велел высунуть язык, осмотрел и тоже покачал головой; потом понюхал табак, снова пощупал пульс и пристально осмотрел язык.

– Schlecht, [97] – сказал доктор в раздумье.

– Что ж? есть ли какая-нибудь надежда? – спросила Наденька.

– О, никакой! и не полагайте! а впрочем, поднимите пациенту голову...

Голову подняли.

– Гм, никакой надежды! – уж вы поверьте, я уж знаю!.. вы давали ему что-нибудь?

– Да, Иван Макарыч давал ему водки.

– водки? schlecht, sehr schlecht... [98] а есть у вас водка?

– Не знаю; спрошу у Ивана Макарыча.

– Нет, не нужно: я так, более из любопытства... а впрочем, уж если есть, так отчего и не выпить?

Наденька вышла и минут через пять воротилась с графином.

Невинные рассказы. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru
– Водка очень часто здорово, а очень часто и вредно, – глубокомысленно заметил медик.

– Что ж, умереть, что ли, надобно? – робко и едва слышно спросил Иван Самойлыч.

– Да уж это будьте покойны! – умрете, непременно умрете!

– А скоро? – снова спросил больной.

– Да этак часа через два, через три, надо будет... Прощайте, почтеннейший; желаю вам покойной ночи!

Однако ночь была беспокойна. По временам больной, действительно, засыпал, но потом внезапно вскакивал с постели, хватал себя за голову и жалобным голосом спрашивал у Наденьки, куда девался его мозг, зачем сдавили у него душу, и пр. На это Наденька отвечала, что головка его цела, слава богу, а вот, мол, не хочется ли ему выпить ромашки – так ромашка есть. И он брал чашку в руку и беспрекословно выпивал ромашку.

На другой день, к обеду, ему сделалось как будто и полегче: он был спокоен и хотя очень слаб, но мог, однако ж, говорить. Он брал у Наденьки руки, прижимал их к сердцу, целовал их, прижимал к глазам, ко лбу, и плакал... тихими, сладкими слезами плакал.

И Наденьке, с своей стороны, тоже было жаль его. Впервые она как будто поняла, что в ее глазах умирает человек, что этот человек любил ее, а она жестко и неприязненно оттолкнула его от себя. Кто знает, что причиною этой смерти? Кто знает, может быть, он был бы и здоров, и весел, если бы... о, если бы ты взглянуло, доброе, чудное существо, взглянуло глазами сострадания и сочувствия на это обращенное к тебе лицо! если бы ты могло уронить хоть один луч любви на эту бедную, истерзанную горем и нуждою душу! о, если бы это было возможно!

– Послушайте, – говорил между тем Иван Самоилыч, взяв ее за руку, – вы забудьте, что я надоедал вам, что я оскорблял вас... Оно конечно, я много и много виноват, да ведь что ж делать? ведь я один, Наденька, совсем один... Ведь я же не виноват, что не красив и не учен, что же мне с этим делать? Разумеется, и вы не виноваты, что не могли любить меня...

Больной с трудом перевел дыхание, грустно посмотрел он в лицо Наденьки, но Наденька молчала и, опустив глаза, смотрела в землю.

– Думается мне, однако ж, – снова начал Иван Самойлыч слабым голосом, – что если бы с детства... в то время, когда и кровь-то в нас тепла, если бы в то время не положили меня под пресс да не заковали, так, может, и вышло бы что-нибудь из меня... Воспитали-то меня так, что ни к чему не годен я сделался... с детства так вели, как будто и целый век должен был малоумным остаться да на помочах ходить... Вот как пришлось трудом кусок себе добыть – и негде, и нечем... Да и тут, право, не знаю, винить ли мне кого-нибудь... отец мой человек старого века и необразованный, мать – тоже: они не виноваты, что не видали...

– А может быть, я и сам во всем виноват, – продолжал он чрез минуту, – потому что ведь бог дал мне волю, а я действовал как грубое животное!.. Да, я виноват, да и не перед собою одним виноват, а еще и богу ответ дам, что допустил так насмеяться над собою... А впрочем, и тут опять-таки еще бог знает, мог ли бы я что-нибудь сделать один.

И снова умолк Иван Самойлыч, и снова, потупив глазки, ничего не отвечала Наденька.

– Так вот так-то, Наденька! – продолжал больной, – часто мы и сами во всем виноваты, а других виним!.. Вот это-то дело, оно-то и сгубило меня, Наденька! в нем-то именно и смерть моя! – а совсем не в том, будто бы я простудился... Простудиться может тело, простуду можно вылечить, а вот как душа-то больна, как сердце-то ноет да стонет, вот тогда-то страшно, Наденька! – не дай бог, как страшно!..

Он замолчал; Наденька задумчиво опустила голову и долго о чем-то размышляла. Думалось ли ей, что, действительно, сам виноват Иван Самойлыч в том, что

Невинные рассказы. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru дозволил обстоятельству до такой степени лишиться себя всякой бодрости, или она оправдывала его тем, что обстоятельство все-таки обстоятельства, как ни борись против них... Это ли, другое ли ей думалось, дело в том, что как-то грустно, необычайно грустно, сделалось бедной девушке. Может быть, к этим мыслям присоединилась другая, не менее горькая и безвыходная мысль – мысль ее собственного безотрадного, чреватого лишениями и трудом будущего, та мысль, что и она находится в подобном же положении, и она должна бороться... вечно и упорно бороться!.. И она забыла и об Иване Самойлыче, и об апатически-лаконическом Алексисе; в воспоминании ее вдруг мелькнула деревенская избушка, старый господский дом, запущенный сад с поросшими травой дорожками, река, вяло и как будто нехотя катившая свои сонные волны в какое-то далекое, неведомое государство; стая уток, апатически полоскавшаяся в воде; толпа грязных и оборванных ребятишек, столь же апатически копавшаяся в грязи и навозе... Но все это так живо, так быстро воскресло в ее памяти, так быстро, так быстро, один за другим, сменялись – и сосновый синеющий вдаль лес, и вспаханные борозды полей, и старая деревянная церковь... Лучше ли ей было тогда? лучше ли, чище ли сама она была в то время?.. Лучше ли было бы, если бы вдруг, по какому-нибудь волшебному случаю, ей снова пришлось воротиться к этой давно прошедшей, давно уж изгладившейся из памяти жизни?..

А между тем на дворе уж и смерклось; в комнате тихо, ни шороха, ни звука; Наденька подумала, что Иван Самойлыч заснул, и вознамерилась идти в свою комнату. Но перед уходом, чтоб ближе удостовериться, действительно ли спит больной, она наклонилась к нему и начала прислушиваться к его дыханию. Но дыхания не было слышно... Она взяла его за руку – рука была холодна... Наденьке сделалось страшно. В первый раз в жизни была она один на один с мертвым человеком... а притом неподвижные глаза покойника так и смотрели, так и смотрели на нее, как будто хотели сконфузить бедную, будто упрекали ее за какое-то страшное преступление... С невольным чувством содрогания набросила она поскорее на лицо усопшего одеяло и выбежала из комнаты.

Через пять минут все нахлебники Шарлотты Готлибовны, и в числе их сама она под руку с Иваном Макарычем, явились на поклон к покойнику. Толков было много; некоторые даже сомневались, точно ли умер Иван Самойлыч. А Иван Макарыч даже решительно утверждал, что это все вздор, что господин Мичулин не может умереть, потому что вчера еще дал он ему такого лекарства, от которого и мертвый из гроба встанет.

– Надо вам сказать, господа, – говорил он, обращаясь к присутствующим, – что на свете иногда чудные бывают штуки! Спьяну, что ли, это делается, а вдруг человек не пошевелится, не моргнет – а между тем жив и все слышит, что вокруг него делается!.. Я вам говорю, господа, что бывали даже примеры, что и в землю зарывали живых...

Но для того, чтоб окончательно убедиться, точно ли умер Иван Самойлыч, и иметь право развивать свои познания насчет заживо погребенных, любознательный Пережига подошел к нему поближе, потряс его за нос – нос был холодный, приложил руку ко рту – дыхания не оказалось.

– А кто его знает! может быть, и в самом деле умер! – сказал он с убийственным равнодушием, отходя от бездушного трупа, – и водка не спасла тебя, бабья душа! И хорошо, брат, сделал, что умер!

Однако ж, так как Мичулин не имел совершенно никаких родственников, ни знакомых, то Шарлотта Готлибовна почла нужным послать за полицейским чиновником, наперед пересмотрев всюду, не имеется ли чего ценного. Но ценного оказалось всего только поношенный сюртук да из белья кое-что. Вследствие такой бедности капиталов все нахлебники тут же решились сделать складчину, чтоб приличным христианину образом похоронить своего собрата.

Полицейский чиновник не заставил долго ждать себя. Малый он был нрава веселого и вообще любил при удобном случае пошутить, не выходя, впрочем, из пределов благопристойности... о, ни-ни, как это возможно!

– Скажите пожалуйста! – начал он, когда объяснили ему причину его призыва, – так вот-с какое странное над вами стряслось дело! Ну-с, делать нечего, приступим к освидетельствованию; посмотрим, не окажется ли каких боевых и насильственных знаков!

Шарлотта Готлибовна знала, что господин чиновник изволит шутить; поэтому нисколько не смутилась, а только сказала ему с самою очаровательною улыбкою:

– О, ви очень любезный кавалир, Деметрий Осипич!

– Да-с! уж этого, изволите видеть, и закон требует, а я орудие, ничего, как ничтожное орудие... Да-с, посмотрим, посмотрим... а может быть, его и отравили?.. Ха-ха-ха! может быть, у него и деньги были, мильонщик был... ха-ха-ха!

И веселый Дмитрий Осипыч заливался добродушным и звонким хохотом.

Осмотрев тело Ивана Самойлыча и удостоверившись, что отравы или удавления тут нет никаких, добродушный Дмитрий Осипыч изъявил желание осведомиться об имуществе покойного.

– Ну, давайте же нам их сюда, давайте нам мильоны-то! – говорил он с обычной своей веселостью, – ведь неравно наследники будут, ха-ха-ха!.. Э, – продолжал он, перебирая пожитки умершего, – да у него целых шесть рубах было! и фуфайка теплая... а умер!

– Скажите же, пожалуйста, господа, – обратился он к присутствующим, – что ж бы это за причина была такая, что вот жил-жил человек, да вдруг и умер?..

– То есть вы хотите узнать философию смерти? – заметил Беобахтер.

– Да-с, я, знаете, люблю иногда вечерком позаняться этакими разными мыслями, и, признаюсь, есть вещи, которые сильно интригуют меня: например, вот хоть и это – жил-жил человек, да вдруг и умер!.. Странное, очень странное дело!

– О, это не легко объяснить себе! тут целая наука! – отвечал господин Беобахтер, – над этим многие философы немало трудились... Да, это трудно, очень трудно!.. тут бесконечное!

– Что тут трудно! – прервал Пережигга, – трудно, трудно! а дело-то очень просто объясняется! Извольте видеть, уж как пошел человек по мечтанию, как пошло в его голове разные штуки да закорючки выкидывать, так уж известно – плохо дело! Вот и смерть приключилась! Какое же тут бесконечное? что за философия? То-то, брат! все с своими выморозками лезешь! Уж я говорю, растянуться и тебе, как ему! Право так, помяни мое слово!

– То есть что же вы разумеете под словами: «пошел по мечтанию»? – спросил Дмитрий Осипыч.

– Ну, да уж известно что: скепцизм, батюшка, скепцизм одолел! вот что!

– Гм, скепцизм? – соображал Дмитрий Осипыч, – скепцизм? то есть что же вы под этим разумеете?

– А вот, примерно, человек с собакой идет: ну, мы с вами просто так и говорим, что вот, мол, человек идет и за ним собака бежит, а скепцист: нет, говорит, это, изволите видеть, собака идет и человека ведет.

– Тсс, скажите! так, стало быть, покойник был странный человек? – спросил Дмитрий Осипыч и тут же с упреком покачал головою на Ивана Самойлыча.

– Я вам говорю: по мечтанию пошел! Уж какую он в последнее время ахиною городил, так хоть святых вон понеси: и то нехорошо, и то дурно...

– Тсс, скажите пожалуйста! – продолжал Дмитрий Осипыч, строго покачав головою, – а ведь чем была не жизнь человеку! и сыт был, и одет был! звание, сударь ты мой, имел! и вот не усомнился же возроптать на создателя своего... Честью вам доложу, уж нет в мире животного неблагодарнее человека. Пригрей его, накорми его – укусит, непременно укусит. Уж такая, видно, его натура, господа!

НЕОКОНЧЕННОЕ

ПРЕДЧУВСТВИЯ, ГАДАНИЯ, ПОМЫСЛЫ И ЗАБОТЫ СОВРЕМЕННОГО ЧЕЛОВЕКА

1-е ноября. Встал нынче утром необыкновенно рано. Целую почти ночь не спал.

Невинные рассказы. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru
Третий раз срядя снится, будто ворон вцепился в меня когтями и клюет мне желудок. Справлялся с «Сонником», ответ вышел короткий: «злодей не дремлет». Желал проникнуть в сокровенный смысл этих слов, но как ни вникал, а разгадать не мог, по той причине, что тайна будущего от нас, по милости божией, непроницаемой завесой скрыта. Однако ж, раздумавшись об этом, пренебрег и хозяйственными заботами. Давно бы вот надо фореитора выбрать на место Андрюшки...

2-е ноября. Опять во сне видел птицу: вырвала кусок моего мяса и, поднявши нос, смакует. Словом сказать, хоть не ложись спать. Приезжал с соседней фабрики управляющий, спрашивал, не соглашусь ли отпустить в работы девок. Настасья Петровна настаивала, чтоб отпустить, потому что цену дают сходную. Однако, по причине расстройства душевного, не мог ничего сообразить, а потому и разговор до времени отклонил. Потом приходил Андрюшка и опять приставал, чтоб его сменить. Оно и точно, что безобразно: и борода седая, да и вырос как-то неестественно. Черт их знает, а в ихнем звании и законы природы как будто власти никакой не имеют. Вот ему давно бы пора перестать расти, а он ничего, растет как ни в чем не бывало! А говорят еще, что мало кормим!.. Однако, за душевную смуту, и этого дела не мог сообразить.

8-е ноября. День был пасмурный; снегу навалило столько, что в течение какого-нибудь часа стал зимник. Хотя видения меня и оставили, однако ж хозяйственных распоряжений никаких делать не мог. Поэтому целый день из халата не выходил и размышлял о том, кто мы?

9-е ноября. Кто мы? Если вопрос разобрать теоретически, то, конечно, нельзя не согласиться, что все мы люди, все человеки. Ежели же разбирать этот вопрос практически, то есть как все в природе происходит, то выйдет, что всякому человеку на свете не только свое место определено, но и всякий человек из своего собственного сферовращения никаким образом в чуждое ему сферовращение переступить не может. Есть люди малайцы, есть люди индейцы; есть люди черные, люди коричневые и люди белые. Каждый из них в своем кругу. Поэтому есть люди, так сказать, подначальные, у которых тоже свой круг и свое обращение. Можно ли и должно ли границы сии преступать? На это ответ простой. Известно, что все земные бедствия, как-то: голод, град, холера, эпизотия и пр. – все от греха первородного. Можем ли мы все сие отвратить? Не можем, всеконечно. Но если сих, так сказать, прирожденных роду человеческого бедствий предотвратить не можем, то, следовательно, не можем и черного человека сделать белым и наоборот. *Dixi et animam levavi*, [99] как пишут нынче господа газетчики, что значит: сказал и душу тем себе упразднил.

10 ноября. Нет, не упразднил. Мужик, целый день предающийся прирожденной лени и праздности, или человек, денно и ночью не только о самом себе, но и о целой государственной системе помышляющий; мужик, ищущий отдохновения в вине и в непристойной пляске, или человек, отдыхающий от забот в умственных упражнениях, в философических разысканиях и в тайной беседе с отсутствующими! Граница проведена ясно. Отчего темный человек рассуждает о двуперстии, о нестрижении бороды и других нелепостях, а дворянин о том не рассуждает? Оттого, что дворянскому званию сие неприлично. Отчего темный человек обращается с навозом и другими низкого свойства предметами, а дворянину пребывает лишь в сферах благоухающих? Оттого, что сие званию дворянскому пристойно. Вопросов сего рода можно бы множество предложить, а предложивши, убедиться, что здесь все чувства природы, как-то: обоняние, вкус, зрение, осязание и слух – словом, все разнствует. Итак, не будем же удивляться, что в природе существуют и белый, и зеленый, и красный цвета, что зеленому, а не красному цвету прилично одевать деревья и злаки, что стол, на котором я начертываю сии заметки, красный, а бумага белая. Все сие выше скудного нашего рассуждения и не от нас непреложно устроено.

11 ноября. Поводом же к таковым рассуждениям послужил заседатель от дворян Снежков, привезший известие, будто бы.. но нет! скорее отечество наше превратится в бесплодную степь Сахару, нежели рука моя начертает слово гибели и злорадства.

15-е ноября. Вновь мучили душу предчувствия. За обедом Прохор докладывал, что тараканы ползут из дому; вечером столп огненный показался на небе. От всех сих предзнаменований такое точно происходило ощущение, как бы половину достояния отнимали. А Настасья Петровна между тем все продолжает приставать с Андрюшкой.. женщина! Замечательное: во время послеобеденного сна весьма мучился; казалось, что Андрюшка налег на меня всею своею <тя>жестью и давит. Сновидение сие можно

Невинные рассказы. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru
назвать гастрическим.

Ноября 19-е. Опять приезжал с фабрики управляющий и от философических упражнений обратил к действительности. Решили выбрать до десяти наилучших девок. Настасья Петровна, которая заметно на меня, в продолжение последних двух недель, сердилась, после этого повеселела и за ужином даже заявила надежду, что у нее будет новая шляпа. Володин француз поздравил меня с выгодною сделкой (*une bonne spéculation*), на что я ему ответил, что это совсем не сделка, а скорее доброе дело, ибо девки, проводя время в праздности, ничего, кроме пороков и развития страстей, в будущем для себя не приобретают. Но француз, не будучи достаточно знаком с особенностями национального духа (каждая нация имеет свой национальный дух – это верно!), пожал лишь плечами. Конечно, я его и не разуверял. Володя тоже расшалился и почти каждую минуту повторял: на фабрику! на фабрику! Одним словом, в семействе нашем поселилось то душевное спокойствие, которое совершенно вознаградило меня за несколько дней, проведенных в тревоге и без сна.

Ноября 20. Снежков сказал правду.

Ноября 21. Впечатление, которое произвела сия ужасная весть, вряд ли кто в силах будет описать. В темных людях скакание, играние в гармонику и страмословие; в людях происхождения патрицианского – уныние и воздыхания! После обеда приезжал Иван Федорыч Сиводеров, и оба долгое время пребывали неутешны. Настасья Петровна наотрез объявила, что знать ничего не хочет, но идея сия, сколько верна теорически, столь же неприменима практически. Ибо сего еще от провидения нам не дано. Кажется, что мысль о замене Андрюшки новым фореитором придется отложить на неопределенное время.

Ноября 22. Был на гумне... совсем не так молотят! Однако решился переносить с кротостью.

Ноября 30. Читал книгу, называемую «Русский вестник», от которой, как уверяет Иван Федорыч, все произошло. Не знаю. Напротив того, мне показалось, что издатели люди благонамеренные, мыслят о сем благонаравно и совершенно так, как бы я и сам мыслил. Большое участие в составлении книги принимает Василий Александрыч Кокорев, нашего уезда откупщик. Подписка принимается в Москве, в Армянском переулке.

Декабря 5-е. Все прежние предположения приходится оставить. Стыдно сказать, что даже фореитора приличного в наш просвещенный век русскому дворянину иметь нельзя! Едва лишь собрали сегодня дворовых подростков, чтобы сделать из них выбор, как я уже сразу увидел, что дело сие надо бросить. На что уж храбра и самонадеянна Настасья Петровна, но и она, взглянув на сие сборище, воскликнула: «Друг мой! если ты хочешь, чтоб я была покойна, не вверяй мою жизнь этим разбойникам!» Итак, еще с одной любимую мечтой пришлось расстаться!

Декабря 6. Сего числа Настасья Петровна, после непродолжительных страданий, благополучно разрешилась от бремени дочерью Аннетою. По сему случаю неволью призадумался. Умножение семейное, прежде сего служившее источником радости, ныне великое представляет в будущем преткновение. Наипаче же дочь, ибо женщины ни в какой стране мира ни по военной, ни по гражданской части хода не имеют. Сказывают об амазонках, но должно думать, что рассказы подобного рода суть не что иное, как баснословие. Посему отыскали кой-какую рубашончку худенькую, в которую и одели ее, мою бедную, как дитя, которого родители не знают, как и о себе-то промыслить. Господи! спаси рабу твою, Аннету! Страдания не помешали, однако, Настасье Петровне предьявлять мне горькие упреки насчет моей медлительности. По словам ее, не будь я столь непростительно медлен, то и фореитор был бы найден, и девки давно работали бы на фабрике. Горько мне было. В другое время приказал бы я высечь за это негодяя Андрюшку, как первую причину семейного несогласия нашего, но ныне от такого намерения воздержался.

Декабря 12. Крестили Аннету. Бедный ребенок, как бы в предведение будущего, плакал все время столь неутешно, что едва могли грудью унять.

Декабря 25. Ездили в храм божий в возке всем семейством, но не шестериком, как прежде, а четвернею. Вообще решились сокращать все расходы и приучаться к тому образу жизни, который, как кажется, всем нам отныне в удел будет дан. После обедни думали провести праздник в одиночестве, однако ж люди пришли поздравлять по обыкновению. Настасья Петровна заметила при этом в лицах иронию, я же хотя и

Невинные рассказы. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru не мог не сказать им «ну что, братцы, скоро, что ли, господами будете?», однако ж для праздника все сие им простил. За обедом, по заведенному обычаю, подавали буженину, натертую чесноком. Так как в сей день каждый истинно русский помещик непременно ест буженину, то я полагаю, что в обычае сем есть нечто масонское, или, лучше сказать, это есть условный знак, по которому помещики друг друга без ошибки узнавать могут. На сей раз буженина была отменная, и я по этой причине имел после обеда гастрическое сновидение.

Января 1-е. Дом наш, в отношении тишины, уподобился горе Афонской. Никаких мыслей, кроме тех препротивных, в голову не приходит, но и сих не можем друг другу свободно сообщать, ибо беспрестанно люди по комнатам шныряют, а выгнать их недостает духа. Оттого вынуждаемся более молчать, а между тем, вследствие сего принуждения, Настасья Петровна большое пристрастие к Володину французу приобретает, что не мало также меня беспокоит. Вот каково это дело, что не только отечество в пустыню превратить обещает, но и в недрах семейств уже раздор поселяет!

Января 2-е. Был Станислав Мечиславич Мощинский. Рассуждали с ним об деле; он радовался и говорил, что пора. «Что пора-то?» – спросил я его. Весь день я был смущен, потому что во время наших споров Настасья Петровна постоянно с французом шепталась. Отходя ко сну, внушал ей, что француз этот, быть может, в отечестве своем служительскую должность отправлял, но она лишь смеялась и в досаду мне повторяла, что зубы у него отменно белые.

Января 3-е. француз, доселе обходившийся без лакея, вдруг потребовал для себя особенного служителя. «Время ли теперь, сударыня, такие реформы делать?» – заметил я по этому поводу Настасье Петровне, однако ж она отвечала, что знать ничего не хочет. Вынужден был уступить, но зато, отходя ко сну, не мало-таки стыдил ее.

января 4-е. Видел во сне, якобы ничего этого не будет.

ХОРОШИЕ ЛЮДИ

В бывалое время, когда о ком-нибудь выражались: «вот хороший человек!» – то разумели под этим всякого, кто, по пословице, «сальных свеч не ест и стеклом не утирается». Нынче не то. Нынче сальных свеч даже отличные люди не употребляют.

Между хорошими людьми доброго старого времени много было плутов, забулдыг и мерзавцев par sang. [100] Почему они назывались хорошими людьми, а не канальями – это тайна русской почвы и русской природы. Прежде хороший человек выпорет, бывало, вплотную какого-нибудь фильку и вслед за тем скажет другому такому же хорошему человеку: «А пойдем-ка, брат, выпьем по маленькой!» И ничего. Или, например, передернет нечаянно в карты (за что тут же получит надлежащее возмездие в рождество), и вслед за этим воскликнет: «Не распить ли нам бутылочку холодненького?» Одним словом, други-приятели были, теплые были... buvons, chantons et aimons, [101] вот какие были люди!

Ну и в области наук тоже больших сведений не имели. По части, например, истории запас их познаний не выходил из круга рассказов о том, как в тринадцатом году русский солдат разговаривал с немцем по-русски и сумел-таки заставить попятить себя, или анекдотов о том, как русский бился об заклад с немцем, кто из них дальше плюнет или сотворит такое невежество, от которого у прохожего свидетеля глаза на лоб полезут. По части географии они могли утвердительно сказать только то, что на том самом месте, где они теперь играют в карты, рос когда-то непроходимый лес, и что в недавнее еще время на улице Страмнихе уездный стряпчий Толковников из окна своей квартиры бивал из ружья во множестве дупелей и бекасов. Юридическое образование их ограничивалось: по части прав состояния – отсылкой грубиянов на конюшню или в часть, а по части гражданского права – выдачею заемных писем и неплатежом по ним.

И между тем жили, жили, ели, женились и посягали, занимали начальственные должности, славословили и пользовались покровительством законов наравне с людьми, которым не безызвестно даже о распрях, происходивших в Испании между карлистами и христиносами!

Напротив того, нынешний хороший человек чист как кристалл, образован как «Русский вестник», и голова у него звенит, как серебро. В карты он ни-ни! историй с рылами, микитками и подсалазками удаляется, buvons не употребляет, а к

Невинные рассказы. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru аіmons прибегает лишь втихомолку и с крайнею расчетливостью. Зато прям как аршин, поджар как борзая собака, высокомерен как семинарист, дерзок как губернский камердинер и загадочен как тот хвойный лес, который от истоков рек Камы и Вятки тянется вплоть до Ледовитого океана.

Поприще для деятельности хороших людей всех времен, пород и видов – по преимуществу провинция. Но и в этом отношении между хорошими людьми старого закала и нынешними существует бесконечная разница. Прежний хороший человек родился, жил и умирал в губернии. Он был, так сказать, продуктом местных нечистот, об них одних болело его сердце, к ним одним стремились его вождения, а никаких иных навозных куч он не желал, кроме тех, которыми окружено было его счастливое детство.

Петербурга он не любил и не понимал; он охотно допускал, что вообще во всех местностях обширной России могут жить и процветать хорошие люди, но в Петербурге, по его мнению, живут не люди, а выморозки.

– Помилуйте, жить и лишнего куска не смей съесть! – восклицал он, слушая рассказы наезжающих изредка петербургских чиновников об аккуратностях столичной жизни.

То ли дело провинции! В рассказах на эту тему хороший человек был неистощим. Он с увлечением повествовал о том, какую он ел однажды буженину в Тамбовской губернии, как, в таком-то году, проезжая через Пензу, он три дня и три ночи сряду проиграл в преферанс, как в Нижнем Новгороде... В Петербурге хорошему человеку негде развиться. Нет тех милых болотцев, нет тех вязких разговорцев, нет той лесистости в понятиях и соображениях, которые способствуют питанию и возрастанию хорошего человека. В Петербурге на каждом шагу можно встретить проныр, интригантов, людей с загадочными средствами существования, торжествующих лакеев и ликующих откупщиков, но отнюдь не хороших людей. Можно даже с уверенностью сказать, что истинно хорошему человеку (если б таковой и родился) там с первого же шага плюх надают, мозоли отдавят и выгонят в лакейскую, уже за то одно, что хороший человек говорит преимущественно о добродетели и прибегает притом к афоризмам, что для живых, хотя и нехороших людей хуже всякой холеры. Зато в губернии хорошему человеку раздолье; там он, с по-

<После этого отсутствуют 4 листа автографа.>

С каждым годом, с каждым днем все более и более исчезает прежняя привольная жизнь провинций, и вместо нее появляется какая-то чопорная натянутость, какой-то нелепый антагонизм, еще не высказывающийся явно, но уже дающий себя чувствовать особого рода метанием взоров, расширением ноздрей, покорблением уст и общим рылокошением. Даже искусственная опытом мудрость генерала Зубатова, который, как и все наши древние администраторы, полагает, что главная задача его административных потуг заключается не в том, чтобы край управлялся законами божескими, а в том, чтобы аристократы города N не грызлись между собой и не предавались в излишестве сплетничанью, даже и эта мудрость, говорю я, разбивается вдребезги перед упомянутыми выше рылокошениями и спиноотворачиваниями. Грустное и безотрадное чувство овладевает человеком при взгляде на наши нынешние общественные собрания. С одной стороны присутствуют хорошие люди прежнего времени, наша старая веселая Русь (old merry Russia), и втихомолку переваривают анекдоты о загнанных жидах и обманутых немцах. Тут заседает и заиндевевший обладатель множества филек и Прошек, и застенчивый откупщик и облизывающийся аристократ из казенной палаты; одним словом, все те, которым дорого, чтоб наша отечественная цивилизация развивалась постепенно, а не скачками («поспешешь – людей насмешешь» и еще: «поспешность потребна только блох ловить»). Все они, потихоньку вздыхая, разговаривают о временах минувших, когда и солнце горело светлей, и земля, без помощи удобрения, приносила сам-двадцать, и фильки отправлялись на конюшню беспрекословно, и винокуренные заводчики уделяли по четыре копейки с ведра, а не по две, как ныне.

– Какое изобилие рыбы в реках было! – тоскует помещик Птицын.

– И какая была все крупная-с! – вздыхает недоросль из дворян Шалимов.

Присутствующий при этом отставной капитан Постукин хотя и не принимает словесного участия в разговоре, но оттопыривает губы и отмеривает руками два аршина, чтоб показать наглядно, каких именно размеров водилась в реках рыба.

Невинные рассказы. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru

– Во всем, во всем изобилие было! – вступается генерал Голубчиков (из аристократов казенной палаты), облизываясь и сгорая нетерпением дать разговору направление винокуренное.

– И музицкй бóльса вина кúсали! – подвिलивает хвостом Герш Шмулевич.

– И винокуренные заводчики свой расчет находили! – подхватывает Голубчиков.

– Вспоминать больно!

– И весьма.

– Да и люди были какие-то особенные! – рычит отставной корнет Иван Сергеев Кáтышкин, – примерно скажу хоть насчет дорог. Что это за бесценный народ был! Засядешь, бывало, в трущобу, экипажи были все грузные, лошади надседаются – ну, просто смерть! Ничуть не бывало! Кликнешь только: Трошка! Слезет это Трошка с козел, там ногой, тут плечом – и пошла в ход карета!

В это время капитан Постукин пыхтит и делает такое движение плечом, как будто бы действительно выпирает им из трущобы карету.

– Сердечный народ был, любовный!

– А главное, то хорошо в старину было, что все это просто делалось! Угодил, финизерв какой-нибудь к обеду соорудил – рюмка водки тебе, а оплошал, таракана там, что ли, в суп пустил – ну, не прогневайся, друг! сейчас его au nature!^[102] и марш на конюшню!

– И не роптали!

– Не только не роптали, а еще бога за господ молили! поильцами, кормильцами чествовали!

– Веселое было времечко!

– Веселое!

– Рыба-то, рыбица какая была!

– И не говорите! Еще как теперь вижу, каких у меня карасей в пруде ловливали! Выволокут его, бывало, так даже весь мохом оброс, бестия! А уж о вкусе и не спрашивайте... млеет!

– Вспоминать больно!

– И весьма.

Но вот мало-помалу в другом конце зала образуется иной кружок. В нем не слышится разговоров ни о рыбе, ни о «финзервах», но, взамен того, до слуха изумленных гостей долетают слова, вроде: «вменяемость», «подсудность», «гласное судопроизводство» и проч. Люди, составляющие этот кружок, суть те самые «хорошие» люди, которые служат предметом настоящего исследования.

Завидевши их, люди старинного века умолкают и стараются поскорее пристроиться к карточным столам.

– Интриганты пришли! ишь их привалило! – говорит Катышкин, уходя восвояси, и затем, в продолжение целого вечера, уже ничего не произносит, кроме «пас», «семь без козырей», или «Петр Иваныч опять-таки подсидел»...

Между тем хорошие люди, засеавши в противоположном углу, продолжают вести разумную беседу об устноегй, гласности и бескорыстии. Они держат себя гордо, выступают плавно и не давая притом никому дороги, а в отношении к хорошим людям старого покроя выказывают отменную строгость, и только в редких случаях, а именно когда у кого-нибудь из них уж слишком забавная наружность, то есть или нос вавилонами, или на руке, вместо пяти, шесть пальцев, позволяют себе относиться к нему с благодушием, напоминающим материнскую снисходительность.

Невинные рассказы. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru

– У меня сегодня по палате крайне неприятный случай был! – восклицает некоторый молодой и совершенно поджарый председатель, – один из моих чиновников дозволил себе нарушение канцелярской тайны!

– Тсс... сколько ведь раз их за это учили – и все как с гуся вода! что ж вы сделали?

– Ну, разумеется, вон его!

– Конечно, это наш долг – очищать воздух!

– Однако, господа, – вступается прокурор, который весь погружен в свое звание истолкователя сомнений, – однако не будет ли это противно «гласности»?

– Гм... да, – переглядываются присутствующие.

– Позвольте, господа! – восклицает тот же председатель, – по моему мнению, гласность сама по себе, а исполнение долга само по себе! Эти две вещи смешивать нельзя!

– Н-да, нельзя! – поддакивает товарищ председателя Курилкин.

– Я тоже согласен с мнением Ивана Тимофеича, – вмешивается другой председатель, – я с своей стороны полагаю, что гласность есть вещь хотя желательная, но существующая еще лишь в большем или меньшем отдалении, тогда как исполнение долга есть вещь действительная, не терпящая ни рассуждений, ни отлагательства.

– Итак, Иван Тимофеич поступил весьма здраво, отсеки гнилой член от административного тела, – заключает вице-губернатор.

– Это ясно, как день.

– Да... теперь и я вижу, что так, – уныло бормочет прокурор, которого угрызает совесть за то, что, не далее как третьего дня, у него в канцелярии случился подобный же пример недержания канцелярской тайны, и он, во имя «гласности», не только не растерзал дерзновенного чиновника на части, но даже посулил ему дать прочесть статью об этом предмете, напечатанную в «Русском вестнике».

– Конечно, если мы, люди новые, не будем очищать воздух и отсекавать гнилые члены, то на ком же будут покоиться надежды России? уж не на этой ли архивной рже? – справедливо заключает вице-губернатор, указывая на заседающих за карточными столами.

И разговор продолжается все в том же тоне и духе, переходя от нарушения канцелярской тайны к вопросу о том, может ли чиновник, получающий целковый в месяц жалованья, прилично содержать себя (ответ: хотя и не роскошно, но может), от этого вопроса к рассуждениям о пользе ревизионного стола, причем вице-губернатор представляет глубочайшие соображения относительно посылки нарочных на счет нерадивых чиновников.

В это время, за одним из карточных столов, внезапно раздается энергический протест.

– Нет, нет, нет! это, брат, шутишь! – восклицает помещик Птицын, – играть я с тобой сколько угодно буду, а уж сдавать карты не позволю... ни-ни, и не думай!

Кто же они, эти зараженные новыми идеями люди? кто эти робеспьеры формалистики? эти террористы начальствования? эти сорванцы исполнительности?

Выше было сказано, что нынешние хорошие люди суть те же самые убогие мыслью, нечистые сердцем субъекты, которыми и в старину изобиловала Русь, и которых точно так же, как и нынче, величали людьми хорошими. И действительно, если формы древнего сосуда несколько очистились, то из этого отнюдь не следует, чтобы содержанием для них служило что-либо новое, а не прежнее промозглое и мутное вино. Изменение форм в этом случае есть следствие единственно нашей переимчивости, а не внутренних потребностей духа. Относительно этих последних все обстоит как и прежде. По-прежнему мы оказываемся бедными инициативой,

Невинные рассказы. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru шаткими и зависимыми в убеждениях; по-прежнему гибко и не дерзновенно пригибаемся то в ту, то в другую сторону, следуя направлению ледовитых ветров, иссушающих нашу родную равнину из одного края в другой. По-прежнему, лишенные всякой дельной подготовки, мы отнюдь, однако ж, не сомневаемся, что можем управлять судьбами, если не целого мира (для этого высшее начальство есть), то, по крайней мере, одного из его захолустьев; по-прежнему мы наивно открываем рты при всяком вопросе, выработанном жизнью; по-прежнему не можем предложить никакого разрешения, кроме тупого и бесплодного гнета, не можем дать никакого совета, не справившись наперед в многотомном и, к сожалению, еще не съеденном мышами архиве канцелярской рутинной мудрости. Скажу больше: изменение форм не только не принесло пользы, но положительно послужило во вред делу. В прежние времена наша необузданность, по крайней мере, смягчалась нравственной распущенностью, подкупностью и другими качествами, гнусность которых хотя и не подлежит сомнению, но которые (какова должна быть среда, в которой подобные свойства могут быть чтимы на

<После этого отсутствуют 6 листов автографа.>

– Тем более что «Морской сборник», вместе с поступанием вперед, соединяет и замечательную ясность души, которая еще действительно должна помогать ему в деле приискывания ясных форм.

Хороший человек умолкает и смотрит на жену с тою ласковостью, под которою скромно теплится тихое сознание о собственном его превосходстве над нею.

«Женщина эта – мое создание! если б не я, сделалась ли бы она когда-нибудь «хорошею» женщиной!» – думает он и прибавляет вслух: – Ты ничего не имеешь сказать больше, дружок?

– Ах, душенька! Фомка-кучер опять вчера пьян напился! Я к тебе с вопросом: не прикажешь ли отправить его в часть?

– Гм... да... в часть...

Хороший человек в смущении, потому что вопрос действительно чрезвычайно щекотлив. Конечно, до октября 1858 года хороший человек не встретил бы затруднения в разрешении его. В то блаженное время он был еще убежден, что всякий человек (то есть тот вид человека, который в просторечии именуется Ванькой), не исполнивший своего ванькинского долга, а именно: не вычистивший барские сапоги, разбивший бутылку с квасом и т. д., обязан отвечать за это по закону, а следовательно, и кучер фомка мог быть, в силу тогдашних убеждений, подвергнут за свою продерзость ответственности по закону. Но в упомянутом выше и достославном в летописях русской криминалистики октябре 1858 года некто кн. Черкасский взял на себя труд доказать, что если бы кто-либо из Ванек и действительно оказал нерадение в чищении барских сапог, то из этого вовсе не явствует, чтобы следовало снимать с него кожу, каковую слишком строгую меру можно и даже должно, но и то лишь в видах смягчения слишком большой резкости в переходе от сдирания кожи к совершенному ее несдиранию (ибо внезапное лишение человека его привычек, комфорта, может даже возбудить в нем ропот), и впрямь до тех пор, когда в Ванькиных сердцах утвердятся правила истинной нравственности, заменить увещанием посредством так называемых детских розог. Это изобретение, равносильное изобретению компаса (ибо оно должно послужить нам путеводною звездой в плавании по многоволнистому океану крепостного права, указывая на синевшийся в туманной дали мыс Доброй Надежды), крайне смутило хорошего человека. Конечно, он и прежде постоянно отличался либерализмом и гуманностью своих юридических стремлений, в доказательство чего мог кому угодно показать начатую им статью, под названием: «об отмене кнута с точки зрения правомерности наказания», в которой осязательным образом намеревался доказать, что с тех пор как высшее начальство признало возможным изгнать кнут из нашего уголовного кодекса, идея правомерности наказания не потеряла никакого ущерба, но так далеко он еще не заходил. И под влиянием горьких сомнений и внутренней борьбы уже собирался он писать статью под названием: «вопросные пункты кн. Черкасскому», в которой этот знаменитый публицист допрашивался, между прочим, о следующем: а) кто должен быть признан судьей в определении детскости или недетскости розог, то есть отдать ли это определение на суд «сведущих людей» или предоставить установленной полицейской власти? б) если предоставить полиции, то не следует ли при этом принять в соображение физические свойства полицейских служителей, положительно противоречащие представлению о детскости, и какие принять меры к

Невинные рассказы. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru устранению случаев превышения власти и т. д., как вдруг «Русский вестник» разразился громовой статьей, в которой с прискорбием протестовал против употребления розог в русской литературе. Хороший человек смутился, однако не поверить «Русскому вестнику» не посмел. Но не смутился кн. Черкасский и вновь доказал весьма осязательно, что, конечно, розги сами по себе дрянь, но временем они необходимы, как уступка общественному мнению, и сверх того тем еще хороши, что составляют как бы знамя, вокруг которого примиряются и соединяются люди самых противоположных убеждений. И завязалась тут в нашей литературе «брань да история», результатом которой было то, что хороший человек окончательно очутился между небом и землей.

– Гм... в часть... – повторяет он задумчиво, – я, дружок, покамест еще не могу на это решиться...

– Отчего же, друг мой? он вполне этого заслужил!

Однако в ответ на это хороший человек не отвечает ни да, ни нет, а только бормочет про себя что-то похожее на «гласность», и глубоко при этом вздыхает, вероятно вспоминая о том блаженном времени, когда «Московские ведомости» еще не открывали у себя особого отдела обывательской литературы. Таким образом семейная конференция и кончается, потому что хорошему человеку уже время на службу.

Подъезжая к присутственным местам, хороший человек не без удовольствия усматривает, что навстречу ему уже вылетел вахмистр в треугольной шляпе и с булавою в руках. Эта предупредительность обещает ему еще более острое наслаждение впереди, а именно удовольствие видеть всполошившихся, по случаю его прибытия, канцелярских чиновников, стоящих по местам чинно и вкопанным, не неистовствующих руками и не болтающих бесполезно ногами. В присутствии хороший человек рассуждает о распространяющемся всюду бескорыстии, о том, что подлецов следует в бараний рог гнуть, и хотя не читает подаваемых ему журналов и бумаг, но, подписывая их, всякий раз предостерегает секретаря: «Вы у меня смотрите, чего-нибудь «этакого» не подсуньте! я ведь не затруднюсь и по второму пункту хватить!» Исполнив таким образом долг свой и вновь мимоходом взглянув омерзительным оком на подносящуюся на ноги канцелярскую сволочь, он оставляет присутствие и отправляется с утренними визитами к прочим хорошим людям, которые столь же своевременно исполнили долг свой и уже отдыхают по домам. Однако к трем часам он дома, и с удовольствием видит, что стол накрыт и на столе, кроме воды, никаких других напитков не имеется. В продолжение обеда завязывается поучительный разговор.

– А трезвость продолжает-таки делать успехи! – говорит хороший человек, – еще несколько усилий, и победа за нами!

– Ах, мой друг! в Самаре какой циркуляр насчет этого вышел – просто очарование!

– Да, уж конечно, нашему генералу такого не написать!

– А в Саратове, напротив того, дикости какие-то делаются! Представь себе, друг мой, трезвых людей бунтовщиками называют!

– Всякая сильная идея имеет сначала своих мучеников! – вздыхает хороший человек.

– Нет, а по моему мнению, со стороны саратовского генерала это просто отсутствие всякого понятия о гражданской доблести!

– А разве всякий в состоянии вместить в себе это понятие? – уныло вопрошает хороший человек.

– Конечно; но меня больше всего удивляет, что прокурор не протестовал против такого варварства! кажется, нынче прокуроры все вообще хорошие люди!

– А почему ты знаешь, что он не протестовал? Быть может, он, в тиши своего кабинета, не только протестовал, но и чувствовал при этом нестерпимую горечь?

– Бедненькой!

– Да; только бог один может видеть, какие мучительные минуты переживает иногда сердце прокурора! Донести хочется, а между тем боишься, что донесение не будет

Невинные рассказы. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru уважено!

Наступает несколько минут молчания, которыми хороший человек пользуется, чтоб высморкаться.

– А ты, Сенечка, будешь защищать трезвость? – говорит хороший человек, обращаясь к старшему сынишке.

– Я, папаса, всех пьяниц в полицию посадить велю! – бойко отвечает Сенечка, махая руками.

– А я, папаса, их без пирожного оставлю! – пищит Машечка, болтая под столом ножками.

– Мы, папаса, откупсика иззарить велим и отдадим собаке Валетке! – кричат взапуски Сашечка, Ванечка и Нюточка.

– Умница, душенька! всегда оставайтесь при этих убеждениях, друзья мои! – говорит хороший человек, растроганный до слез и с торжеством прибавляет: – да, есть надежда, что, несмотря на происки и попустительство саратовских властей, трезвость не умрет!

В таких разговорах быстро летит время, и обед незаметно приближается к концу. После обеда, облекшись, вместо халата, в форменный пальто, хороший человек делает кратковременный кейф, причем объясняет детям значение слова «взятка» и убеждает их ополчиться, подобно ему, на искоренение этой язвы. Затем, приняв во внимание, что человеку рабочему нужен отдых, он отправляется в спальную и спит сном невинных вплоть до осьми часов.

ПРИМЕЧАНИЯ

НЕВИННЫЕ РАССКАЗЫ

Общие вводные статьи к «Невинным рассказам» и «Сатирам в прозе» написаны А. С. Бушминым

Текстологические разделы статей и примечаний

подготовлены В. Н. Баскаковым

Реально-исторические комментарии –

В. Н. Баскакова и С. А. Макашина

548

Произведения, входящие в этот том, создавались Салтыковым, за исключением юношеской повести «Запутанное дело», вслед за «Губернскими очерками» и первоначально появились в периодических изданиях 1857–1863 годов в такой последовательности:

1. Приезд ревизора. – «Русский вестник», 1857, декабрь, кн. 2.
2. Святочный рассказ. (Из путевых заметок чиновника)–«Атеней», часть I, 1858, № 5, январь.
3. Губернские честолюбцы. I. Утро у Хрептюгина. Драматический очерк. – «Библиотека для чтения», 1858, № 2.
4. Развеселое житье. – «Современник», 1859, № 2.
5. Из «Книги об умирающих». I. Генерал Зубатов. – «Московский вестник», 1859, № 3, вышел в марте. (Впоследствии озаглавлено «Зубатов».)
6. Гегемониев. (Из книги об умирающих). – «Московский вестник», 1859, № 15, вышел в мае.
7. Из «Книги об умирающих». I. Госпожа Падейкова. – «Русская беседа», 1859, кн. 16, вышла в июле.

Невинные рассказы. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru

8. Погребенные заживо. Драматическая сцена. – «Московский вестник», 1859, № 46, вышел в ноябре. (Впоследствии озаглавлено «Недовольные».)

9. Скрежет зубовой. – «Современник», 1860, № 1.

10. Наш дружеский хлам. – «Современник», 1860, № 8.

11. Литераторы-обыватели. – «Современник», 1861, № 2.

12. Клевета. – «Современник», 1861, № 10.

13. Наши глуповские дела. – «Современник», 1861, № 11.

14. К читателю. – «Современник», 1862, № 2.

15. Недавние комедии. I. Соглашение. II. Погоня за счастьем. – «Время», 1862, № 4.

16. Наш губернский день. – «Время», 1862, № 9.

17. Невинные рассказы. I. Деревенская тишь. II. Для детского возраста. III. Миша и Ваня. – «Современник», 1863, № 1–2.

18. После обеда в гостях. – «Современник», 1863, № 3.

Все эти рассказы, очерки, драматические сцены были собраны Салтыковым в две книги: «Невинные рассказы» и «Сатиры в прозе».

В первую книгу вошли №№ (в порядке размещения произведения): 6, 5, 1, 3, 17 (II и III), 10, 17 (I), 2, 4, 18; во вторую – 14, 7, 15, 8, 9, 16, 11, 12, 13.

Кроме перечисленных произведений, Салтыков ввел в «Невинные рассказы» переработанную и сокращенную редакцию своей юношеской повести «Запутанное дело». (Первопечатный текст повести, опубликованный в журнале «Отечественные записки», 1848, № 3, см. в т. 1 наст. изд.)

В разделе «Неоконченное» печатаются два наброска, датируемые 1860–1861 годами: «Предчувствия, гадания, помыслы и заботы современного человека» и «Хорошие люди». Эти наброски, частично использованные писателем в других его произведениях, впервые были опубликованы (первый – полностью, второй – в отрывках) много лет спустя после смерти автора. Кроме того, в разделе «Из других редакций» печатаются два отрывка доцензурной редакции очерка «К читателю».

Каждый из сборников – и «Невинные рассказы» и «Сатиры в прозе» – выходил при жизни автора трижды – в 1863, 1881, 1885 годах.

«Невинные рассказы» открываются более ранними произведениями, чем «Сатиры в прозе». Этим определяется местоположение сборников в настоящем томе, хотя первое издание «Невинных рассказов» появилось в 1863 году несколькими месяцами позднее «Сатир в прозе».

Сборники объединяют рассказы, очерки и сцены разных групп. Можно выделить по меньшей мере три группы, имеющие ясно выраженные признаки принадлежности входящих в них произведений к определенным циклам. Это, во-первых, рассказы и сцены, непосредственно примыкающие к «Губернским очеркам» и объединяющиеся с ними в так называемый (№№ 1, 2, 3), во-вторых, это произведения, предназначавшиеся для начатого, но распавшегося цикла «об умирающих» (№№ 5, 6, 7, 8, 9) и, в-третьих, это вещи, входящие в «глуповский цикл» (№№ 11, 12, 13, 14, 16, 18). К ним было присоединено еще несколько рассказов и очерков, стоящих вне названных циклов или на грани их (№№ 4, 10, 15, 17).

Отобранные для двух сборников вещи Салтыков распределил между ними и расположил в каждой из книг, не придерживаясь хронологической последовательности написания произведений и не сохраняя границ первоначально предполагавшихся циклов. Однако отсутствие строгого сюжетно-композиционного плана не лишает «Невинные рассказы» и «Сатиры в прозе» известной цельности. Она определяется характером изображаемых в них общественных явлений и позицией автора по отношению к этим явлениям.

Содержание произведений обоих сборников отражает острую идейную, политическую, классовую борьбу в период подготовки и проведения крестьянской реформы. Салтыков всесторонне и последовательно прослеживает настроения и действия различных социальных слоев общества и царской администрации, разоблачая идеологию, психологию и социальную практику бюрократии и дворянства, пустословие и лицемерие либералов.

Все явления социально-политической борьбы он оценивает с точки зрения интересов крестьянства.

Для Салтыкова пятилетие его литературной деятельности после «Губернских очерков», то есть 1858–1862 годы, было периодом сложных идейно-творческих исканий, деятельного самоутверждения на передовых общественных позициях. Его взгляды на судьбы классов, на ход исторических событий, на реформы в этот короткий промежуток времени претерпели заметную эволюцию. Теоретические искания и политическая тактика писателя не были свободны от колебаний. Но это были колебания крестьянского демократа, страстно искавшего путей и способов общественной борьбы с крепостничеством и самодержавием в сложной обстановке «эпохи возрождения».

«Невинные рассказы» и «Сатиры в прозе» дополнили образную галерею «Губернских очерков», хотя и не оставили таких типов, которые не были бы заслонены в памяти читателей более яркими фигурами, созданными писателем позднее. Обогащение типологии выразилось прежде всего в появлении образов крепостных крестьян и помещиков. До этого прямых предметных картин крепостного быта в произведениях Салтыкова почти не было. В «Невинных рассказах» и в «Сатирах в прозе» помещики и крестьяне выступают в своих конкретных взаимоотношениях, здесь разворачиваются картины крепостнического рабства и все обостряющегося классового антагонизма, появляются рельефно и полно написанные портреты крепостных крестьян и усадебных крепостников-помещиков («Госпожа Падейкова», «Развеселое житье», «Миша и Ваня», «Деревенская тишь»).

Претерпевает изменения и одна из главнейших тем «Губернских очерков» – разоблачение чиновничества. Обличение взяточничества остается уже пройденным этапом; специально к этому Салтыков после «Губернских очерков» больше не возвращается. Рецензент «Сына отечества» (1858, № 9, 2 марта, стр. 255) заметил, что рассказ «Приезд ревизора» (1857; «Невинные рассказы») «имеет от всех других произведений г. Щедрина то отличие, что в нем, от начала до конца, никто не берет денежной взятки: чуть ли не первый пример в литературной деятельности автора «Губернских очерков»». Правда, во всем дальнейшем творчестве Салтыкова взяточничество затрагивается, но только как побочный мотив или как прямое воспоминание писателя об «обличительном» этапе своей деятельности (см., например, «Игрушечного дела людшки», 1880; «Пошехонские рассказы. Вечер второй», 1883).

Мелкое и среднее чиновничество, преобладавшее в первой книге писателя, уступает в «Невинных рассказах» и в «Сатирах в прозе» первое место высшим представителям губернской бюрократии. Наиболее яркими ее олицетворениями служат Удар-Ерыгин и особенно генерал Зубатов, образ которого, проходя через ряд рассказов, перерастает в символ всей государственной администрации царизма. В связи с перемещением акцента на бюрократические верхи сами приемы обрисовки относящихся сюда типов становятся более резкими, бичующими.

Критика и публицистика живо реагировали на «Невинные рассказы» и «Сатиры в прозе» как при первом появлении в печати входящих в эти книги произведений, так и по выходе в свет отдельных изданий сборников. Однако отклики эти (см. о них ниже) были менее обильными и менее единодушными по сравнению с теми, какие были вызваны «Губернскими очерками». Объясняется это прежде всего дальнейшим углублением идейно-политической борьбы. Единодушное признание необходимости отмены крепостного права, объединявшее широкие оппозиционные слои, стало все более исчезать, сменяясь обостряющейся борьбой между либералами и демократами по всем основным социально-политическим вопросам и прежде всего по вопросу о крестьянской реформе. Освобождение крестьян, осуществлявшееся царским правительством на условиях, выгодных для крупных землевладельцев, удовлетворяло дворянских либералов и исчерпывало их оппозиционную программу. Салтыков же, все более утверждавшийся на позициях революционной демократии, клеймил и открытых крепостников, и вступающих с ними в сделку либералов, вызывая тем самым к себе

Невинные рассказы. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru
озлобление одних и охлаждение других.

«Отпали от поклонников его, – писал один из критиков об авторе «Сатир в прозе» и «Невинных рассказов», – прежде всего, конечно, люди, непосредственно затронутые как реформой, так и сатирой; потом оптимисты, чаявшие уже у нас водворения златого века и которым казалось, что Щедрин просто из каприза или по ремеслу продолжает обличать, когда нужно бы, по их мнению, лишь радоваться и торжествовать; наконец, до известной степени удалились от Щедрина люди, воспитанные на идеях спокойного, объективного творчества и встретившие в сатире его раздражение и резкость, несовместимые, по их мнению, с достоинством литературных отношений к общественным вопросам и явлениям. Но именно там, где разошлось с Щедриным большинство, он и является по преимуществу оригинальным, многосторонним, и изучение этой новой его деятельности и представляет для нас наибольший интерес по количеству поднятых им самых живых вопросов и по твердости и смелости постоянно сохраняемых им отношений к действительности». [103]

В критической литературе о «Сатирах в прозе» и «Невинных рассказах» не появилось ничего, что хоть в какой-нибудь мере приближалось бы по своему значению к статьям Чернышевского и Добролюбова о первой щедринской книге – «Губернских очерках». После смерти Добролюбова и ареста Чернышевского достойной оценки нового пятилетия литературной деятельности Салтыкова можно было бы ожидать прежде всего от Писарева. Но его статья «Цветы невинного юмора» («Русское слово», 1864, № 2), посвященная двум новым книгам писателя, произвела впечатление полной неожиданности и вызвала в свое время большой шум. Критик низводил «Сатиры в прозе» и «Невинные рассказы» до уровня развлекательной литературы, истолковывал сатиру Щедрина как безобидный смех и отказывался признать за нею какое-либо общественное значение. Статья «Цветы невинного юмора», которой не замедлили воспользоваться противники сатирика, была серьезной ошибкой знаменитого критика, увлеченного и ослепленного возникшей в это время журнальной полемикой между «Русским словом» и «Современником» (см. об этой полемике и о позиции в ней Писарева в т. 6 наст. изд.).

* * *

В январско-февральской книжке «Современника» за 1863 год Салтыков напечатал три небольших произведения: «I. Деревенская тишь. II. Для детского возраста. III. Миша и Ваня». Они появились под общим заглавием «Невинные рассказы», которое было сделано впоследствии названием сборника. Определение невинные заключало в себе, конечно, иронический смысл. Но оно имело первоначально и некоторое формальное основание: в упомянутых рассказах идет речь и о лицах «невинного», детского возраста. Этим и воспользовался Салтыков как внешним поводом для безобидного заглавия, в котором таилась скрытая ироническая мотивировка. И заключалась она в том, что рассказы эти были написаны вместо запрещенных цензурой «Глупова и глуповцев», «Глуповского распутства» и «Каплунов» (см. об этом в т. 4 наст. изд.). Разгневанный длительной и тяжелой цензурной историей названных произведений, Салтыков как бы бросил цензуре: ну вот, теперь получайте невинные рассказы! На первый взгляд это смягчало остроту сатиры, но по существу контрастно подчеркивало далеко не невинное содержание рассказов, рисовавших картины острого классового антагонизма («Деревенская тишь», «Миша и Ваня»). Ирония стала еще более едкой, когда под рубрику «невинных» были подведены в сборнике острые сатиры, изобличавшие чиновничество и бюрократов высокого ранга.

В открывающем сборник рассказе «Гегемониев» разрабатывается одна из основных тем всего творчества Салтыкова: «народ и власть». Сатирически интерпретируя летописную легенду о призвании «варягов» на Русь, Салтыков развивает взгляд на царскую монархию со всем многочисленным бюрократическим аппаратом как на силу враждебную народной массе.

За этой общей характеристикой бюрократии следуют рассказы, сатирически воссоздающие картину тех настроений, которые овладели помещичье-чиновничьим обществом в начальный период подготовки крестьянской реформы.

Вынужденные ходом исторических событий включиться в преобразовательную деятельность, правящие верхи и привилегированные слои общества были озабочены прежде всего охраной своих классовых интересов. Салтыков показывал, что казенный либерализм бюрократии и дворянства не шел дальше лицемерных заявлений о сочувственном отношении к «меньшому брату», за которыми скрывалась все та же крепостническая «старая душа» («Приезд ревизора»). Понимая, что «нельзя иногда без того, чтоб фестончик какой-нибудь не поправить», ревнители «древнего

Невинные рассказы. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru величия» хотели только этим и ограничиться, не нарушая издревле установленной в отечестве «гармонии» («Наш дружеский хлам»).

Наиболее яркое представление о подлинных соображениях и интересах, определявших реформаторскую деятельность царской бюрократии, дает образ генерала Зубатова. Он является олицетворением типа администратора крепостнического закала, сторонника суровых мер и безусловного повиновения. Неусыпный страж интересов господствующих сословий, Зубатов неукоснительно исполняет все предписания высшего начальства. Как враг всего нового, он, получив распоряжение о подготовке реформ, сперва оторопел, но затем поспешил заявить себя рьяным реформатором. В этой непривычной, «подневольной» роли преобразователя Зубатов выступает в целом ряде произведений и прежде всего в рассказе, носящем его имя.

Первые два из «Невинных рассказов» – «Гегемониев» и «Зубатов», заканчивающиеся сценой умирания героев, Салтыков готовил для «Книги об умирающих». История этого незавершенного замысла важна как для понимания связанных с ним произведений, так и для уяснения идейно-творческой эволюции писателя.

Общественный подъем в конце 50-х – начале 60-х годов, впервые в истории России сложившаяся революционная ситуация, высокая активность молодой революционной демократии, возглавленной Чернышевским, – все это внушало Салтыкову надежды на скорое осуществление коренных демократических преобразований в стране. На короткое время Салтыкову показалось, что помещики-крепостники и реакционная бюрократия бессильны противостоять ходу событий, что дело их безвозвратно проиграно. История, расчищая дорогу для новой жизни народным массам, обрекает крепостников и весь связанный с ними деспотический режим на скорое «умирание»; она неизбежно и неумолимо отбросит их с командующих постов как обветшалый хлам. В соответствии с таким пониманием хода событий писатель собирался пропеть сатирическую отходную старому миру в «Книге об умирающих», которая была начата в 1857 году, вслед за «Губернскими очерками» и в развитие идеи, выраженной в их заключительной символической сцене, изображавшей «похороны прошлых времен» (см. в наст. изд., т. 2, стр. 466–468).

О работе над этим замыслом Салтыков сообщал И. С. Аксакову в письме от 17 декабря 1857 года: «Очерки, которые я готовлю.. носят заглавие «Умирающие». Дело начинается заповкой, в которой, в песенном складе, объясняется, как проснулся дурак-Иванушко, пошел на дорогу и встречает ветхих людей. Затем следуют четыре рассказа о ветхих людях: старый приказный, старый забулдыга, генерал-администратор и идеалист. В заключение: эпилог, в котором Иванушко-дурачок снова выступает на сцену: судит и рядит, сначала робко, а потом все лучше и лучше. Эпилог мною еще не написан, а он-то и будет в особенности труден, потому что я предположил употребить в дело сказочный тон, требующий очень много работы.. Скажите, как Вы находите мою мысль относительно «умирающих»? Разумеется, эти умирающие еще совершенно живы и здоровы, но я предположил себе постоянно проводить мысль о необходимости их смерти и о том, что возрождение наше не может быть достигнуто иначе, как посредством Иванушки-дурака. Мысль эта высказывается во всех моих сочинениях <...> но здесь она выступит еще яснее».

Из письма следует, что, за исключением эпилога об Иванушке, все «четыре рассказа о ветхих людях» были к декабрю 1857 года уже написаны. Они появились в разных периодических изданиях в 1858–1859 годах, с обозначением «Из книги об умирающих». Это – «Два отрывка..» (из которых первый – «Смерть Живновского» – посвящен «старому забулдыге», второй – «Из неизданной переписки» – «идеалисту»), «Зубатов» (о «генерале-администраторе») и «Гегемониев» (о «старом приказном»). (Первые два рассказа см. в т. 4 наст. изд.)

Очевидно, уже к началу печатания произведений из цикла об «умирающих» Салтыков решил не останавливаться на первоначально написанных четырех рассказах. «Два отрывка из «Книги об умирающих» появились в печати в марте 1858 года со следующим примечанием: «Под названием «книги об умирающих» автор предположил написать целый ряд рассказов, сцен, переписок и т. д., в которых действуют люди, ставшие, вследствие известных причин, в разлад с общим строем воззрений и убеждений. Здесь предлагаются два отрывка, представляющие крайние границы этой галереи: начало и конец ее. Авт.».[104] Первые четыре рассказа об «умирающих» изображали чиновников разных степеней и не затрагивали помещиков, которые и составляли главную социальную опору «прошлых времен». Пробел восполняется появлением в июле 1859 года пятого рассказа из «Книги об умирающих» – «Госпожа Падейкова», – рисующего предреформенное смятение заскорузлой помещицы,

Невинные рассказы. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru напоминающей дикой невежественностью своих понятий гоголевскую Коробочку.

После этого рассказы с обозначением из «Книги об умирающих» не появлялись. Но есть основание отнести к этой же «книге» комедию «Смерть Пазухина» (1857; ранние варианты заглавия – «Смерть», «Царство смерти»), первоначально предназначавшуюся для продолжения «Губернских очерков», повесть о смерти никчемного помещичьего сына «Яшенька» (1857) и сцену об отстраненных от дела за ненадобностью чиновниках «Погребенные заживо» (1859; впоследствии озаглавлено «Недовольные»). (Первые два произведения см. в т. 4 наст. изд.)

Однако в 1859 году, уже на последней стадии работы, Салтыков отказался от завершения широко задуманной и далеко продвинувшейся «Книги об умирающих», признав идейно несостоятельным этот свой творческий замысел. Действительность не подтверждала надежд Салтыкова на то, что «ветхие люди» (так именовал писатель крепостников) сдадут свои командные позиции без сколько-нибудь значительного сопротивления. Представители старого дореформенного режима, которые обрекались на «необходимую» гибель в «Книге об умирающих», не хотели умирать и не примирились, а продолжали здравствовать и активно бороться за сохранение своего господствующего положения в стране.

Взятые в отдельности рассказы об «умирающих» сохраняли известное типическое значение, но характеризовали уже не весь класс «ветхих людей», а только те слои дворянства и бюрократии, которым отмена крепостного права действительно несла разорение. В сгруппированном же виде эти рассказы произвели бы впечатление некоей широкой социально-политической концепции, которую автор уже признал в эту пору несоответствующей исторической истине. Поэтому Салтыков снял в своих сборниках начала 60-х годов все указания на «Книгу об умирающих», служившие в журнальных публикациях путеводной нитью для читателя, и перетасовал введенные в сборники рассказы распавшегося цикла с произведениями другого идейного содержания.

Вызванная ходом реальных событий перемена во взглядах Салтыкова на перспективы предреформенной борьбы получила, между прочим, и другое своеобразное творческое выражение. Первоначальная редакция рассказа «Зубатов» – 1857 г. – завершалась сценой умирания генерала. Печатаемая в 1859 г., Салтыков оставляет своего «героя» в живых (см. ниже, стр. 562–565). С Зубатовым, здравствующим и все более овладевающим общественными преобразованиями, читатель неоднократно встретится в «Сатирах в прозе», создававшихся параллельно с «Невинными рассказами». Он вновь появится сперва в «Скрежете зубовном», выступая здесь в роли «дядьки», приставленного к Иванушке (это имя у Салтыкова олицетворяет народные массы, крестьянство) и уговаривающего его «сидеть смиреннько», а затем и в других рассказах – «Литераторы-обыватели», «Наши глуповские дела» и в комедии «Погоня за счастьем».

В зависимости от того, о каких явлениях жизни или о каких социальных слоях общества идет речь, Салтыков в «Невинных рассказах» выступает то ядовитым сатириком, то сострадательным лириком. Резкий юмор, меткие изобличающие определения, приемы художественной карикатуры характерны для тех произведений, в которых автор беспощадно разоблачает, обнажает и высмеивает плутовскую психологию и практику всей многочисленной армии царского чиновничества («Гегемониев»), деспотизм ретивых бюрократов-администраторов («Зубатов»), бредовые мечтания помещика-крепостника, помешавшегося на ненависти к крестьянам («Деревенская тишь»).

Тон суровых обличений сменяется другим, уступает место глубокому сочувствию, когда предметом изображения становится непосредственно жизнь поработанного крестьянства. Эта черта писателя – гуманиста и демократа – проявилась еще в «Губернских очерках». В типах простонародья, как это было замечено Добролюбовым, Салтыков открывал под наносным слоем предрассудков и следов духовного и материального рабства прекрасные человеческие черты, которые давно утрачены людьми правящих классов.

Непосредственным продолжением рассказов о жизни крестьянства в дореформенную эпоху, вошедших в «Губернские очерки» («Отставной солдат Пименов», «Пахомовна», «Аринушка»), служат три «невинных рассказа»: «Миша и Ваня», «Святочный рассказ», «Развеселое житье». В них, в отличие от рассказов первой книги Салтыкова, правдивое воспроизведение подневольной жизни народа дополнено картинами пробуждения настроений активного протеста в крестьянстве, хотя формы этого

Невинные рассказы. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru протеста еще индивидуальные. В самоубийстве ищут избавления от зверств помещицы крепостные мальчишки («Миша и Ваня»), бегством спасается от рекрутчины крестьянский юноша («Святочный рассказ»), из ненависти к помещику-насилынику уходит в леса, в разбой крепостной Иван, чтобы хоть там обрести себе волю («Развеселое житье»).

В рассказах о крестьянстве нашли свое яркое выражение характерные черты писателя-демократа: превосходное знание быта, психологии, нужд и чаяний простого народа, глубоко сочувственное отношение к его бедственному положению, кровная заинтересованность в коренном изменении его судеб. Все это проявилось и в том чувстве симпатии, с которым обрисованы действующие лица, и в лирических признаниях писателя. «...Я, – пишет Салтыков, – несомненно ощущал, что в сердце моем таится невидимая, но горячая струя, которая, без ведома для меня самого, приобщает меня к первоначальным и вечно бьющим источникам народной жизни» («Святочный рассказ»).

Со времени «Губернских очерков» для Салтыкова становится обычным обращение к фольклору, и особенно в произведениях о крестьянстве. Так обстоит дело и в «Невинных рассказах». В народно-поэтическом творчестве писатель находил не только существенные элементы художественной формы, отвечающей требованиям темы, но и постигал сам образ народного мышления, думы, настроения, чаяния простого народа. Так, в рассказе «Развеселое житье» Салтыков мастерски осуществил повествование от лица крепостного крестьянина-бунтаря. Рассказ насыщен народнопоэтическими элементами, проявляющимися в лексике и фразеологии, в народных речениях и в прямом использовании удалых и разбойничьих песен, в которых русское крепостное крестьянство воплотило свои свободолюбивые мечты, свою тоску по воле, в которых прославляло своих смелых сынов, отваживавшихся на неравную борьбу с угнетателями.

Характерная для Салтыкова связь и перекличка между отдельными произведениями относится и к «Невинным рассказам». С одной стороны, по содержанию, жанровой форме, стилю, месту действия и общности некоторых персонажей они примыкают, как сказано, к «Губернским очеркам». С другой – в некоторых из них намечаются мотивы, которые отзовутся или будут развиты в последующем творчестве сатирика. В этом отношении наиболее показателен рассказ «Деревенская тишь» (1863). Здесь, как и в более раннем рассказе «Госпожа Падейкова» (1859), представлен разоряющийся помещик, Кондратий Трифонич, помешавшийся, в связи с крестьянской реформой, на «сословном антагонизме». Отдавшись праздным и злым мечтаниям, он то рисует в своем воображении картину внезапного обогащения от того, например, что его паршивый кустарник в одну минуту превратится в высокий и частый лес, за который он получит огромные деньги; то видит себя во сне превратившимся в медведя, который торжествующе сминая непокорного слугу Ваньку; то грезит о машине, которая совсем освободит его от работников, и т. д. Изображение подобных бредней деградирующего сознания крепостников впоследствии найдет продолжение и развитие в сказке «Дикий помещик» (1869) и особенно в той главе «Господ Головлевых» (1875–1880), где рисуются «выморочные» фантазии Иудушки.

Основные идейные мотивы, образы и характерные черты сатирической поэтики «Невинных рассказов» получили свое непосредственное продолжение и развитие в сборнике «Сатиры в прозе», отобразившем высший фазис антикрепостнической борьбы в России.

По остроте тематики, обращенной преимущественно к дореформенной поре, сборник «Невинные рассказы» в момент своего появления в 1863 году заметно уступал «Сатирам в прозе». Этим прежде всего и объясняется то обстоятельство, что след, оставленный «Невинными рассказами» в критической литературе, бледен; книге, взятой в целом, не было посвящено ни одной обстоятельной статьи, она прошла как бы на правах дополнительного материала к критическим суждениям об авторе «Сатир в прозе» и чаще использовалась для тенденциозных нападок на сатирика (см. упомянутую статью Д. И. Писарева «Цветы невинного юмора»). Вместе с тем некоторые рассказы сборника – «Деревенская тишь», «Миша и Ваня» и др. – служили предметом оживленных критических споров (см. ниже комментарий к отдельным произведениям).

Первое отдельное издание «Невинных рассказов» вышло в начале августа 1863 года (ценз. разр. – 23 июля). Оно было выпущено, как и первое издание «Сатир в прозе», книжным магазином Н. А. Серно-Соловьевича в то время, когда владелец его находился уже в Петропавловской крепости, арестованный одновременно с Н. Г.

Невинные рассказы. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru
Чернышевским 7 июля 1862 года.

Подготавливая первое издание сборника, Салтыков провел значительную стилистическую правку включенных в него произведений. Кроме того, рассказ «Зубатов» и повесть «Запутанное дело» он ввел в сборник не в первопечатных, а в новых редакциях, и внес ряд изменений в текст рассказа «Развеселое житье», стремясь сгладить изъяны, нанесенные этому произведению цензурой.

При жизни Салтыкова сборник переиздавался в 1881 и 1885 годах, а также вошел в первый том девятитомного собрания сочинений 1889 года («издание автора»). Какие-либо существенные (и даже стилистические) изменения в этих изданиях отсутствуют, если не считать сокращения двух абзацев в рассказе «Миша и Ваня», произведенного Салтыковым в издании 1881 года (см. об этом в комментарии к этому рассказу).

В основу настоящего издания «Невинных рассказов» положен текст третьего издания сборника 1885 года. Единственное отличие по составу от этого и других прижизненных изданий «Невинных рассказов» относится к рассказу «После обеда в гостях». В согласии с замыслом Салтыкова, разрушенным цензурой, этот рассказ печатается под своим первоначальным заглавием «Перед вечером», в качестве третьей главы очерка «Наш губернский день», входящего в «Сатиры в прозе» (более подробную мотивировку см. в комментарии к названному очерку).

Все рукописи произведений, вошедших в «Невинные рассказы», хранятся в Отделе рукописей Института русской литературы (Пушкинский дом) АН СССР в Ленинграде.

ГЕГЕМОНИЕВ

Впервые – в газете «Московский вестник», 1859, № 15, стр. 182–185 (ценз. разр. – 18 мая), с подзаголовком – «(Из книги об умирающих)». Подпись: Н. Щедрин.

Рукописный материал представлен: 1) черновым автографом ранней редакции под заглавием «Отходящие. I» и с эпиграфом: «Старость не радость: и пришибить некому, и умирать не хочется» (1857, ноябрь – декабрь), 2) авторизованной рукописью с тем же заглавием и эпиграфом; на полях большие авторские вставки, сделанные при подготовке произведения к печати (1859, апрель), 3) авторизованной рукописью начала рассказа, без заглавия и эпиграфа, ко с обозначением «I» (1859).

Возникновение замысла произведения об администраторах-варягах, основанного на сатирическом использовании летописного повествования о призвании варягов на Русь, относится к осени 1857 года. Он был подсказан И. В. Павловым, который 13 августа 1857 года писал Салтыкову – своему школьному товарищу: «...Сказание о призвании варягов есть не факт, а миф, который гораздо важнее всяких фактов. Это, так сказать, прообразование всей русской истории. «Земля наша велика и обильна, а порядку в ней нет», вот мы и призвали варягов княжить и владеть нами. Варяги – это губернаторы, председатели палат, секретари, становые, полицеймейстеры – одним словом, все воры, администраторы, которыми держится какой ни на есть порядок в великой и обильной земле нашей. Это вся наша 14-классная бюрократия, этот 14-главый змий поедучий, чудо поганое наших народных сказок».[105] Отвечая И. В. Павлову, Салтыков 23 августа 1857 года сообщал: «Твоим мифом о призвании варягов я намерен воспользоваться и устроить очерк под заглавием «Историческая догадка». Изложу ее в виде беседы учителя гимназии с учениками».[106] Однако, работая в это время над «книгой об умирающих», Салтыков вложил легенду о варягах-администраторах в уста не учителя гимназии, а удаленного от службы подьячего Зиновья Захарыча Гегемониева.

В декабре 1857 года рассказ «Гегемониев» был закончен. Из письма Салтыкова к И. С. Аксакову от 17 декабря 1857 года видно, что в числе написанных к этому времени четырех рассказов «о ветхих людях» (для «книги об умирающих») был и рассказ о «старом приказном», то есть о Гегемониеве. Первоначально он не имел своего заглавия. Весь цикл, включающий «Гегемониева», «Зубатова», «Два отрывка из «Книги об умирающих», назывался «Отходящие» и имел приведенный выше эпиграф. Вслед за эпиграфом шли четыре рассказа, перенумерованные римскими цифрами. В 1859 году, подготавливая рассказ к печати, Салтыков в значительной степени переработал его. Сохранившаяся рукопись рассказа с упоминанием о Зубатове («об административных подвигах которого мы имели счастье в недавнем времени докладывать нашим читателям») позволяет отнести доработку рассказа к апрелю 1859 года, то есть ко времени между появлением в печати «Зубатова» (март) и

Невинные рассказы. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru
«Гегемониева» (май).

Переработка рассказа в 1859 году прежде всего коснулась его экспозиционной части. В первоначальной редакции вступительная часть рассказа была предельно кратка и не могла дать ясного представления о той среде, в которой растут и формируются подобные Гегемониеву «братцы меньшие». С включением эпизода в приемной генерала Зубатова и описания попойки, устроенной Потанчиковым, охват чиновничьей жизни в рассказе значительно расширился. Генерал Зубатов, вице-губернатор, чиновники губернского правления пополнили число действующих лиц, в рассказе появилась жизненная среда, взрастившая и воспитавшая не одно поколение Гегемониевых и Потанчиковых. В этой редакции рассказ и был опубликован в «Московском вестнике», фактически редактировавшемся тем самым И. В. Павловым, который подсказал Салтыкову мысль о варягах-администраторах.

Еще до появления рассказа в печати Салтыков выступал с чтением его в литературных кружках Петербурга, [107] а в марте 1860 года артист П. М. Садовский читал «Гегемониева» на вечере в пользу Общества для пособия нуждающимся литераторам и ученым. [108]

Цензурная история рассказа «Гегемониев» непосредственно связана с цитированным письмом Салтыкова к И. В. Павлову от 23 августа 1857 года. Это письмо подверглось перлюстрации и на основании извлеченных из него сведений 22 октября 1857 года в Главном управлении цензуры было заведено дело «О предполагаемой к напечатанию статье г. Салтыкова пол заглавием «Историческая догадка»», [109] а попечители Московского и Санкт-Петербургского учебных округов, в чьем подчинении находились цензурные комитеты, получили строгое распоряжение «в случае поступления на рассмотрение <...> сочинения или журнальной статьи г. Салтыкова под заглавием «Историческая догадка», изложенной в виде беседы учителя с учениками, обратить на оную особенное <...> внимание». [110]

Однако рассказ, напечатанный Салтыковым в 1859 году под заглавием «Гегемониев», по своему сюжетному оформлению мало соответствовал тому замыслу, о котором писатель сообщал И. В. Павлову в 1857 году. Салтыков дал рассказу другое название; место учителя гимназии занял в рассказе отставной подьячий Гегемониев, а гимназистов, для которых должна была излагаться легенда, сменил вновь назначенный становой пристав Потанчиков. Такое преобразование замысла ввело в заблуждение цензуру, которая пропустила рассказ в печать, не обратив на него не только «особенного», но и никакого внимания.

Стр. 8...прежде всего к Зиновею Захарычу сходить следует... – Здесь Салтыков развивает сюжетный мотив, который наметился у него в рассказе «Жених» («Современник», 1857, № 10; см. в т. 4 наст. изд.). В этом рассказе впервые упоминается выгнанный со службы подьячий Гегемониев; он представлен в роли наставника молодых чиновников, которые, вступая на административное поприще, обращаются к нему за советом и наставлениями.

Стр. 10...этого нового Улисса... – то есть увлекательного рассказчика о необыкновенных приключениях; Улиссом римляне называли Одиссея, героя древнегреческого эпоса, в том числе гомеровских поэм.

Стр. 11. Вертоград этот...в каких-нибудь сто лет, разросся... – Государственный аппарат самодержавия был создан в результате петровских преобразований. В январе 1722 года Петр I ввел 14-классную «Табель о рангах», послужившую основой для дальнейшего развития русской бюрократии.

...невещественных отношений вещественное изображение... – Несколько перефразированное выражение из романа И. А. Гончарова «Обыкновенная история» («вещественные знаки... невещественных отношений...»). Упрек в заимствовании этих слов содержится в статье Д. И. Писарева «Цветы невинного юмора» (Д. И. Писарев. Сочинения, т. II, Гослитиздат, М. 1955, стр. 348).

«Земля наша велика и обильна...» – Здесь и далее в рассказе Зиновея Захарыча используются выражения из «Повести временных лет» – русской летописи, содержащей изложение известной легенды о призвании варягов (см. «Повесть временных лет», ч. 1. Текст и перевод. Подготовка текста Д. С. Лихачева, изд. АН СССР, М. – Л. 1950, стр. 18).

Стр. 12...чтоб пермете не сказать. – Чтобы не спросить разрешения (франц.

Невинные рассказы. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru (permettez – разрешите).

Стр. 13. Призываю я меньшого своего братца, который хоть и весь в меня, а считается будто твоим депутатом... – Речь идет о депутатах от того сословия, к которому принадлежит обвиняемый. Эти депутаты должны были присутствовать в качестве наблюдателей при производстве уголовных следствий.

...птицу Финик... – Искаженное название легендарной птицы феникс.

Стр. 14...не плюй в бороду-то, не плюй!..жизнь-то твоя вся в бороде заключается. – Имеется в виду купечество – главный источник незаконных поборов и взяток для провинциальной администрации.

...его сивущество иерусалимского князя Полугарова паче звезд уважай. – Этот сатирический псевдоним служит у Салтыкова обозначением откупной системы, предоставлявшей отдельным лицам монопольное право торговли вином в той или иной местности. Он образован от названия русской водки («полугар») с определением «иерусалимский», которое содержит в себе намек на еврейское происхождение целого ряда богатейших откупщиков (Гинцбург, Ванштейн, Рабинович, Френкель и др.).

ЗУБАТОВ

Впервые – в газете «Московский вестник», 1859, № 3, стр. 32–37, под заглавием «Из «Книги об умирающих». I. Генерал Зубатов» (ценз. разр. – 27 февраля).
Подпись: Н. Щедрин.

Сохранилась авторизованная рукопись (1857, ноябрь–декабрь), по которой Салтыков выработывал окончательную редакцию рассказа.

Как и «Гегемониев», рассказ «Зубатов» посвящен теме ухода из жизни «ветхих людей». Герои этих рассказов находятся на разных ступенях бюрократической лестницы, но социальная сущность их одна и та же. В «Зубатове» Салтыков создал сатирический образ администратора «старой школы», действующего в годы подготовки крестьянской реформы.

Первая редакция «Зубатова» была написана в ноябре–декабре 1857 года (см. письмо Салтыкова к И. С. Аксакову от 17 декабря 1857 года). В этой редакции рассказ завершился сумасшествием и смертью Зубатова, что полностью соответствовало замыслу «Книги об умирающих». Через два года Салтыков вновь вернулся к рассказу и коренным образом изменил его заключительную часть. В редакции 1859 года Зубатов не сходит с ума и не умирает. Чувствуя, что ничего, по существу, не изменилось, он обретает бодрость и душевное равновесие и с новыми силами вершит свои административные дела.

Приводим полностью заключительную часть рассказа по редакции 1859 года, напечатанной в «Московском вестнике». Публикуемый фрагмент в журнальном тексте следует после слов: «...оказывается чуть-чуть не злостным банкротом... ужасно!» (см. стр. 26):

«– Что ж это такое! что ж это такое! – восклицает он тоскливо, прерывая внезапно наши занятия и хватая себя обеими руками за голову, – заколдовано оно, что ли?

– Не могу знать, ваше превосходительство.

– Да помилуйте, Николай Иванович! Ведь я желаю слышать ваше мнение!

Но так как у меня, в жизнь мою, никогда никто мнения не спрашивал, и как, напротив того, всегда мне внушалось, что рассуждать на службе не следует и что за рассуждения в военное время расстреливают, то весьма естественно, что во мне могло выработаться собственное мнение только относительно жилетов, брюк, шато-лафита и тому подобных предметов.

– Не прикажете ли, ваше превосходительство, на первый раз написать проектец о разбитии английского сада на городской площади? – осмелился я заметить стороною.

– Н-да... это полезно... но, к сожалению, предместники мои уж столько поразводили садов, что высшему начальству это может в глаза броситься... Отчего бы, однако, оно нейдет? Отчего старики наши, что, бывало, ни задумают, – все сейчас же принимается?

Невинные рассказы. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru

– Пристукнуть надо, ваше превосходительство!

– Ах, да нет же! нельзя, нельзя, говорю я вам! не велено!

Одним словом, беспокойства генерала приняли такие размеры, что Анна Ивановна имела полное основание опасаться за самую его жизнь. В собиравшемся у нее по вечерам интимном кружке часто раздавался голос, произносивший горькие жалобы.

– Семен Семенович истинный мученик, – говорила она, – вы вообразите только, что с него спрашивают, от него требуют... toutes sortes de choses...[111] и при этом никаких средств!.. вспомните, какой штат нашей канцелярии... c'est affreux![112]

Однако мало-помалу и страшная, разъедающая деятельность Семена Семеныча начала стихать. Постепенно я стал замечать, что он заговаривает о проектах все реже и реже, и даже старается замять разговор, как скоро дело коснется железных дорог, системы взаимного обучения и т. д. В течение самого короткого времени душа его возвратила прежнюю ясность, а щеки снова покрылись густым румянцем, который в сочетании с седыми бакенбардами и соответствующим рангу ростом делал из него в одно и то же время и приятного мужчину, и представительного администратора. Иногда он даже заигрывал со мной по поводу недавних наших проектов.

– Пристукнуть! – говорил он мне с любезнейшей улыбкой на устах. – Пристукнуть? ah, mais savez-vous que l'idée est ingénieuse![113]

Анна Ивановна вторила ему своим детским нервным смехом.

– Когда же, ваше превосходительство, прикажете доложить вам проект о вменении всем купцам в обязанность выстроить фабрику или завод? – прерывал я.

– Пристукнуть! – продолжал генерал, как бы не вслушавшись в мои слова и заливаясь при этом здоровым сочным смехом.

Наконец и совсем все стихло. Однажды, когда я осмелился заговорить об одном проекте, который тяжелым камнем лежал у меня на сердце, то, к изумлению моему, услышал от генерала следующую речь:

– А знаете ли что, mon cher![114] я убедился, что все эти projets, contreprojets etc,[115] – все это niaiseries,[116] и что благоденствие края преимущественно зависит от текущих... Поэтому я, конечно, не прочь... иногда... отчего же?.. но все-таки сущность дела заключается в текущих, и потому я решился заняться преимущественно ими!

Вы не поверите, любезный читатель, какую гору сняли с плеч моих эти слова и с каким увлечением я вальсировал в этот вечер с ее превосходительством Анной Ивановной.

– Mais qu'avez-vous donc, cher Nicolas![117] – сказала она мне чуть слышно, когда я усаживал ее на место. Я очень хорошо заметил, что в это время глазки ее искрились и на губах играла томная улыбка.

С этой минуты я сделался ревностным ее поклонником. «Жизнь дана для наслаждения, – рассуждаю я, – а не для того, чтобы кукситься... chantons, buvons et... aimons!»[118]

Переработка концовки рассказа явилась прямым откликом на вмешательство крепостнической реакции в дело подготовки крестьянской реформы. В 1859 году Салтыков, хотя и сохранил подзаголовок «Из «Книги об умирающих»», но фактически вывел Зубатова из общего ряда «умирающих». Он возвратил генералу, разобравшемуся в характере преобразовательной политики, прежнюю энергию и готовность к новым административным «подвигам».

В 1863 году, включая «Зубатова» в сборник «Невинные рассказы», Салтыков вновь переработал рассказ. Он ввел в текст фрагменты, отсутствовавшие в журнальной редакции, возможно, по цензурным причинам (о сеянии ржи на камне, о третьем сорте диалектиков, см. стр. 15–16), снял развернутую характеристику Анны Ивановны, в основных чертах совпадавшую с характеристикой Дарьи Михайловны Голубовицкой из рассказа «Приезд ревизора», вычеркнул отрывок о настроениях

Невинные рассказы. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru крутогорского чиновничества, заметившего, что их генерал, выступающий здесь в качестве преемника князя Чебылкина, начал «задумываться и скучать». Наиболее серьезным изменением в 1863 году подверглась опять-таки концовка рассказа. Салтыков вернулся к рукописной редакции 1857 года, завершавшейся сумасшествием и смертью Зубатова, сняв при этом лишь последнюю фразу («Через неделю он действительно скончался, нисколько не подозревая, какая глубокая истина заключалась в последних словах его»).

Причины, заставившие Салтыкова вернуться к первоначальной редакции рассказа, следует искать, видимо, в цензурных обстоятельствах. Документация о цензурной истории первого издания «Невинных рассказов» неизвестна, но вполне возможно, что в условиях усилившейся реакции Салтыков сам решил смягчить одно из наиболее острых в политическом отношении мест и тем самым обезопасить свою книгу.

В последующих изданиях «Невинных рассказов» «Зубатов» перепечатывался без существенных изменений.

В конце 50-х – начале 60-х годов образ Зубатова не сходит со страниц произведений Щедрина. Он выступает в «Гегемониеве», в «Скрежете зубовном», в «Литераторах-обывателях», в «Наших глуповских делах», в «Погоне за счастьем». Если слить воедино все то, что говорится о Зубатове в этих произведениях, то образ генерала-администратора перерастает в широкий обобщающий сатирический символ, олицетворяющий собой русскую бюрократию, ее опасения, стремления и надежды в тревожные предреформенные годы.

Стр. 17. Рогуля – персонаж из «Губернских очерков» (см. наст. изд., т. 2, рассказ «Общая картина»).

Стр. 19...вроде пословиц Альфреда Мюссе... – Имеются в виду «Comédie et proverbes» (1840), одноактные драматические произведения, большей частью – комедии, французского писателя Альфреда де Мюссе, написанные на темы известных пословиц. Произведения эти получили большое распространение в любительских спектаклях светского общества во Франции и в России.

Но не хочу, о други, умирать; // Я жить хочу, чтоб мыслить и страдать... – строки из стихотворения А. С. Пушкина «Элегия» («Безумных лет угасшее веселье»).

Ведь в наши дни спасительно страданье... – строка из поэмы И. С. Тургенева «Параша» (1843).

Стр. 22...специалисты...утверждают, что на пятьсот грамотеев двести непременно оказываются негодьями... – Сатирический выпад в адрес В. И. Даля и его выступления «Заметка о грамотности (Письмо в редакцию «Санкт-Петербургских ведомостей»)». Утверждая, что без соответствующего умственного и нравственного развития народа распространение среди него грамотности приводит к плачевным результатам, Даль в подкрепление своей мысли сообщает об известном будто бы ему примере, когда «из числа 500 человек, обучавшихся в 10 лет в девяти сельских училищах, 200 сделали известными негодьями» («Санкт-Петербургские ведомости», 1857, № 245, 10 ноября, стр. 1269). Поход Даля против распространения грамотности среди народа впервые был высмеян Салтыковым в «Губернских очерках», в рассказе «Озорники» (см. наст. изд., т. 2, стр. 263 и 539).

Стр. 26...способен и достоин... – слова из формуляра о службе.

...«благорастворение воздухов и изобилие плодов земных»... – слова из богослужения православной церкви (литургии).

...скоро будет святая, и тогда... – Зубатов намекает на возможность получения ордена к празднику пасхи.

ПРИЕЗД РЕВИЗОРА

Впервые – в журнале «Русский вестник», 1857, декабрь, кн. 2, стр. 771–802 (ценз. разр. – 31 декабря). Подпись: Н. Щедрин.

Рукописи рассказа не сохранились.

«Приезд ревизора» является, по-видимому, одним из тех рассказов, предназначавшихся первоначально для «Губернских очерков» (для «журнальной

Невинные рассказы. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru редакции 1856 г.»), которые, по словам Салтыкова, не были своевременно напечатаны по не зависящим от автора обстоятельствам (см. в наст. изд., т. 2, стр. 515). Действительно, и место действия рассказа – Крутогорск, и упоминаемые в нем персонажи – те же, что и в первой книге Щедрина: генерал Голубовицкий, учитель Линкин, чиновники Порфирий Петрович, Змеищев, Фурначев и др. Кроме того, в рассказе, как и в «Губернских очерках», широко используется материал знакомой Салтыкову вятской действительности.

Идейный стержень произведения составляет резкое сатирическое выступление Салтыкова против пьесы В. А. Соллогуба «Чиновник» (1856). В центре этой благонамеренно-обличительной пьесы находится образ идеального чиновника Надимова, в уста которого вложено высокопарное обращение ко всем честным чиновникам с призывом приступить к обновлению России. Первая сатирическая реплика была направлена Салтыковым в адрес Надимова еще в рассказе «Озорники» из «Губернских очерков» (см. наст. изд., т. 2, стр. 266 и 539); в «Приезде ревизора» она получила дальнейшее углубление и развитие. В споре и разногласиях о сущности образа Надимова, возникающих между статским советником Голынцевым (ревизором) и исполнителем роли Надимова чиновником Семионовичем, Салтыков определяет свое отношение к автору «Чиновника» как литературному лидеру официального либерализма. В этом споре точка зрения Голынцева в своих основных чертах соответствует взгляду Соллогуба: в России появился новый чиновник, который, при всех прочих неизменных условиях, несет в себе новую душу и призван «крикнуть на всю Россию, что пришла пора», и «искоренить зло с корнем». Противоположного мнения придерживается Салтыков, вложивший свою оценку образа Надимова в уста исполнявшего эту роль чиновника Семионовича. По его представлению, Надимов далек от той прогрессивно-преобразовательной роли, которую ему приписывает Соллогуб: сущность, взгляды его и убеждения («д у ш а») остались прежние, крепостнические, изменилось лишь слегка их внешнее проявление, форма их выражения («тело»).

Стр. 33. «Рахиль, утоляющая жажду Иакова». – Сюжет картины основан на библейском рассказе об Иакове и красавице Рахили, ставшей его женой.

Одалиска – рабыня или прислужница в гареме; в западноевропейской литературе – наложница в гареме.

«Дон-Жуан и Гаиде» – картина, составленная по мотивам поэмы «Дон-Жуан» Байрона. Гаиде – красавица, возлюбленная Дон-Жуана. Упоминаемый дальше Ламбро из той же картины – ее отец, старый пират-контрабандист.

Стр 34. «В людях ангел, не жена, дома с мужем сатана» – название популярного водевиля Д. Т. Ленского (1841).

Стр. 35. Княгиня. – Перечисляя действующих лиц комедии, Салтыков ошибочно заменяет графиню княгиней.

Аксиос – достоин (греч.). формула православной церкви, провозглашаемая при посвящении в духовный сан.

Стр. 37. Падчерицын – Иван Григорьевич Падчерицын, уездный судья, – один из героев водевиля Д. Т. Ленского «Хороша и дурна, и глупа и умна» (1834).

Стр. 39...обрывает звонки. – Речь идет о 2 и 3 явлениях 2 действия водевиля «В людях ангел, не жена, дома с мужем сатана».

«Wahlverwandtschaften» – роман Гете «Избирательное сродство». В романе проводится мысль о таинственном родстве душ мужчины и женщины. Героини его покидают своих мужей, чтобы соединиться с теми, к кому влечет их таинственная сила «избирательного сродства» (см. наст. изд., т. 1, стр. 188, 189, 416).

Стр. 44. «Старинный русский разврат» – взяточничество; неточное цитирование выражения Надимова из 12 явления пьесы «Чиновник».

Я хочу в кьясном мундире ходить! – то есть в военном мундире.

Стр. 48...ябедничество слишком укоренилось здесь! – В рассуждении о ябедничестве и кляузе в Крутогорске здесь, как и в других местах рассказа, имеются прямые отклики на доклад о ревизии Вятки и Вятской губернии чиновником А. Волковым в

Невинные рассказы. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru 1853 году. «Дух ябеды и кляузничества, – доносил А. Волков министру внутренних дел Бибикову, – развит в Вятской губернии вообще сильно; но в самом городе Вятке он превосходит всякую дозволенность» (см. С. А. Макашин. Салтыков-Щедрин. Биография, т. I, М. 1951, стр. 370–371).

...это все старая новгородская кляуза действует!.. – Прообразом Крутогорска в значительной степени послужила Вятка, бывший Хлынов, основанная выходцами из Великого Новгорода и долгое время являвшаяся его колонией.

Стр. 48...грамотность–то именно и распространяет у нас ябедников... – намек на выступление В. Даля о вреде грамотности для народа (см. прим. к стр. 22).

...ну, и сокращение переписки... – сатирический отклик на одну из канцелярских реформ, породившую огромное количество бюрократической возни и волнений в чиновничьем мире (см. прим. к стр. 349).

Стр. 50. Madame Beauséant – виконтесса де Босеан, дочь папаши Горио из романов Бальзака «Покинутая женщина» («La Femme abandonnée») и «Отец Горио» («Le Père Goriot»).

Марта – героиня романа Жорж Санд «Орас» («Hорасе»).

Лукреция Флориани – героиня одноименного романа Жорж Санд («Lucrezia Floriani»).

Стр. 52...куплет о Пушкине... – куплет небосклоновой из 2 действия водевиля Д. Т. Ленского «В людях ангел, не жена, дома с мужем сатана», заканчивающийся словами: «Поэтов много нам осталось, // Но Пушкина другого нет!»

Стр. 54...была напечатана в виде письма к редактору следующая статья. – Рецензия является пародией на статью некоего Тянгинского о любительском спектакле в Вятке («Вятские губернские ведомости», 1852, № 22, 31 мая, часть неофициальная, стр. 174–176).

Стр. 56...восстановить в России патриаршеское достоинство... – Единоличная власть патриарха в России была заменена коллегиальным управлением вновь созданного синода в 1721 году.

Стр 57. When we two parted... – Стихотворение Байрона, озаглавленное по этой начальной строке.

УТРО У ХРЕПТЮГИНА

Впервые – в журнале «Библиотека для чтения», 1858, № 2, стр. 1–18 (вторая пагинация), под заглавием «Губернские честолюбцы. 1. Утро у Хрептюгина. Драматический очерк» (ценз. разр. – 4 февраля). Подпись: Н. Щедрин.

Сохранившаяся рукопись «Утра у Хрептюгина» состоит из двух частей: первая – черновой автограф (сцены I–VIII), с незначительными отличиями от текста, опубликованного в «Библиотеке для чтения», вторая является авторизованной копией первоначальной редакции пьесы «Смерть Пазухина», заключительные сцены (X–XIII) которой Салтыков использовал при работе над «Утром у Хрептюгина» (см. наст. изд., т. 4).

Вместе с «Приездом ревизора» драматический очерк «Утро у Хрептюгина» входит в крутогорский цикл и представляет собой как бы продолжение рассказа «Хрептюгин и его семейство» из «Губернских очерков».

Однако «Утро у Хрептюгина» не могло предназначаться для третьего тома «Губернских очерков», так как было написано после выхода его в свет; по своему характеру оно не соответствовало и задуманной в это время «Книге об умирающих». Остается предположить, что отдел под названием «Губернские честолюбцы» был запроектирован для четвертого тома «Губернских очерков» и «Утро у Хрептюгина» является одним из осколков этого неосуществленного замысла.

Идея создания самостоятельного драматического произведения, посвященного погоне богатого провинциального «негоцианта» Ивана Онуфрича Хрептюгина за чином надворного советника и вскрывающего его взаимоотношения с губернской аристократией, зародилась у Салтыкова осенью 1857 года в процессе работы над комедией «Царство смерти» (первоначальную редакцию «Смерти Пазухина» см. в наст.

Невинные рассказы. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru изд., т. 4). Посвященные этой теме сцены, эпизоды и действующие лица, связанные с ее развитием, были исключены из окончательной редакции пьесы и послужили основой для создания «Утра у Хрептюгина».[119]

В октябре 1857 года «Утро у Хрептюгина» поступило в драматическую цензуру, в связи с предполагавшейся постановкой его на сцене Александринского театра 8 ноября в бенефис артиста П. И. Григорьева. Цензор И. Л. Нордстрем, на рассмотрение которого поступило «Утро у Хрептюгина», был хорошо знаком с драматическими произведениями Салтыкова: в октябре – декабре 1856 года по его представлению были запрещены сцены «Просители» и «Прошлые времена»; почти одновременно с «Утром у Хрептюгина» он дал неблагоприятный отзыв о пьесе «Смерть Пазухина», на основании которого она была запрещена. «Утро у Хрептюгина», по теме и направлению непосредственно связанное со «Смертью Пазухина», также получило отрицательную оценку и 21 октября 1857 года было окончательно запрещено управляющим III Отделением Тимашевым.[120] В 1862 году П. М. Садовский предпринял попытку поставить «Утро у Хрептюгина» в Малом театре, но цензура и на этот раз не допустила на сцену драматический очерк Щедрина.[121] Впервые пьеса увидела свет ramпы 20 октября 1867 года, в бенефис артиста Александринского театра Ф. А. Бурдина. В получении разрешения на постановку пьесы (с некоторыми сокращениями в тексте) важную роль сыграл положительный отзыв о ней И. А. Гончарова, служившего в то время членом совета Главного управления по делам печати.[122]

Критика холодно встретила появление на сцене «Утра у Хрептюгина». Отрицательные отзывы о постановке находим в «Голосе» (1867, № 293, 23 октября) и в «Санкт-Петербургских ведомостях» (1867, № 294, 24 октября). Лишь в газете «Антракт» (1868, № 17, 5 мая) В. И. Родиславский отметил типичность некоторых действующих лиц, сатирическую направленность очерка и талант его автора.

После длительного перерыва «Утро у Хрептюгина» в 1904 году вновь появилось на сцене Александринского театра с В. Н. Давыдовым в главной роли.

Стр. 59. Бедняк, сударь, что муха: где забор, там двор, где щель, там постель! – В «Утре у Хрептюгина» Салтыков использовал список пословиц, составленный им в конце 1857 года (см. Ю. Соколов. Из фольклорных материалов Щедрина. – «Литературное наследство», т. 13–14, М. 1934, стр. 493–504).

Стр. 61...достойна и способна... – см. прим. к стр. 26.

Стр. 70...в вино вассервейнцу малую толику подпустите... – то есть разбавите вино водой (от нем. Wasser – вода и Wein – вино).

...дивны дела твои, господи! – В прижизненных изданиях «Невинных рассказов» эти слова из «Псалтыри» (Псалом 138) отсутствуют, несомненно, по цензурным причинам. В настоящем издании они восстановлены по рукописи.

Стр. 71...у меня правая рука не знает, что делает левая... – Фурначев применяет к себе наставление из «Евангелия»: «...пусть левая рука твоя не знает, что делает правая» (Матф., VI, 3).

Стр. 73...убогий Лазарь, о котором в Писании сказано! – Имеется в виду евангельская притча о нищем Лазаре и Лазаре-богаче; первый за свои страдания попал после смерти в рай, второй, за свое бессердечие и богатство, – в ад (Лук., XVI, 19–31).

По палате у нас, слава богу, благополучно. Вчерашнего числа совершился заподряд... Слава всевышнему, благополучно! – Речь идет о казенной палате, где происходили торги на откупа. Слова фурначева – председателя казенной палаты – о благополучном завершении откупной операции означают, что откупщик дал ему крупную взятку за выгодно совершенную сделку. «Все председатели казенных палат, – вспоминает известный финансист Е. И. Ламанский, – были на содержании у откупщиков, от которых получали также определенное вознаграждение и губернаторы» («Русская старина», 1915, № 3, стр. 577).

Стр. 74...и знакомые–то у него какие: все аки да ндросы! – Намек на известных финансово-откупных дельцов того времени греческого происхождения (Родоконаки, Бенардаки, Посполитаки). См. также в т. 2 прим. к стр. 142 рассказа «Хрептюгин и его семейство».

ДЛЯ ДЕТСКОГО ВОЗРАСТА

Впервые – в журнале «Современник», 1863, № 1–2, стр. 181–195 (ценз. разр. – 5 февраля), под № II вместе с рассказами «Деревенская тишь» и «Миша и Ваня» с общим заголовком «Невинные рассказы». Подпись, общая для трех рассказов: Н. Щедрин.

Сохранилась черновая рукопись под заглавием «Сказка». Она обрывается словами «...что Кобыльников страдает, что ему надо успокоиться» и отличается от опубликованного в «Современнике» текста значительным количеством вариантов стилистического характера. Наборная рукопись под заглавием «Невинные рассказы. Для детского возраста» содержит полный текст произведения и совпадает, за исключением купюр цензурного характера, с текстом журнальной публикации, которому полностью соответствуют и сохранившиеся в архиве А. Н. Пыпина корректурные гранки (вторая корректура), датированные 4 января 1863 года. В корректурных гранках рассказ не имеет номера (II), под которым он опубликован в журнале. Это является свидетельством того, что публикация «Невинных рассказов» в том составе, в каком она появилась в «Современнике», сложилась в январе 1863 года, после запрещения цензурой произведений глумовского цикла (см. наст. изд., т. 4).

Рассказ написан в конце 1862 года для первой книжки возобновленного после приостановки «Современника». Об этом свидетельствует письмо Салтыкова к Некрасову, датированное второй половиной декабря. Посылая при письме рассказ, Салтыков просил прочитать его и печатать «только в том случае, если он не слишком слаб».

В настоящем издании из рассказа устранены, путем обращения к рукописи, две купюры (см. стр. 78–79), с которыми текст его печатался во всех прижизненных изданиях: о будущей судьбе советников питейных отделений («Но ты, быть может... взирай на будущее!») и вице-губернаторов («Но, быть может... архистратигом!»). Эти купюры были сделаны в наборной рукописи самим Салтыковым или редакцией «Современника», по-видимому, в целях самоцензуры.

Стр. 78. Читатель! не знаю, живали ли вы в провинции...воспоминания о виденных мною елках навсегда останутся самыми светлыми воспоминаниями пройденной жизни! – Эти слова, хотя в них и звучат нотки иронии, имеют автобиографический характер; они навеяны воспоминанием о долголетней службе в провинции. Впечатления от рождественских елок с наибольшей полнотой отразились в рассказе «Елка» из «Губернских очерков» (см. наст. изд., т. 2).

Скоро придет бука и всех советников оставит без пирожного! Но... ум человеческий... и из патентов пирожное сделать сумеет... – Речь идет об упразднении должности советников питейных отделений в казенных палатах в связи с реорганизацией откупного дела в России. Эти советники, ведая откупами, получали со своих клиентов крупные «пирожные» – взятки. 26 октября 1860 года был издан закон об отмене откупной системы, вступающий в силу с 1863 года. 4 июля 1861 года было утверждено Положение об акцизной системе, на основании которого никто не имел права производить спиртные напитки и торговать ими, не имея на то патента, выдававшегося вновь организованными питейно-акцизными управлениями после уплаты соответствующей суммы патентного взноса.

Стр. 84–85...с губернским прокурором против советника казенной палаты и батальонного командира. – Первоначально Салтыков намеревался назвать среди участников карточной игры не батальонного командира, а жандармского полковника. В соответствующих местах рукописи он дважды начинал писать: в первом случае – «жан», во втором – «жандармский по». Затем в обоих случаях следовали вычерки и замены вычеркнутого словами «батальонный командир». На основании этих колебаний в рукописи Б. М. Эйхенбаум заменил в т. III издания 1933–1941 годов «батальонного командира» в тексте рассказа на «жандармского полковника» (ср. Б. Эйхенбаум. История текста «Сатир в прозе». – «Литературное наследство», т. 13–14, м. 1934, стр. 6). Однако такую замену нельзя признать правомерной. Во-первых, «батальонный командир» в 60-е годы был у Салтыкова обычным цензурным псевдонимом жандармского губернского офицера (как правило, в чине полковника) и в этом качестве входил в общую систему эзоповских средств и приемов сатирика. Во-вторых, в те верхи губернской администрации, которые в данном случае называются, мог входить не только жандармский полковник, но и местный батальонный командир.

МИША И ВАНЯ

Впервые – в журнале «Современник», 1863, № 1–2, стр. 195–208 (ценз. разр. – 5 февраля), под № III вместе с рассказами «Деревенская тишь» и «Для детского возраста», с общим заголовком «Невинные рассказы». Подпись, общая для трех рассказов: Н. Щедрин.

Рукописи и корректуры не сохранились.

Рассказ «Миша и Ваня» написан Салтыковым в декабре 1862 года (см. письмо Салтыкова к Н. А. Некрасову, датируемое второй половиной декабря 1862 года). В основу произведения положено событие, происшедшее в 1859 году в Рязани в период службы там Салтыкова. Местная помещица истязаниями довела двух своих мальчиков-крепостных (лет десяти – двенадцати) до того, что, по взаимному согласию, они решили резать друг друга столовыми ножами. Младший погиб, старшего удалось спасти.[123] Узнав о случившемся, Салтыков, исполнявший в ту пору должность рязанского губернатора, немедленно обратился с официальным отношением к губернскому прокурору, в котором писал: «Вчера, 27 сентября, два мальчика, находящиеся в услужении у полковницы Кислинской, проживающей в г. Рязани у г. Вельяшева, покусились на собственную свою жизнь. При этом в городе существует молва, что покушение это произошло от многократно повторявшихся жестоких истязаний как со стороны владелицы их, так и со стороны г. Вельяшева... А потому предписываю вам о происшествии этом произвести строжайшее формальное следствие, по окончании представить оное ко мне».[124] Однако расследование дела было искусственно затянато и завершено уже после отъезда Салтыкова из Рязани оправданием виновных.

Первоначально рассказ не вызвал возражений со стороны цензуры и был пропущен в печать без каких-либо изъятий и замен. Однако вскоре после опубликования он привлек к себе внимание члена Совета по делам книгопечатания О. Пржецлавского. «...В <рассказе> «Миша и Ваня»... описываются возмутительные черты жестокости и разврата бывших помещиков в их отношениях к бывшим крепостным людям», – писал О. Пржецлавский в своем докладе о двух первых книжках возобновленного «Современника». И продолжал: «...не надобно забывать, что новые отношения между помещиками и крестьянами не вполне еще установились и окрепли, взаимная зависимость одних от других не совсем прекратилась. И поэтому нельзя не заметить, что в настоящем положении дела... очень неуместно и даже вредно разжигать страсти и в освобожденном от гнета населении возбуждать чувства ненависти и мщения за невозвратное прошедшее».[125]

Во втором издании сборника «Невинные рассказы» (1881) Салтыков исключил из рассказа следующий текст обращений «от автора» к Екатерине Афанасьевне и к «матери-земле», заключающих сцену самоубийства мальчиков в журнальной редакции рассказа и в первом издании сборника «Невинные рассказы» (1863):

«Катерина Афанасьевна! если бы вы могли подозревать, что делается в этом овраге, покуда вы безмятежно почиваете с налепленными на носу и на щеках пластырями, вы с ужасом вскочили бы с постели, вы выбежали бы без кофты на улицу и огласили бы ее неслыханными, раздирающими душу воплями.

Земля-мать! Если бы ты знала, какое страшное дело совершается в этом овраге, ты застонала бы, ты всколыхнулась бы всеми твоими морями, ты заговорила бы всеми твоими реками, ты закипела бы всеми твоими ручьями, ты зашумела бы всеми твоими лесами, ты задрожала бы всеми твоими горами!».[126]

Исключая эти строки, Салтыков, по-видимому, согласился с ядовитыми замечаниями Д. И. Писарева в статье «Цветы невинного юмора»: «Ах, мои батюшки! Страсти какие! Не жирно ли будет, если земля-мать станет производить все предписанные ей эволюции по поводу каждого страшного дела, совершающегося в овраге. Ведь ее, я думаю, трудно удивить; видала она на своем веку всякие виды...»[127]

Стр. 93. Теперь все это какой-то тяжкий и страшный кошмар... от которого освободило Россию...слово царя-освободителя... – Имеется в виду крестьянская реформа. У Салтыкова признание того, что реформа не принесла народу подлинного освобождения, совмещалось с представлением о прогрессивности ее в той части, которая касалась ликвидации ужасов личного рабства для многомиллионных масс русского крестьянства. В конце 50-х годов писатель был непосредственным свидетелем борьбы государственной администрации с крепостнической «земщиной»,

Невинные рассказы. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru активно выступавшей против реформы. Отсюда некоторая идеализация роли правительства Александра II и самого царя в деле подготовки и проведения реформы, свойственная многим передовым современникам Салтыкова, в том числе и Герцену. Эта идеализация была замечена в демократических кругах и послужила поводом для резкого упрека в адрес Салтыкова, прозвучавшего со страниц журнала «Русское слово». В статье «Глуповцы, попавшие в «Современник»» Варфоломеем Зайцев писал:

«Зачем же сами вы, почтенный муж, представлялись недовольным и делали вид, что чего-то желаете?.. Ваше недовольство было будированием, да и не мне одному это известно, а всякому, кто со вниманием прочел, например, рассказ «Миша и Ваня», имеющий солидарность с вашими фельетонами...» («Русское слово», 1864, № 2, отд. II, стр. 35–36).

НАШ ДРУЖЕСКИЙ ХЛАМ

Впервые – в журнале «Современник», 1860, № 8, стр. 351–370 (ценз. разр. – 14 августа). Подпись: Н. Щедрин.

Сохранилась черновая рукопись рассказа под заглавием «Один из многих». Первый лист ее представляет собой бланк рязанского вице-губернатора за 1858 год. Рукопись не завершена; она обрывается словами: «А главное, что без онёров! – повторяет Иван Фомич» – и отличается от основного текста множеством вариантов стилистического характера.

Сохранилась и беловая рукопись. Она содержит полный текст произведения, который также отличается от основного текста рядом разночтений. В ходе работы над белой рукописью Салтыков дал новую редакцию фрагмента о Петербурге, производящем «только чиновников и болотные испарения» (см. стр. 101), сократил рассуждение о нововведениях (стр. 108). После слов: «чтобы всякое дыхание бога хвалило, чтобы и травка – и та радовалась!» – в белой рукописи следовало продолжение:

«Ведь и прежде бывали же мы в переделках, да и в каких еще! Однако, благодарение богу, и злого татарина поработили, и француза цыбулястого уняли и все этак ладно да мирно... без всяких нововведений! Ну, и опять татарин сунься – и опять управимся! и опять француз нагрень – и опять уйдем цыбулястого! Иль мало нас? К чему же, спрашиваю я вас, повели бы тут нововведения?»

Наиболее существенным из вычеркнутых в белой рукописи фрагментов является характеристика Забулдыгина и Шалимова, следовавшая после слов: «А жаль молодого человека! Еще намерен говорить я ему: «Плюньте, Николай Иванович!» – так нет же!» (стр. 113). Приводим ее полностью по рукописи.

«Забулдыгин поселился в нашем городе недавно, но уж успел всем надоесть по горло. По-видимому, и в мнениях он с нами не разнится, и на откупа с надлежащей точки взирает, и по части гражданских доблестей никому не уступит, но есть в нем как бы лай административный какой, который, как кажется, независимо от него самого, природою в него вложен. Бывают такие люди на свете, что даже свой собственный нос в зеркале увидят, и тут думают: «а славно, кабы этот нос поганый отрезать!» К числу сих людей принадлежит и Забулдыгин. Иной раз, по-видимому, он обласкать человека хочет, но вдруг как бы чем-либо поперхнется (воспоминания грустные, что ли, у него есть?), и пошел лаять да лаять направо и налево. И добро бы лаял на Шалимова и подобных ему неблагонамеренных людей, но нет! и на нас свою пасть нередко разевает, хотя с нашей стороны, кроме уважения к отеческим преданиям и соблюдения древних палатских обрядов, ничего противоестественного или пасквильного отнюдь не допускается. А потому об нем можно сказать: так ограниченная от природы шавка злится и выходит из себя, лая на свой хвост, в котором, от ее же собственной неопрятности, развелись насекомые.

Что касается до Шалимова, то мы вообще никогда его не любили. Если же генерал Голубчиков и изъявлял сожаление об его падении, то полагаю, что он сделал это единственно по чувству христианского человеколюбия. Ибо человек этот заносчив и самонадеян, к красоте природы равнодушен, а к человечеству недружелюбен и предосудительно строг. Предметы видит как бы наизнанку».

В «Нашем дружеском хламе» Салтыков обратился к изображению «губернской аристократии» – высшего губернского чиновничества, дав яркую сатирическую

Невинные рассказы. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru зарисовку бедности его идейной жизни и низменности его быта. По своему характеру и условиям, в которых им приходится действовать, герои «Нашего дружеского хлама» значительно отличаются от своих предшественников из «Губернских очерков». Они живут не в безмятежные крутогорские времена, а в тревожный период подготовки крестьянской реформы, с часу на час ожидая новых реформ и облегченно вздыхая при каждом известии об очередном колебании правительства в сторону реакции.

Герои рассказа имеют своих реальных прототипов в среде рязанской бюрократии. «По перемещении М. Е. Салтыкова в Тверь, – вспоминает С. Н. Егоров, служивший в 50–60-х годах делопроизводителем Рязанского губернского правления, – в печати появился его очерк «Мои старый дружеский хлам». В нем можно видеть господ рязанцев того времени, которых теперь уже нет: «Генерал Голубчиков» – председатель казенной палаты В<ишнеvский>. «Рылонов» – советник той же палаты <Леонов>, «губернский Сенека» – правитель канцелярии губернатора Д<митриевский> и т. д. Рылоновым советник назван как по созвучию фамилии, так и по его громадному, с нечеловеческими челюстями лицу. Он был человек не старый, но по складу чиновник дореформенный, не гнушавшийся видами по службе. Рассказывали: когда Рылонов узнал о назначении Салтыкова в Рязань, то упал в обморок».[128]

Стр. 100...в том заведении, в котором он состоит аристократом, происходили сего числа торги. – Речь идет об откупных операциях («торги»), совершавшихся в казенной палате (см. прим. к стр. 73).

...вижу... генерала Голубчикова... – В рассказе «Наш дружеский хлам» продолжают действовать некоторые персонажи «Губернских очерков» – генерал Голубчиков, Корепанов – «губернский Мефистофель» и др., хотя действие происходит уже не в Крутогорске. Все действующие в рассказе «генералы» – это действительные статские советники, то есть штатские генералы.

Стр. 103. «Что он Гекубе, что она ему?» – слова из монолога Гамлета (2 акт, 2 сцена). Гекуба – одна из героинь гомеровской «Илиады».

Стр. 107...опасений никаких иметь не следует. – В 1860 году Редакционные комиссии внесли в проект «Положений...» ряд изменений: в одних губерниях нормы земельных наделов были понижены, в других – увеличен крестьянский оброк и т. д. Подобные изменения давали дворянам-помещикам основание надеяться, что проведение крестьянской реформы в жизнь не нанесет значительного ущерба их привилегиям и правам.

Стр. 108...преимущественно в ломбардных билетах, которые мы спешим в настоящее время променивать на пятипроцентные. – Речь идет об участившейся в период подготовки крестьянской реформы продаже обремененных долгами помещичьих имений. Продавая имение, помещик взамен закладных получал, за вычетом долгов, стоимость имения различного рода обязательствами, приносящими 5 % роста.

Стр. 110...не выходя из министерства финансов... – Муж Голубчиковой служил председателем казенной палаты, то есть по ведомству министерства финансов.

Стр. 112...Шалимов в трубу вылетел! – Г. А. Джаншиев в книге «А. М. Унковский и освобождение крестьян» (М. 1894, стр. 148) указывает, что в лице «выведенного Салтыковым оклеветанного Шалимова встречается не одна черта, напоминающая судьбу А. М. Унковского», тверского губернского предводителя дворянства, сосланного в феврале 1860 года в административном порядке в Вятку. Между тем, несмотря на такое указание хорошо осведомленного современника Салтыкова и биографа Унковского, нельзя отрицать и известной автобиографичности образа Шалимова. Явный намек на интриги, которые местная бюрократия плела против Салтыкова в период его вице-губернаторства в Рязани, находим в черновой и белой рукописях рассказа, где первоначально вместо: «Шалимов в трубу вылетел!» – было: «наш вице-губернатор в трубу вылетел!».

ДЕРЕВЕНСКАЯ ТИШЬ

Впервые – в журнале «Современник», 1863, № 1–2, стр. 161–181 (ценз. разр. – 5 февраля) под № I вместе с рассказами «Для детского возраста» и «Миша и Ваня», с общим заголовком «Невинные рассказы». Подпись, общая для трех рассказов: Н. Щедрин.

В архиве А. Н. Пыпина сохранились корректурные гранки журнала «Современник» (вторая корректура, датированная 28 декабря 1862 года), текст которых полностью

Невинные рассказы. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru совпадает с журнальной публикацией произведения.

В рассказе «Деревенская тишь» Салтыков создал образ помещика Кондратия Трифонича Сидорова, наделив его первыми, пока еще чуть заметными, чертами будущего Иудушки Головлева (см. об этом выше, стр. 558). Вместе с помещицей Падейковой (из рассказа «Госпожа Падейкова» в сборнике «Сатиры в прозе»), Кондратий Трифонич относится к тому ряду социальных типов, которым Салтыков предполагал посвятить «Книгу об умирающих».

В настоящем издании (как и в издании 1933–1941 годов) в основной текст внесено одно изменение: «батюшкин брат» на протяжении всего рассказа заменен «батюшкой». Этот псевдоним для обозначения священника был внесен в рукопись рассказа Салтыковым или редакцией «Современника» по соображениям цензурного характера.

Стр. 119...в книжке, называемой «Русский вестник»... подобная натянутость отношений называется сословным антагонизмом. – Вопрос о «сословном антагонизме» возник на страницах «Русского вестника» еще в 1858 году (см. в № 9 статью В. Безобразова «О сословных интересах.

Мысли и заметки по поводу крестьянского вопроса»). Подробно о «сословном антагонизме» говорится в редакционной статье «Современной летописи» (приложение к журналу «Русский вестник»), посвященной результатам выборов в Петербургской городской думе (см. «Современная летопись», 1862, № 22, май, стр. 15–16).

Стр. 123. С тех пор как... опекунский совет закрыл гостеприимные свои двери, глумовские веши уныли и запустели. – Проведение в жизнь крестьянской реформы сопровождалось прекращением выдачи помещикам ссуд из заемного банка, сохраненных касс, опекунских советов и приказов общественного призрения (закон от 16 апреля 1859 года), что заметно отразилось на экономическом положении многих дворянских поместий («Глумовских весей»).

Сидорычи – одно из обозначений дворянско-помещичьего класса в щедринской сатире.

Распоряжения на конюшне – телесные наказания крепостных.

Поневоле ухватишься за антагонизм, хотя, в сущности, никакого антагонизма нет и не бывало, а было и есть одно: «Вы наши кормильцы, а мы, ваши дети!» – Одно из множества обличений Щедриным самих угнетенных в покорности.

Стр. 131. Николин день – праздновался 6 декабря по ст. ст.

Стр. 132...а ведь я два года еще право имею... – Для введения в действие «Положений 19 февраля» был установлен двухлетний переходный период, в течение которого крестьяне должны были отбывать барщину и платить оброк в прежних размерах.

СВЯТОЧНЫЙ РАССКАЗ

Впервые – в журнале «Атеней», ч. 1, 1858, январь, № 5, стр. 304–328 (ценз. разр. – 31 января). Подпись: Н. Щедрин.

Сохранилась черновая рукопись (первоначальное заглавие «Рождественский рассказ»), отличающаяся от основного текста значительным количеством вариантов стилистического характера, а также черновая рукопись первоначальной редакции интермедии «Невыгодный нос», входящей во вторую главу «Святочного рассказа».

Сюжет рассказа основан на личных впечатлениях Салтыкова, связанных с его многочисленными поездками в качестве следователя по раскольничьим делам. В 1854–1855 годах, будучи советником Вятского губернского правления, Салтыков вел большое и сложное дело о раскольниках Ситникове и Смагине. Распутывая нити этого дела, он близко познакомился с жизнью и бытом раскольников Вятской и смежных с ней северных губерний. Действие рассказа относится к 1855 году (в рассказе «18**»). Рождественские праздники в этом году Салтыков провел в скитаниях по Чердынскому уезду Пермской губернии, отыскивая спрятанные в лесах скиты и поселения раскольников. Топография произведения полностью соответствует району деятельности Салтыкова как следователя: Срывный – это Сарапул, уездный город Вятской губернии, где были арестованы Ситников и Смагин; Усть-Деминская пристань – подлинное географическое название, неоднократно встречающееся в служебной документации Салтыкова периода вятской ссылки.

Невинные рассказы. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru Важным моментом в «Святочном рассказе» является самокритичная оценка, данная Салтыковым своей прошлой следовательской деятельности («зарвался в порыве усердия» и т. д.), выраженная в размышлениях едущего на следствие чиновника, образ которого наделяется писателем целым рядом автобиографических черт. В его голове рождаются «странные, противоречивые мысли» о бесполезности усилий, затраченных им на розыски слепых старух – раскольниц, о бесплодности его деятельности в целом.

По сравнению с другими произведениями из «Невинных рассказов», в «Святочном рассказе» заметнее проявляется сочувственное внимание Салтыкова к жизни и быту крестьян, стремление глубже проникнуть в духовный мир простых людей.

Стр. 138. Гриша – камердинер и спутник Салтыкова в период вятской ссылки, дворовый крепостной человек его родителей.

Стр. 145...в том далеком-далеком городе... – в Петербурге.

Стр. 152. С Петра и Павла – то есть с 29 июня ст. ст.

«Вот...нос! для двух рос, а одному достался!» – Пословица взята Салтыковым из списка, составленного им в 1857 году (см. Ю. Соколов. Из фольклорных материалов Щедрина. – «Литературное наследство», т. 13–14, м. 1934, стр. 493–504).

РАЗВЕСЕЛОЕ ЖИТЬЕ

Впервые – в журнале «Современник», 1859, № 2, стр. 441–469 (ценз. разр. – 15 февраля). Подпись: Н. Щедрин.

Сохранились черновая и перебеленная рукописи. Последняя с большой правкой и вычерками. В последнем авторском чтении обе рукописи близки к основному тексту рассказа, за исключением фрагмента о жизни Ивана в Москве, который имеет две редакции.

Рассказ написан в самом конце 1858 года. «Я на днях послал в «Современник» рассказ под названием «Развеселое житье» из жизни бродяги, – писал Салтыков из Рязани 2 января 1859 года П. В. Анненкову. – Вы бы меня весьма обяжали, сказав откровенно, годится ли эта вещь на что-нибудь, кроме подтирки». В конце декабря рассказ был прочитан Некрасовым. Ожидая противодействия цензуры, Некрасов предпринял попытку преодолеть его при помощи коллективного воздействия на цензора влиятельных писателей. «Посылаю Вам рассказ Салтыкова, – писал он П. В. Анненкову в конце декабря 1858 года. – Пожалуйста, завтра (вторник) приходите ко мне обедать и к этому времени прочтите рассказ, ибо нам предстоит уговорить Мацкевича, чтоб он его пропустил. Я дал его читать Гончарову, который тоже будет, и будет Тургенев».[129] Как происходило обсуждение рассказа с цензором Мацкевичем, неизвестно. Но из цензуры в начале февраля «Развеселое житье» вернулось с многочисленными купюрами и сокращениями в тексте и в таком изуродованном виде появилось в печати. «Я по опыту знаю, – писал Салтыков П. В. Анненкову 29 декабря 1859 года, – каково печататься в «Современнике», где редакция не дает себе труда даже связывать пробелы, оставленные цензорским скальпелем». Здесь речь идет, несомненно, о «Развеселом житье», так как к этому времени, кроме «Развеселого житья», Салтыков напечатал в «Современнике» только рассказ «Жених» (см. наст. изд., т. 4), благополучно прошедший через цензуру.

Характер цензурного вмешательства в текст произведения, а также историю работы над ним автора позволяют выяснить две редакции эпизода о жизни в Москве Ивана. В первой из них молодой барин, к которому нанялся Иван, увлекается француженкой, которая доводит его до полного разорения, а затем и самоубийства. В последующей редакции молодому барину Михаилу Васильевичу были приданы некоторые черты петрашевца (следует заметить, что Петрашевского тоже звали Михаилом Васильевичем), его любовница – француженка – превращена в тайно приставленного к нему агента политической полиции, введена сцена ареста молодого барина. Этот эпизод, представлявший первую попытку заговорить в литературе о петрашевцах, был полностью изъят цензурой и в прижизненных изданиях «Развеселого житья» не восстанавливался. Впервые он был опубликован Н. В. Яковлевым в статье «Петрашевцы в изображении Салтыкова»[130] и введен в основной текст произведения в томе III издания 1933–1941 годов.

Перо цензора пришлось по всему рассказу от начала до конца. Ни одно из произведений Салтыкова 50-х годов не пострадало столь жестоко от цензуры, как

Невинные рассказы. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru «Развеселое житье». В первом отдельном издании «Невинных рассказов» (1863) из текста «Развеселого житья», по-видимому, случайно выпало рассуждение дворового человека буфетчика Петра Филатова – одного из проповедников «рабского кодекса»: «Сказывал нам Петр Филатыч... призреваю» (см. стр. 160). При переизданиях «Невинных рассказов» Салтыков возвращался к работе над «Развеселым житьем», вносил в текст незначительные исправления, чаще всего стилистического характера, стремясь сгладить следы, оставленные «цензорским скальпелем».

В 1863 году «Развеселое житье» было включено в «Сборник рассказов в прозе и стихах», изданный в Петербурге членами тайного революционного общества «Земля и воля» О. И. Бакстом и А. Д. Путятой (рассказ напечатан сокращенно по тексту журнала «Современник»; он обрывается словами: «...выпьешь третью, – ни земли, ни воды под тобой нет, да и люди – ровно точки в глазах мерещатся...» – см. стр. 174. В начале рассказа исключены слова: «Никто как бог... Значит – сила!» – см. стр. 156). Вскоре после выхода в свет сборника министр внутренних дел П. А. Валуев запретил продажу книги, а непроданные 2116 экземпляров ее распорядился конфисковать и уничтожить. [131] В 1868 году «Развеселое житье» было перепечатано (по тексту первого издания сборника «Невинные рассказы») в одном из женевских изданий русской революционной эмиграции: «От нечего делать. Собрание повестей и рассказов русских авторов», вып. 1 (место издания не указано, но на обложке и титульном листе помечено: «Продается у главнейших книгопродавцев Германии и Швейцарии»). Впоследствии рассказ «Развеселое житье» издавался в эмигрантской печати отдельными брошюрами: М. Элпидиным в Женеве (1897 и 1901) и в берлинском издательстве Г. Штейница (1904).

«Развеселое житье» – одно из самых ярких антикрепостнических произведений Салтыкова конца 50-х годов. Рассказ создан в то время, когда в стране складывалась революционная ситуация. В «Развеселом житье» писатель впервые обратился к теме сознательного и активного крестьянского протеста, хотя и в особой форме – разбойничестве. Рассказ написан сказово-ритмической прозой, первые образцы которой, созданные на основе духовного стиха, вошли в состав «Губернских очерков» («Пахомовна», «Аринушка»). В отличие от них, в основу ритмической прозы «Развеселого житья» положены разбойничье-удалые песни.

Стр. 156. Станет царь-государь меня спрашивати... – Эпиграф к рассказу взят из песни «Не шуми, мати зеленая дубравушка». Это одна из удалых, или разбойничьих песен, которые назывались также бурлацкими Салтыков познакомился с «Дубравушкой», вероятно, по книге «Песни русского народа» (ч. IV, в типографии Сахарова, СПб. 1839, стр. 164–166).

Бывают и кавалеры: эти больше от «зеленых лугов» в лесу спасаются. – Речь идет о беглых солдатах, скрывающихся от палочных наказаний (ср. в народной песне: «Пройдись, пройдись, молодец, сквозь зеленые леса!»).

Паратый – на языке охотников – быстрый в беге (о животных).

Смоленская – икона Смоленской божией матери, почитавшаяся чудотворной.

Стр. 160. Машина «Ветерок» тебе сыграет... – Скорее всего это была популярная в первой половине XIX века песня «Ветерок, повеи сильнее...» на слова поэта Н. П. Николаева.

Стр. 160...приказный от Иверских ворот... – В Москве у Иверских ворот обычно собирались отставные или изгнанные со службы приказные. Здесь их нанимали клиенты.

Стр. 162. И куда ж бы ты думал, однако, она меня привела? – Далее в тексте пропуск. Подразумевается жандармское управление. Зачеркнутый Салтыковым рукописный вариант:

«И привела, братец, она меня – куда бы ты думал? – прямо в канцелярию, к большому дому. А об этой канцелярии я много раз от господ слышал».

Стр. 165...около введеньева дня... – около 21 ноября ст. ст.

Стр 166. Сивир – северный холодный ветер.

Стр. 173...около благовещения... – около 25 марта ст. ст.

Стр. 176. Бекет – пикет, дозор.

Стр. 179. Ах где, жена, была... – Разгульная песня, начинающаяся указанными словами. Салтыков познакомился с ней, вероятно, по книге Сахарова «Песни русского народа» (ч. IV, СПб. 1839, стр. 121–122).

Стр. 180...на самый егорьев день. – 16 мая ст. ст.

Стр. 181...куда Макар телят не гоняет!.. – Один из первых случаев впоследствии обычного в щедринской сатире обозначения административно-полицейских репрессий.

Стр. 183. И молился я тут спасову образу... – Заключительные строки из песни «Голова ль моя, головушка...» (Песни русского народа, ч. IV, в типографии Сахарова, СПб. 1839, стр. 154–157).

Ах, в горе жить, некручинну быть!.. – слова из песни «А и в горе жить – некручинну быть» (первая строка: «А и горя, горе-гореваньица!»). Салтыков мог познакомиться с песней по книге «Древние российские стихотворения, собранные Киршею Даниловым» (М. 1818), в которой впервые и была опубликована эта песня.

ЗАПУТАННОЕ ДЕЛО

Впервые полная редакция повести «Запутанное дело» появилась в 1848 год в журнале «Отечественные записки» и явилась основной причиной, повлекшей за собой ссылку ее автора в Вятку (см. т. 1 наст. изд.).

В 1863 году Салтыков включил значительно сокращенную и доработанную редакцию «Запутанного дела» в сборник «Невинные рассказы» (СПб., издание книжного магазина Серно-Соловьевича, стр. 330–456). Учитывая, что в 1848 году повести инкриминировались «полутаинственные намеки», Салтыков счел их небезопасными в обстановке цензурных гонений и сделал ряд существенных купюр (см. подробнее в т. 1 наст. изд., стр. 417).

Подготавливая к печати второе (1881) и третье (1885) издания «Невинных рассказов», Салтыков продолжал работать над «Запутанным делом», совершенствуя его в стилистическом отношении. Но значительных сокращений и изменений, по сравнению с текстом 1863 года, сделано не было.

НЕОКОНЧЕННОЕ

НЕОКОНЧЕННОЕПРЕДЧУВСТВИЯ, ГАДАНИЯ, ПОМЫСЛЫ И ЗАБОТЫ СОВРЕМЕННОГО ЧЕЛОВЕКА
При жизни Салтыкова в качестве самостоятельного произведения очерк не публиковался, и неясно, закончен ли он. Частично текст использован в заключительной части очерка «Наши глуповские дела» (дневник Ржаницева).

Впервые, в отрывках, очерк опубликован А. А. Измайловым в журнале «Нива», 1914, № 17 (выдан 26 апреля), стр. 326–329; полностью – Н. В. Яковлевым в журнале «Звезда», 1926, № 2, стр. 5–9.

Сохранилась беловая рукопись произведения с исправлениями и вставками (один из листов – бланк рязанского вице-губернатора 1858 года). В настоящем издании печатается по указанной рукописи в ее последнем авторском чтении.

«Предчувствия...» написаны скорее всего в период между апрелем 1860 и октябрём 1861 года. Первая хронологическая грань определяется временем запрещения статьи «Еще скрежет зубовой» (26 марта 1860 года), материал которой Салтыков обильно использовал в дневнике «современного человека», вторая – временем появления очерка «Наши глуповские дела» («Современник», 1861, № 11), в состав которого введены фрагменты «Предчувствий...». Не исключено, однако, что датировать «Предчувствия...» следует 1859 годом, когда Салтыков обратился к разработке так называемой хлудовской истории в пьесе «Съезд», названной потом «Соглашение» (см. комментарии к ней).

В «Предчувствиях...», как и в тематически близких им рассказах «Госпожа Падейкова», и «Деревенская тишь», изображены настроения испуга и растерянности, охватившие помещиков при первых официальных известиях о предстоящей отмене крепостного права.

Стр. 520. Оттого, что сие званию дворянскому пристойно. – Рассуждение о

Невинные рассказы. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru превосходстве дворянства над «темным человеком» в рукописи имело продолжение, позднее зачеркнутое:

«Отчего темный младенец до совершенного возраста, как былие, прозябает, а младенец дворянин не иначе как при помощи француза воспитывается? Отчего темные люди, и мужеск и женск пол, все, как бессловесные, не стыдятся друг друга, в одной избе и пребывают и отдыхают, а дворянин руководствуется в сем случае врожденным ему чувством стыдливости?»

...привезший известие, будто бы.. но нет! – Речь идет о предстоявшем опубликовании 20 ноября 1857 года рескрипта Александра II Назимову с предписанием приступить к практической разработке крестьянской реформы.

Стр. 521. Опять приезжал с фабрики управляющий и от философических упражнений обратил к действительности. – Занимающий центральное место в дневнике «современного человека» эпизод с продажей на фабрику крепостных «девок» относится к делу фабрикантов Хлудовых (см. комментарий к пьесе «Соглашение» и прим. к стр. 312). В сохранившейся рукописи отклик на хлудовское дело первоначально был значительно полнее. Приводим вычеркнутый Салтыковым (но частично использованный в других местах) текст, который следовал за комментируемой фразой:

«Условия действительно предлагал отменные: за каждую девку по 24 р. в год, а за десять девок двести сорок рублей. Оказывается, что в природе вообще ничего бесполезного нет, а в настоящем случае девка оказалась даже полезнее мужика, ибо какой мужик может собственной персоной двадцать четыре рубля доходу принести? Но, кроме сего, у меня были при этом и другие соображения. Проводя дома время в праздности, девки ничего иного, кроме пороков и развития страстей, в будущем для себя не приобретают. Не наученные опытом и нуждою, девки до конца жизни остаются беспечными и во всех действиях не оказывают ни тени самостоятельности. Стало быть, временное отчуждение их на фабрику ничего, кроме пользы, для них принести не может. Конечно, все эти соображения в расчеты фабриканта входить не могут, ибо он ищет для себя лишь силу, которая могла бы машины его в действие приводить, но с моей стороны было бы непростительно об этом не подумать».

Ноября 20. Снежков сказал правду. – См. прим. к стр. 295.

Стр. 522. Большое участие в составлении книги принимает Василий Александрыч Кокорев... – см. прим. к стр. 510.

Стр. 523. Дом наш, в отношении тишины, уподобился горе Афонской. – См. прим. к стр. 511.

ХОРОШИЕ ЛЮДИ

Незаконченный очерк. При жизни Салтыкова в качестве самостоятельного произведения не публиковался. фрагменты из него были использованы Салтыковым в очерках «К читателю», «Литераторы-обыватели» и «Наши глуповские дела».

Впервые, частично (два отрывка), очерк «Хорошие люди» был напечатан Б. М. Эйхенбаумом в 1934 году в «Литературном наследстве» (т. 13–14, стр. 18–22); вторично опубликован, также в отрывках (семь фрагментов по двум рукописным редакциям), в собр. соч. издания 1933–1941 годов (т. III, стр. 441–450).

Рукописный материал очерка представлен тремя автографами, но ни одна из рукописей не дает полного текста произведения. Первая беловая рукопись (в процессе работы, как и две другие, она была превращена в черновую) заключала в себе текст наиболее близкий к полной первоначальной редакции, но из одиннадцати двойных ее листов пять в настоящее время утрачены. Вторая рукопись – это перебеленный с первой рукописи текст начала очерка с добавлением рассуждения о «прежнем» и «нынешнем» «хорошем человеке», вошедшего в состав очерка «Наши глуповские дела». По третьей, также незавершенной, рукописи очерка Салтыков вырабатывал варианты текста для вставок в очерк «Наши глуповские дела».

В настоящем издании текст очерка воспроизводится по первой беловой рукописи в последнем ее чтении с приведением в примечаниях наиболее значительных зачеркнутых отрывков.

По времени написания очерк «Хорошие люди» предшествовал тем произведениям, в

Невинные рассказы. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru состав которых вошли его отдельные части, то есть он создавался, видимо, во второй половине 1860 года, вскоре после «Скрежета зубовного». Очерк посвящен дворянско-помещичьим либералам, деятелям «глуповского возрождения». В нем не только дается развернутая характеристика «хороших людей», но и прослеживается их эволюция: «Хорошие люди» «доброе старое времени» – это свободные от всяких либеральных идей русские помещики-крепостники, спокойно творящие в своих имениях суд и расправу, пользуясь «покровительством законов» и бесправием крепостных. «Нынешние» «хорошие люди» – это те же помещики-крепостники, но умеющие ловко прикрыть свои крепостнические убеждения либеральной фразой, разговорами «об устности, гласности и бескорыстии».

Подводя итог сопоставительному рассмотрению типов «хороших людей» прошлого и нынешнего времени, Салтыков подчеркивает единство этих типов при внешнем отличии. Резюме по этому вопросу находим в последней, третьей рукописи очерка, где оно зачеркнуто. Приводим этот текст:

«Тем не менее, несмотря на описанные выше признаки резкого различия, горько ошибется тот из моих читателей, который в нынешних хороших людях увидит явление новое, не имеющее корней в русской почве.

Я, который добрую часть своей жизни посвятил изучению хороших людей всех возможных оттенков, смею удостоверить читателя, что разница между нынешними хорошими людьми и их предшественниками вовсе не столь существенна, как это можно было бы предполагать. В действительности, нынешние хорошие люди суть дети отцов своих, и природа у них совершенно одна и та же, какая была у тех их предшественников, которые, по рассказам предков, безмерно радовались, когда князь Потемкин заставлял их проскакать тысячи верст затем только, чтоб спросить, какого нынче празднуют святого, и столь же безмерно огорчались, когда Суворов, при появлении их, восклицал: «воняет!» И если, по обстоятельствам, совершенно от воли их не зависевшим, они должны были облечься в новые и доселе не виданные одежды, то это отнюдь не дает права заключать, чтобы помёт в этих одеждах был иной».

Стр. 524...получит... возмездие в рождество... – см. прим. к стр. 359.

Стр. 525...о распрях, происходивших в Испании между карлистами и христиносами! – См. прим. к стр. 489.

Стр. 527. Да и люди были какие-то особенные!..поильцами, кормильцами чествовали! – Вместо этих шести абзацев в автографе имеется рассказ отставного корнета Катышкина о поваре Арефии Иваныче. Приводим его:

«...у меня, например, повар был; так что бы вы думали, он однажды сделал? Заказал я ему к обеду маинес, ну-с, хорошо-с... Только сидим мы за столом, а у меня еще на ту пору статский советник Увальнев обедал... вдруг подают на блюде машину какую-то! Смотрим... просто чудо! корабль, сударь ты мой, стоит, и мачты, и веревки, и амбразуры – все тут! даже перепела, вместо пушек, в амбразурах посажены! Статский советник Увальнев даже растерялся весь. «Сколько, говорит, черт ты эдакой, за этого повара дал?» – «Тысячу рублей», говорю. – «Ну, говорит, поздравляю, это просто даром!»

– Да, для таких людей и поощрения не жалко!

– Еще бы! Разумеется, сейчас же приказ: явиться Арефию Иванычу к столу! – Утешил ты меня, ракаля! – говорю, – ты меня утешил, и я у тебя в долгу не останусь! И тут же, при гостях, поднес ему рюмку водки: пей, каналья!

– Да, это приятно.

– В старину у нас все это просто было, все тут же на месте делалось. Угодил, корабль какой-нибудь там соорудил – рюмка водки тебе; не потрафил, пересолил там или подгорело что-нибудь – марш на конюшню!

– И не роптали!

– Не только не роптали, а еще бога за господ молили! кормильцами, поильцами чествовали!

Невинные рассказы. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru
– Любовный народ был, сердечный!»

Продолжение рассказа Катышкина следовало в рукописи после слов: «...как будто бы действительно выпирает им из трущобы карету». Приводим полностью вычеркнутый текст, позднее в процессе работы замененный в рукописи фрагментом – «Сердечный народ был, любовный!.. поильцами, кормильцами чествовали!»:

«Однако воровства и тогда между ними довольно было! – продолжал ораторствовать Катышкин. – Скажу хоть об том же Арефии Иваныче. Ведь не удержался, подлец, стянул-таки у меня бумажник с деньгами! Разумеется, я его au naturel, ан и отыскался бумажник в голенище сапога! Однако я ему этого не спустил: «Ну, говорю, Арефий Иваныч, уважаю я тебя за талант, а на конюшню ты все-таки сходи!»

– А жалко этакого человека!

– Уж и не говорите! так жалко, что в то время, как с ним там поступали, я просто как ребенок плакал! И не знаю сам, что такое со мной сделалось: сию да так рекой и разливаюсь! «Обидел ты меня, Арефий Иваныч, – говорю ему после, как он пришел меня благодарить, – кровно обидел, бестия!»

– Сс...

– Однако потом, я думаю, сейчас же все и забыто было, Иван Сергеич?

– Ну, разумеется, забыто. Да нельзя и не поснизойти к такому человеку, потому что шельмец-то такой был, что мы, бывало, с женой предугадать никогда не можем, что у нас за обедом, какие финизервы или фаршмаки будут!

– В старину-то, господа, то хорошо было, что все неприятное тут же и забывалось!»

Стр. 530. Тем более что «Морской сборник»... – см. прим. к стр. 463.

...до октября 1858 года... – то есть до появления в печати статьи В. А. Черкасского (см. прим. к стр. 272).

Стр. 531...некто кн. Черкасский взял на себя труд доказать... – см. прим. к стр. 272.

...«Русский вестник» разразился громовой статьей, в которой с прискорбием протестовал против употребления розог в русской литературе. – Против кн. В. А. Черкасского в «Русском вестнике» (1858, ноябрь, кн. 2; декабрь, кн. 1) со статьей «Изобличительные письма» выступили М. Н. Катков, Ф. М. Дмитриев и П. М. Леонтьев (статья опубликована под псевдонимом Байборода). В «Объяснении», опубликованном в журнале «Сельское благоустройство» (1858, № 11), Черкасский отказался от своих предложений относительно телесных наказаний для крестьян.

Стр. 532...«Московские ведомости» еще не открывали у себя особого отдела обывательской литературы. – Речь идет о рубрике «Внутренняя корреспонденция» «Московских ведомостей». См. прим. к стр. 428.

«...я ведь не затруднюсь и по второму пункту хватить!» – То есть уволить за должностное преступление (см. Свод законов Российской империи, т. III. Уставы о службе гражданской, СПб. 1857, стр. 261).

...в Самаре какой циркуляр насчет этого вышел... А в Саратове... дикости какие-то... – см. прим. к стр. 462.

УКАЗАТЕЛЬ ЛИЧНЫХ ИМЕН
И НАЗВАНИИ ПЕРИОДИЧЕСКОЙ ПЕЧАТИ*[132]

Адлерберг Владимир Федорович, граф (1791–1884), ген. – адъютант, в 1852–1870 гг. мин. имп. двора и уделов – 610.

Аксаков Иван Сергеевич (1823–1886), публицист и поэт, славянофил – 554, 560, 562, 614.

Александр II (1818–1881), рос. император с 19 февр. 1855 г. – 574, 598, 605, 606, 615, 622, 627, 635.

Невинные рассказы. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru

Александр Македонский (356–323 до н. э.) – 446.

Анненков Павел Васильевич (1813–1887), лит. критик, мемуарист – 579, 580, 594, 596, 607, 614, 615, 629.

Аннибал – см. Ганнибал.

«Антракт», еженедельная театр. газета, изд. в 1866–1868 гг. в Москве – 570.

Апфельбаум, популярный фокусник, выступавший в Петербурге в 30–40-е годы – 269.

«Атеней», еженедельный (в 1859 г. – двухнедельный) журнал критики, совр. истории и лит-ры, изд. с 1858 по апр. 1859 г. в Москве под ред. Е. Ф. Корша – 549, 578.

Байборода, общий псевдоним М. Н. Каткова, Ф. М. Дмитриева и П. М. Леонтьева в «Русск. вестнике» в 1856–1858 гг. – 633.

«Изобличительные письма» – 638.

Байрон Джордж Ноэл Гордон (1788–1824) – 567, 568.

«Дон-Жуан» – 567; Гаиде – 33, 53, 567; Дон-Жуан – 33, 34, 53, 468, 567; Ламбро – 33, 34, 53, 567.

«When we two parted...» – 57, 568.

Бакст Осип Игнатьевич (ок. 1837–1895), издатель и владелец типографии в Петербурге – 581.

«Сборник рассказов в прозе и стихах» – 581.

Бальзак Оноре де (1799–1850) – 50, 568.

«Отец Горио» и «Покинутая женщина» – 568; виконтесса де Босеан – 50, 568; папаша Горио – 568.

Баранов Павел Трофимович (1814–1864), ген. – майор, в 1857–1862 гг. тверской губернатор – 597.

Барклай де Толли Михаил Богданович (1761–1818)–470.

Батыевичи – см. Батый.

Батый (ум. 1255), хан Золотой Орды – 357, 616.

Бауэр Бруно (1809–1882), нем. философ-идеалист, младогегельянец – 192.

Безобразов Владимир Павлович (1828–1889), экономист и публицист, младший лицейский товарищ Салтыкова, служил в мин. гос. имуществ, затем в мин. финансов, один из представителей дворянского либерализма, сотруд. «Русск. вестника» – 577, 609, 617, 622.

«Аристократия и интересы дворянства. Мысли и замечания по поводу крестьянского вопроса» – 622.

«О сословных интересах. Мысли и заметки по поводу крестьянского вопроса» – 578.

Безобразов Николай Александрович (1816–1867), публицист, представитель крепостнической оппозиции крестьянской реформе – 632.

Белинский Виссарион Григорьевич (1811–1848) – 450, 451, 593.

Бенардаки (или Бернардаки) Дмитрий Егорович (ум. 1870), миллионер-откупщик, золотопромышленник – 570.

Беранже Пьер-Жан (1780–1857) – 507, 633.

Невинные рассказы. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru
«Мистигрис» – 507, 633.

Беррье Пьер-Антуан (1790–1868), франц. адвокат и депутат парламента – 361.

Бертон Шарль Франсуа (1820–1872), франц. актер, неоднократно гастролировал в Петербурге – 283.

Бетурне Амбруаз (1795–1838), франц. поэт – 610.

«Jeune fille aux yeux noirs» – 346, 610.

Бибииков Дмитрий Гаврилович (1792–1870), ген. – адъютант, в 1852–1855 гг. мин. внутр. дел – 567.

«Библиотека для чтения», ежемесячный лит. – худ. журнал, изд. в 1834–1865 гг. в Петербурге, с 1856 г. выходил под ред. А. В. Дружинина, с 1860 – А. Ф. Писемского, с 1863 – П. Д. Боборыкина – 549, 568, 596, 607, 620.

Борецкая Марфа, вдова новгородского посадника Исаака Борецкого. глава литовской партии в Новгороде, известна под именем Марфы Посадницы – 48.

Брюс Яков Вилимович (1670–1735), гос. деятель, сподвижник Петра I, математик, физик, астроном, по его имени назван календарь 1709–1715 гг. – 406.

Булгарин Фаддей Венедиктович (1789–1859), писатель и журналист, осведомитель политической полиции – 541.

Булкин. А. – псевдоним Ладыженского С. А. (см.).

Бунге Николай Христович (1823–1895), финансист, проф. Киевского ун-та, член финанс. комиссии по подготовке крестьянской реформы, в 1881–1886 гг. мин. финансов, в 1887–1895 гг. – пред. Комитета министров – 617.

Бурдин Федор Алексеевич (1827–1887), актер Александринского театра, друг А. И. Островского, знакомый Салтыкова – 569.

Буркова Вильгельмина (Мина) Ивановна, фаворитка мин. двора графа В. Ф. Адлерберга – 610.

Буташевич-Петрашевский Михаил Васильевич (1821–1866) – 580, 593.

Валуев Петр Александрович (1814–1890), гос. деятель, в 1861–1868 гг. мин. внутр. дел – 581, 623.

Ванштейн, питейный откупщик – 562.

Варламов Константин Александрович (1848–1915), актер Александринского театра – 612.

Василий Заочный – псевдоним Ржевского В. К. (см.)

Введенский Василий, рязанский помещик – 608.

Вельяшев, рязанский помещик – 573.

«Вестник промышленности», ежемесячный журнал, изд. в 1858 (с июля) – 1861 гг. в Москве предпринимателем и финансистом, славянофилом Ф. В. Чижовым – 599, 625.

Вишневский Николай Гаврилович, председ. казенной палаты в Рязани – 576.

Владимир Святославович (ум. 1015), великий князь киевский с 980 г. – 621.

Волков А, чиновник мин. внутр. дел (50 е годы) – 567.

Волконский Сергей Васильевич, князь (1819–1884), рязанский либеральный деятель, знакомый Салтыкова – 354, 616.

Воскобойников Николай Николаевич (1838–1882), публицист, сотруд. «Библиотеки для чтения»

Невинные рассказы. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru чтения», «Моск. ведомостей», участник подавления польского восстания 1863 г. – 617.

«Время», ежемесячный лит. и полит. журнал, изд. в 1861–1863 гг. в Петербурге М. М. и Ф. М. Достоевскими – 549, 606, 608, 609, 610, 618, 619.

Вульф Николай Петрович, орловский вице-губернатор в 1853–1857 гг. – 597.

Вызинский Генрих Викентьевич, проф. всеобщей истории в Моск. ун-те в 1850–1860 гг. – 617.

Вышнеградский Николай Алексеевич (1822–1872), педагог, инициатор организации в России открытых женских учебных заведений (гимназий) – 627.

Ганнибал (ок. 247–183 до н. э.) – 366.

Гарибальди Джузеппе (1807–1882) – 542.

Герман, известный в 40–50-е годы петербургский учитель акробатики – 269.

Геродот (ок. 484–425 до н. э.) – 283.

Герцен Александр Иванович (1812–1870) – 574, 610, 624, 629.

«Very dangerous!!!» – 624.

Гете Иоганн Вольфганг (1749–1832) – 39, 51, 567.

«Wahlverwandtschaften» – 39, 51, 567; Шарлотта–40, 51.

Гинцбург, питейный откупщик – 562.

Гнейст Рудольф (1816–1895), нем. ученый-государствовед и публицист, автор ряда работ, восхваляющих англ. полит. учреждения – 265, 598.

«Das heutige englische Verfassung- und Verwaltungsrecht» – 598.

«Englische Communal-Verfassung» – 598.

Гоголь Николай Васильевич (1809–1852) – 597, 600, 602.

«Вечера на хуторе близ Диканьки» – 32.

«Иван Федорович Шпонька и его тетушка» – 32.

«Игроки» – 600; Замухрышкин – 268, 600.

«Мертвые души» – 264, 597, 602; Заманиловка – 264; Коробочка – 555; Ноздрев – 272, 276, 601.

«Ревизор»; Сквозник-Дмухановский – 260; Хлестаков – 260.

Годунов Борис Федорович (1552–1605), русский царь с 1598 г. – 297, 460.

Головачев Алексей Андрианович (1819–1903), общ. деятель и публицист либерально-буржуазного направления, сотруд. с 1858 г. в «Русск. вестнике», где отстаивал основные принципы реформ 60-х годов – 617.

Головнин Александр Васильевич (1821–1866), мин. нар. просвещения в 1861–1866 гг. – 619, 623.

«Голос», ежедневная полит. и лит. газета, изд. в 1863–1884 гг. в Петербурге А. А. Краевским – 570.

Гомер – 283, 561.

«Илиада» – 576; Одиссей (Улисс) – 10, 561; Гекуба – 576.

Невинные рассказы. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru
Гончаров Иван Александрович (1812–1891) – 561, 569, –580.

«Обыкновенная история» –11, 561.

Гораций Квинт Флакк (65–8 до н. э.) – 245, 614.

Гостомысл (ок. 1-й пол. IX в.), полулегендарный предводитель (старейшина) новгородских словен, который будто бы завещал призвать варягов – 357, 358, 499, 616, 617.

Грановский Тимофей Николаевич (1813–1855) – 450, 451.

Грачев Д., автор корреспонденции из Саратова, напечатанной в «Моск. ведомостях» – 626.

Грибоедов Александр Сергеевич (1795–1829).

«Горе от ума»; Чацкий – 38.

Григорий, слуга Салтыкова в Вятке – 138, 139, 579.

Григорьев Петр Иванович (1806–1871), актер Александрийского театра и водевилист – 569.

Давыдов Владимир Николаевич (псевдоним Ивана Николаевича Горелова; 1849–1925), актер Александрийского театра – 570, 612.

Даль Владимир Иванович (1801–1872), писатель (псевд. – «Казак Луганский»), этнограф и лексикограф – 565, 568.

«Заметка о грамотности. (Письмо в редакцию «Санкт-Петербургских ведомостей»)» – 22, 48, 565.

Данилов Кирша – см. Кирша Данилов.

Дерби Эдуард, лорд Стэнли (1799–1869), англ. реакционный полит. деятель, в 1852, 1858–1859 и 1866–1868 гг. премьер-министр – 361.

Державин Гаврила Романович (1743–1816) – 625.

«Пчелка» – 428, 625.

Джаншиев Григорий Аветович (1851–1900), историк и публицист буржуазно-либерального направления – 577.

«А. М. Унковский и освобождение крестьян» – 577.

Дмитрий Иванович (1582–1591), сын царя Ивана IV (Дмитрий-царевич) – 297.

Диоген (ок. 404–323 до н. э.), древне-греч. философ – 369.

Дмитриев Федор Михайлович (1829–1894). историк русск. права, сотруд. «Русск. вестника» – 638.

Дмитриевский Николай Иванович, правитель канцелярии рязанского губернатора – 576.

Добролюбов Николай Александрович (1836–1861) – 552, 556, 612, 615, 624, 633.

«Из Турина» – 501, 633.

«Литературные мелочи прошлого года» – 624.

Донон, петербургский ресторатор – 284.

Достоевский Федор Михайлович (1821–1881) – 608, 610.

Дружинин Александр Васильевич (1824–1864), лит. критик, сослуживец Салтыкова по

Невинные рассказы. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru канцелярии военного мин-ства в 1846–1848 гг. – 607, 608, 615.

Дубенский Николай Филиппович, старш. советн. рязанского губ. правления – 599, 626.

«Косвенные налоги на фабрики» – 599, 626.

Дюбюр, петербургский портной – 283.

Дюмигрон, петербургский портной – 283.

Дюссо, петербургский ресторатор – 320.

Егоров Сергей Николаевич, чиновник, в 1858–1860 гг. делопроизводитель рязанского губернского правления – 576.

Еремеев, владелец трактира в Петербурге – 284.

Жемчужников Алексей Михайлович (1821–1908), поэт, один из создателей Козьмы Пруткова, сотруд. «Современника» и «Искры» – 626.

Жорж Санд (псевдоним Авроры Дюдеван; 1804–1876) – 50, 568.

«Лукреция Флориани» – 565; Лукреция – 50, 568.

«Орас» – 568; Марта – 50, 568.

Жуковский Василий Андреевич (1783–1852) – 622.

«К надежде» – 408, 622.

Зайцев Варфоломей Александрович (1842–1882), критик и публицист радикально-демократического направления, соратник Писарева по журналу «Русск. слово» – 574.

«Глуповцы, попавшие в «Современник» – 574.

«Звезда», ежемесячный лит. – худ. и общ. – полит. журнал, изд. с 1924 г. в Ленинграде – 634.

Зиновьев Федор Алексеевич, беллетрист и драматург 60-х годов – 668. «Дворянские выборы» – 608.

Златовратский Александр Петрович (ум. 1863), однокурсник и институтский товарищ Добролюбова, преподаватель географии в рязанской гимназии – 612.

Знаменский Пр. – псевдоним Курочкина В. С. (см.).

Зябловский Евдоким Филиппович (1764–1846), историк, географ, проф. статистики Петерб. ун-та в 1816–1833 гг. – 365, 617.

«Статистика европейских государств в нынешнем их состоянии» – 365, 617.

Иван Берладник – прозвище Ивана Ростиславича (см.).

Иван Ростиславич (ум. 1162), князь галицкий, прозванный Иваном Берладником (по молдавскому городу Берладу) – 509, 634.

Иван IV Васильевич Грозный (1530–1584) – 359, 616, 617.

Измайлов Александр Александрович (1873–1921), пародист и лит. критик – 634.

Измарагд, древнерусск. сборник изречений и поучений – 355, 616.

«Илья Муромец и Соловей-разбойник», былина – 273, 602.

Иоанн Лейденский (Иоанн Бокельсон; ок. 1509–1536), вождь плебейской секты анабаптистов в Нидерландах, глава Мюнстерской коммуны – 280, 545, 602.

Невинные рассказы. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru
«Искра», сатирич. журнал революционно-демократического направления, изд. в 1859–1873 гг. в Петербурге – 611, 620, 624.

Кабе Этьенн (1788–1856), франц. социалист-утопист – 597.

«Путешествие в Икарию» – 263, 539, 597.

Казанова Джованна Джакомо де Сеингальт (1725–1798), итал. авантюрист, мемуарист – 385.

Кайданов Иван Кузьмич (1780–1843), историк, проф. Царскосельского лицея – 362, 365, 617.

«Краткое начертание всеобщей истории» – 362, 365, 617.

«Калужский житель», автор обличительной корреспонденции из Калуги в «Моск. ведомостях» – 625.

Кальцолари Энрико (1823–1888), певец (тенор) Итальянской оперы в Петербурге в 60-х годах – 338, 418, 610.

Карамзин Николай Михайлович (1766–1826) – 617.

«История Государства Российского» – 617.

Каратыгин Василий Андреевич (1802–1853), актер Александрийского театра, исполнитель роли Нино в драме Н. А. Полевого «Уголкию» – 198, 199.

Карлос дон (1788–1855), брат исп. короля Фердинанда VII, претендент на престол – 632.

Катков Михаил Никифорович (1818–1887). в конце 50-х годов – либеральный, с начала 60-х годов – реакционный публицист, редактор «Моск. ведомостей» в 1850–1855 и 1863–1887 гг. с 1856 г. – «Русск. вестника» – 595, 597, 633, 638.

Катон Старший Марк Порций (234–149 до н. э.), римск. гос деятель и писатель – 267, 449, 600, 627.

Кауэр Ф. и Давыдов С. И.

«Леста, днепровская русалка» – 190; князь – 208, 209.

Кирша Данилов (XVIII в.), предполагаемый собиратель русских былин, песен, сказок в стихах – 582.

«Древние российские стихотворения, собранные киршею Даниловым» – 582;

«А и в горе жить, некручинну быть» – 183, 582.

Кислинская, помещица в Рязани – 575, 573.

Княжевич Александр Максимович (1792–1872), мин. финансов в 1858–1862 гг.; провел замену откупной системы акцизной – 623.

Князев Иван Васильевич, советский литературовед – 609

Козлов Иван Иванович (1779–1840), поэт, переводчик – 627.

«Венецианская ночь» – 460, 627.

Козляинов А. П., вышневолоцкий помещик – 428, 625.

Кок Шарль Поль, де (1794–1871), франц. писатель; его имя стало у современников нарицательным для обозначения пошло-развлекательной лит-ры – 407.

Кокорев Василий Александрович (1817–1889), питейный откупщик-миллионер, публицист, печатался в «Русск. вестнике» – 261, 262, 429, 510, 522, 597, 617,

Невинные рассказы. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru
618, 634, 635.

«Миллиард в тумане» – 618.

«Об откупах на продажу вина» – 618.

«Путь севастопольцев» – 597.

«Колокол», революционная газета, изд. Герценом и Огаревым в 1857–1867 гг. в Лондоне и Женеве (с мая 1865 г) – 610.

Константин Николаевич, вел. князь (1827–1892), с 1855 г. управл. морск. флотом и мин-твом, в 1861–1863 гг. наместник в Царстве Польском – 628.

Корш Валентин Федорович (1828–1883), либеральный журналист, в 1855–1862 гг. редактор «Моск. ведомостей», в 1863–1874 гг. – «Санкт-Петербур. ведомостей» – 625.

Крылов Иван Андреевич (1769–1844) – 370.

Курочкин Василий Степанович (1831–1875), поэт-демократ, издатель «Искры» – 624, 625.

«Корреспонденты и рецензенты (Гг. Корытников, Цветков, Благолепов и Пятковский)» – 625.

Кутузов Михаил Илларионович (1745–1813) – 470.

Лабарр Франсуа-Теодор (1805–1870), франц. композитор – 610.

«Jeune fille aux yeux noirs» – 346, 610.

Ладыженский Сергей Александрович, критик, сотрудник «Моск. ведомостей» – 596.

Ламанский Евгений Иванович (1825–1902), экономист, управл. гос. банком в 1860–1861 гг., автор ряда трудов по финансовым вопросам, товарищ Салтыкова по лицу – 570, 617.

Ланской Сергей Степанович (1787–1862), мин. внутр. дел в 1855–1861 гг. – 623.

Лафайет Мари-Жозеф (1757–1834), франц. генерал, один из вождей крупной буржуазии в период революций 1789–1791 и 1830 гг. – 272, 419.

Лафонтен Август (1758–1831), нем. писатель, автор более двухсот чувствительных семейных романов и повестей – 484.

Левек, петербургский портной – 283.

Ленин Владимир Ильич (1870–1924) – 629.

Ленский Дмитрий Трофимович (1805–1860), актер Малого театра, водевилист – 567, 568.

«В людях ангел, не жена, дома с мужем сатана» – 34–35, 52, 567, 568; лакеи – 35; Небосклонова – 35, 52, 568; Прындик – 34, 38, 53; Размазня – 35, 38, 52; Славская – 34, 56; Славский – 34, 53; Трефкина – 34.

«Хороша и дурна, и глупа и умна» – 567; Падчерицын – 37, 38, 567.

Леонов Алексей Николаевич, ревизор Рязанской казенной палаты – 576

Леонтьев Павел Михайлович (1822–1874), филолог, проф. Моск. ун-та, сотруд. «Русск. вестника» с 1856 г., соредактор «Моск. ведомостей» с 1863 г. – 638.

Лепретр, петербургский портной – 283.

Лермонтов Михаил Юрьевич (1814–1841) – 622.

«Расстались мы...» – 424, 622.

Невинные рассказы. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru

«Я не люблю тебя...» – 424, 622.

«Литературное наследство», неперіод. сборники АН СССР. посв. публикации докум. материалов по истории русск. лит-ры и общ. мысли, изд. с 1931 г. в Москве – 636, 639.

Лихачев Дмитрий Сергеевич, советский литературовед – 562, 621.

Людовик-Наполеон – см. Наполеон III.

Мазуренко Николай Николаевич (1840 –?), участник революц. движения 60-х годов, лит. критик (псевд. – Окнерузам), сотруд. «Современника» – 596, 612, 620.

Майков Аполлон Николаевич (1821–1897) – 603, 620.

«Fortunata» – 292, 385, 603, 620.

Макашин Сергей Александрович, советский литературовед – 567, 630.

Марий Гай (156–86 до н. э.), римск. полководец и полит. деятель – 366.

Мария Кристина Старшая (1806–1878) жена исп. короля Фердинанда VII. после его смерти – регентша (1833–1840) – 632.

Мартен, петербургский ресторатор – 284.

Мартын Задека, имя, под которым в России с 1770 по 1914 г. изд. гадательные книги, сонники, сборники предсказаний, фокусов, игр и другие подобные издания – 487.

Марфа Посадница – прозвище Борецкой Марфы (см.).

Мацкевич Давид Иванович (1819–1859), цензор «Современника» – 580.

Мачтет Григорий Александрович (1852–1901), писатель, участник революц. движения, автор известной революц. песни «Замучен тяжелой неволей...» – 616.

Медведев Петр Михайлович (1837–1906), актер, режиссер и провинциальный антрепренер – 612

Медем, барон, капитан парохода «Адашев» – 628

Мейербер Джакомо (1791–1864), нем. композитор – 602

«Пророк» (другие названия: «Осада Гента» и «Иоанн Лейденский») – 280, 544, 545, 602

«Роберт-Дьявол»; Роберт 196; Бертрам – 196.

Минаев Дмитрий Дмитриевич (1835–1889), поэт-сатирик, переводчик – 624.

Митропольский А. И. – 630.

«По поводу воспоминаний князя Д. Д. Оболенского» – 630.

Монталамбер Шарль, граф де (1810–1870), франц публицист, глава католической партии, поддержал Луи Бонапарта во время гос. переворота – 272, 601.

«De l'avenir politique de l'Angleterre» – 601.

«Морской сборник», ежемесячный журнал Морского мин-тва, изд. в 1848–1917 гг. в Петербурге. В конце 50-х–начале 60-х годов орган правительственного либерализма – 463, 530, 623, 628, 638.

«Московские ведомости», официальная газета, изд. в 1756–1917 гг.; в 1856–1862 гг под ред. В. Ф. Корша печатала материалы обличительного характера – 268, 431, 432, 438, 532, 595, 596, 625–628, 638.

Невинные рассказы. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru

«Московский вестник», еженедельная полит. и лиг. газета, изд. в 1859 (с февр) – 1861 гг. под фактич. руководством И. В. Павлова (см.)– 549, 559, 560, 562, 563, 605, 611, 612, 615, 617.

Моцарт Вольфганг (1756–1791)–446 «дон жуан» – 446; Лепорелло – 446.

Мстислав (ум. 1036), сын киевского князя Владимира, князь Черниговский, в 1024 г. основал Тмутараканское княжество – 509, 634.

Мюссе Альфред де (1810–1857) – 19, 565.

«Comédie et proverbes» – 19, 565

Назимов Владимир Иванович (1802–1874), ген. – адъютант, в 1855–1863 гг. виленский губернатор в генерал-губернатор «северо-западных» губерний; к нему обращен «рескрипт» Александра II в ноябре 1857 г. «об улучшении быта помещичьих крестьян», положивший начало осуществлению «крестьянской реформы» – 606, 635.

Наполеон III (1808–1873), племянник Наполеона I, в 1852–1870 гг. франц. император – 267, 599, 600.

«Народное богатство», ежедневная полит. – экон. и лит. газета умеренно либерального направления; изд. в 1862 (с 1 ноября) – 1865 гг. в Петербурге – 596, 620.

Некрасов Николай Алексеевич (1821–1877) – 571, 572, 579, 580, 595, 618, 628.

«Забытая деревня» – 618; Ненгла – 378, 618.

«Нива», еженедельный иллюстрир. журнал лит-ры, политики и совр. жизни, изд. в 1870–1917 гг. в Петербурге – 634.

Николев Николай Петрович (1758–1815), поэт и драматург – 581.

«Ветерок, повеи сильнее...» – 160, 581.

Нордстрем Иван Андреевич (1814–1878), цензор драматических произведений в Главном управлении цензуры – 569.

Оболенский Дмитрий Дмитриевич, князь (род. 1845) – 630.

«Наброски из воспоминаний» – 630.

«Одесский вестник», полит. и лит. газета официального направления, изд. в 1827–1893 гг., находилась в ведении одесского ген. – губернатора – 596, 608.

Окнерузам – псевдоним Мазуренко Н. Н. (см.).

Олег (IX–X вв.), новгородский князь, овладевший Киевом и сделавший его столицей древнерусского государства – 429.

«От нечего делать. Собрание повестей и рассказов русских авторов», изд. в 1868 г. русск. революц. эмиграцией в Женеве – 581.

«Отечественные записки», ежемесячный учено-лит. журнал, изд. в 1839–1884 гг. в Петербурге. Вместе с «Современником» – самый передовой демократический журнал 40-х годов. В «Отеч. записках» были напечатаны первые две повести Салтыкова – 550, 582.

Отсон, англичанин, директор хлудовской бумагопрядильни – 510, 519, 521, 608, 634, 635.

Павлов Иван Васильевич (1823–1904), товарищ Салтыкова по Моск. дворянскому ин-ту и Лицею, публицист, фактич. руководитель газеты «Моск. вестник» (см.)–559, 560, 561, 612, 614.

Павлов Платон Васильевич (1823–1895), историк, обществ. деятель, проф. Киевского

Невинные рассказы. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru и Петерб. ун-тов – 627.

Палкин, владелец трактира в Петербурге – 284.

Пановский Николай Михайлович (1797–1872), писатель, сотруд. «Моск. ведомостей», «Москвитянина», «Современной летописи» – 597.

Перфильев Степан Васильевич (1796–1878), генерал, начальник Моск. жандармского округа – 412, 622.

Петр I (1672–1725), царь с 1682 г., росс, император с 1721 г. – 109, 359, 508, 567, 616.

Петрашевский Михаил Васильевич – см. Буташевич-Петрашевский М. В.

Пирогов Николай Иванович (1810–1881), врач-хирург, обществ, деятель – 627.

Писарев Дмитрий Иванович (1840–1868) – 552, 553, 558, 561, 574.

«Цветы невинного юмора» – 552, 553, 558, 561, 574.

Платон (427–347 до н. э.) – 434, 626.

«Федоя» – 626.

Плещеев Алексей Николаевич (1825–1893), поэт – 615.

«Повесть временных лет» (XII в.), древнейшая русская летопись – 11, 387, 562, 621.

Погодин Михаил Петрович (1800–1875), историк, сторонник норманнской теории происхождения древнерусского государства, публицист охранительного направления – 357, 358, 508, 509, 616, 633, 634.

Покусаев Евграф Иванович, советский литературовед – 597.

Полевой Николай Алексеевич (1796–1846), журналист, писатель.

«Уголино» – 198.

Посполитаки, питейный откупщик – 570.

Потемкин Григорий Александрович (1739–1791), ген. – фельдмаршал, фаворит Екатерины II – 637.

Пржецлавский Осип Антонович (1809–1879), цензор, с 1862 г. цензуровал «Современник» – 573.

Проезжий – псевдоним Дубенского Н. Ф. (см.).

Путята Александр Дмитриевич (1828–1899), участник революц. движения 60-х годов – 581.

«Сборник рассказов в прозе и стихах» – 581.

Путятин Евфимий Васильевич, граф (1803–1883), адмирал, дипломат, в 1861 г. мин. нар. просвещения – 623.

Пушкин Александр Сергеевич (1799–1837) – 52, 565, 568, 620, 627, 632.

«В крови горит огонь желанья...» – 450, 627.

«Египетские ночи» – 385, 620.

«История села Горюхина» – 591.

«Ночной зефир» – 459, 627.

Невинные рассказы. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru
«Стансы» – 482, 632.

«Элегия» («Безумных лет угасшее веселье...») – 19, 565.

«Пчела», древнерусский сборник изречений и поучений – 355, 616.

Пыпин Александр Николаевич (1833–1904), историк литературы, сотруд. и член редакции «Современника» – 571, 577.

Пэль, владелец сапожного заведения в Петербурге – 284.

Пятковский Александр Петрович (1840–1904), издатель и журналист – 624, 625.

«Провинциальные корреспонденты и г. Щедрин» – 624.

Рабинович, питейный откупщик – 562.

Ребров Сергей Константинович (1801–?), цензор – 608.

Рейтерн Михаил Христофорович (1820–1890), мин. финансов в 1862–1878 гг., лицейский однокашник Салтыкова – 623.

Ржевский Владимир Константинович (псевд. – Василий Заочный) (1811–1885), реакционный публицист – 263, 595, 596, 597, 601, 608, 620, 633.

Робеспьер Максимилиан (1758–1794), деятель франц. буржуазной революции 1789 г., один из вождей якобинцев – 515.

Рогозин Л., участник революц. движения 60-х годов – 629, 630.

Родиславский Владимир Иванович (1828–1885), драматический писатель и критик – 570.

Родоконяки Федор Павлович (ум. 1882), питейный откупщик – 570.

«Русалка» – опера Кауэра Ф. и Давыдова С. И. «Леста, днепровская русалка» (см.).

«Русская беседа», журнал славянофильского направления, изд. в 1856–1860 гг. в Москве – 549, 603, 605.

«Русский архив», ежемесячный историко-лит. журнал, изд. в 1863–1917 гг. (1856–1858 гг. – по 4 кн. в год, с 1859– по 6 кн.) в Москве – 630.

«Русский вестник», лит. – полит. журнал, изд. в Москве М. Н. Катковым в 1856–1887 гг., до 1861 г. придерживался умеренно либерального направления, затем перешел на охранительные позиции. В «Русск. вестнике» печатались «Губернские очерки» – 119, 364, 365, 501, 510, 513, 522, 525, 529, 531, 549, 566, 577, 578, 595, 617, 618, 622, 633, 634, 638.

«Русский педагогический вестник», ежемесячный журнал, изд. в 1857–1861 гг. Н. А. Вышнеградским и др. в Петербурге – 627.

«Русское слово», литературно-ученый журнал, изд. в 1859–1866 гг. в Петербурге. С 1861 г. с приходом Д. И. Писарева приобретает радикально-демократический характер – 552, 553, 574, 624.

Рыков Константин Александрович, следователь земского суда в Егорьевске – 266, 430, 599, 626.

Рюрик (ум. 879), варяжский князь; летописная легенда о призвании его новгородцами на княжение послужила впоследствии основанием норманнской теории происхождения древнерусского государства – 12.

Рюриковичи – 357, 359, 616.

Садовский (настоящая фамилия Ермилов) Пров Михайлович (1818–1872), актер Малого театра, родоначальник знаменитой актерской семьи Садовских – 560, 569.

Невинные рассказы. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru
Салтыков (Н. Щедрин) Михаил Евграфович.

«Глупов и глуповцы» – 553, 584, 587, 632.

«Глуповское распутство» – 553, 584, 587, 632.

«Господа Головлевы» – 558, 577.

«Господа ташкентцы» – 617.

«Гг. Семейству М. М. Достоевского, издающему журнал «Эпоха» –608.

«Губернские очерки» – 549, 550, 551, 552, 554–556, 565, 566, 568, 569, 571, 575, 576, 581, 583, 584, 591, 601, 603.

«Аринушка» – 557, 581.

«Елка» – 571.

«Общая картина» – 565.

«Озорники» – 565, 566.

«Отставной солдат Пименов» – 657.

«Пахомовна» – 557, 581.

«Просители» – 33, 569.

«Прошлые времена» – 569

«Талантливые натуры» – 602.

«Хрептюгии и его семейство» – 568, 570.

«Губернские честолюбцы» – 568, 569.

«Два отрывка из «Книги об умирающих» – 555, 560.

«Из неизданной переписки» – 555.

«Смерть Живновского» – 555.

«Дикий помещик» – 558.

«Дневник провинциала в Петербурге» – 602.

«Еще скрежет зубовой» – 607, 626, 634.

«Жених» – 561, 580, 610.

«Игрушечного дела людишки» – 551.

«Имярек» – 586.

«История одного города» – 590, 591, 632.

«Итоги» – 602.

«Каплуны» – 553, 584, 588, 590, 627.

«Книга об умирающих» – 549, 554–556, 559, 560, 562, 564, 569, 577, 583, 584, 591, 604, 605, 611, 614, 615.

«Несколько слов об истинном значении недоразумений по крестьянскому делу» – 605.

«Об ответственности мировых по» средников» – 597.

Невинные рассказы. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru
«Отходящие» – 559, 560.

«Письма к тетеньке» – 617, 618.

«Помпадуры и помпадурши» – 602.

«Пошехонские рассказы» – 551.

«Признаки времени» – 602.

«Смерть Пазухина» («Смерть», «Царство смерти») – 555, 568, 569.

«Современная идиллия» – 602.

«Современные разговоры» – 611.

«Тени» – 610.

«Характеры» – 611, 624.

«Яшенька» – 555.

«Санкт-Петербургские ведомости», официальная газета, изд. в 1728–1917 гг. – 216, 565, 570, 596.

Сарра, пегербургский портной – 283.

Сахаров Иван Петрович (1807–1863), фольклорист, этнограф, библиограф – 582.

«Песни русского народа» – 581, 582.

«Ах где, жена, была..» – 179, 582.

«Голова ль моя, головушка.» – 183, 582

«Не шуми, матн зеленая дубравушка.» – 156, 581.

«Северная почта», газета мин-тва внутр. дел, изд в 1862–1868 гг. в Петербурге – 596, 608, 620.

«Северная пчела», полит. и лит. газета, изд. в 1825–1864 гг. в Петербурге. В 50–60-х годах редактировалась Ф. В. Булгарным, Н. И. Гречем и П. С. Усовым – 624.

«Сельское благоустройство», славянофильский журнал, посв. вопросам подготовки крестьянской реформы, приложение к «Русск. беседе», изд. в 1858 (с марта) – 1859 (по апр.) гг, в Москве под ред. А. И. Кошелева – 601.

Сервантес де Сааведра Мигуэль (1547–1616).

«Дон-Кихот»; Дульцинея – 447.

Серно-Соловьевич Николай Александрович (1834–1866), деятель революц. движения 60-х годов – 558, 582.

Симановский Иван Михайлович, полковник, жандармский штаб-офицер в Твери – 621, 622, 629.

Синеус (середина IX в), полулегендарный варяжский князь, брат Рюрика, княживший в Белозере – 12.

Ситников Ананий, раскольник – 578, 579

Смагин, раскольник – 578, 579

«Современная летопись», газета, изд. в 1861–1871 гг, в Москве под ред. М. Н. Каткова (в 1861–1862 – приложение к «Русск. вестнику», с 1863 г. – к «Моск. ведомостям») – 578, 595, 633

Невинные рассказы. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru

«Современник», лит. журнал, изд. в Петербурге, основан Пушкиным в 1836 г.; с 1847 г. изд. Н. А. Некрасовым и И. И. Панаевым – 549, 553, 571, 572, 574, 577, 579, 581, 588, 594, 595, 596, 614, 615, 618, 619, 621, 623, 624, 628, 629, 630, 633, 634.

Сократ (ок. 469–399 до н. э.) – 626.

Соллогуб Владимир Александрович, граф (1813–1882), писатель – 566, 567.
«Чиновник» – 35, 43, 53, 55, 566.567; Дробинкин – 35, 37, 54; графиня («княгиня»)–35, 54, 56, 567; Мисхорин – 35, 54; Надимов – 35, 36, 38, 44, 45, 47, 54, 55, 566, 567; полковник – 35, 54.

Степанов Николай Александрович (1807–1877), карикатурист, в 1859–1864 гг. сотруд. и издатель (совместно с В. С. Курочкиным) журнала «Искра» – 620.

Сулла Луций Корнелий (138–78 до н. э.), римск. диктатор – 366.

Сухова-Кобылин Александр Васильевич (1817–1903), драматург – 602.

«Свадьба Кречинского» – 602; Расплюев – 277, 602

Сципион Публий Корнелий Африканский Старший (235–183 до н. э.), римск. полководец – 366.

«Сын отечества», еженедельный полит., ученый и лит. журнал, изд. в 1856 (с апр.) – 1861 гг. в Петербурге – 551.

Тамберлик Энрико (1820–1889), итал. певец (тенор), неоднократно гастролировал в Петербурге – 338, 418, 610.

Тимашев Александр Егорович (1818–1893), управл. III Отделением в 1856–1861 гг., мин. внутр. дел в 1868–1877 гг. – 569.

Трувор (середина IX в), полулегендарный варяжский князь, брат Рюрика, княживший в Изборске – 12.

Тургенев Иван Сергеевич (1818–1883) – 267, 356, 565, 580, 599, 616.

«Бурмистр»; Пеночкин – 272. 601.

«Гамлет Щнгровского уезда» – 267, 599.

«Два помещика» – 356. 616; Стегунов – 616.

«Дворянское гнездо»; Лаврецкий– 601.

«Параша» – 19, 194, 565 «Рудин»; Рудин – 267, 399, 601.

«Чертопханов и Недопюскин», «Конец Чертопханова»; Чертопханов– 272, 276, 499. 601

Тянгинский, автор рецензии о любительском спектакле в Вятке, опубликованной в «Вятских губ. ведомостях» – 54, 568.

«Указатель экономический, статистический и промышленный», полит. – эконом. журнал, изд. в 1860–1861 гг. в Петербурге – 624.

Унковский Алексей Михайлович (1828–1893), либеральный деятель периода крестьянской реформы, близкий друг Салтыкова – 577, 629.

Фавр Жюль (1809–1880), франц. адвокат, популярный оратор, с 1870 г. вице-премьер и мин. иностр. дел, участник подавления Парижской коммуны – 354. 616.

Фейербах Людвиг (1804–1872), нем. философ-материалист; в «Запутанном деле» фигурирует также под именем Бинбахера – 192, 193. 196. 227.

Фердинанд VII (1784–1833), король Испании (1808 и 1814–1833 гг.) – 632.

Невинные рассказы. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru
Френкель, питейный откупщик – 552.
Халабаев Константин Иванович, советский текстолог – 604.
Хлудовы, владельцы бумагопрядильной фабрики в городе Егорьевске Рязанской губернии – 599, 607, 608, 609, 626, 634, 635.
Христина – см. Мария Кристина.
Цветков К., корреспондент «Указателя экономического», автор статьи о литераторах-обывателях – 624, 625.
Черкасский Владимир Александрович, князь (1824–1878), деятель крестьянской реформы, член-эксперт Редакционных комиссий в 1856–1861 гг., славянофил – 272, 531, 601, 638
«Некоторые общие черты будущего сельского управления» – 601.
«Объяснение» – 638.
Чернышевский Николай Гаврилович (1828–1889) – 552, 554, 558, 588, 590, 596, 624, 629.
Чибисов В., сотрудник «Одесского вестника» – 596, 608.
Чичерин Борис Николаевич (1828–1904), историк, юрист, публицист; проф. Моск. ун-та в 1861–1868 гг., идеолог дворянского либерализма – 601.
«Очерки Англии и Франции» – 601.
Шармер, петербургский портной – 283.
Шекспир Вильям (1564–1616).
«Гамлет» – 103; Гамлет – 38, 103, 575.
Шиллер Фридрих (1759–1805) – 603.
«Resignation» – 292, 595, 603.
Шотан, петербургский ресторатор – 284.
Штейниц Г., берлинский издатель – 581.
Эдельсон Евгений Николаевич (1824–1868), лит. критик – 552, 605, 620.
Эйхенбаум Борис Михайлович (1886–1959), советский литературовед – 572, 595, 604, 619, 636.
Элпидин Михаил Константинович (ок. 1835–1908), русский эмигрант, издатель и редактор – 581.
Эльснер Фанни (1810–1884), австрийск. балерина, гастролировала в России в 40–50-х годах – 465.
Эммерман, владелец сапожного заведения в Петербурге – 283.
Юматов Николай Николаевич, публицист, сотруд. «Русск. вестника» – 263, 265, 595, 597, 598, 633.
«Несколько слов, вызванных заметкой о выборном начале» – 598.
Языков Николай Михайлович (1803–1847), поэт.
«Разгульна, светла и любовна...» – 222.
Яковлев Кондрат Николаевич (1864–1928), артист Александрийского театра – 612.

Невинные рассказы. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru

Яковлев Николай Васильевич, советский литературовед – 580, 634.

«Петрашевы в изображении Салтыкова» – 580.

Ярослав Мудрый (978–1054), великий князь Киевский с 1019 г. – 509, 634.

Примечания

1
голубчик.

2
Мы пережили неслыханные страдания!

3
когда мне позволяют спокойно наслаждаться жизнью... не правда ли.

4
мы еще не привыкли наслаждаться благами цивилизации...

5
надо сделать и это и то...

6
что у нас недостаточно сил... одним словом, что мы не справимся с задачей!

7
потому что, в сущности, русский народ – прежде всего великий народ... Вся Европа с удовольствием отдает ему в этом справедливость...

8
что речь идет об очень хорошей вещи.

9
вещь.

10
Вы не имеете понятия, как нас обманывают купцы!

11
Но... не правда ли?

12
что и вправду нужно что-то предпринять.

13
что прикажете делать!

14
Посмотрите сами, дорогой.

15
См. «Вечера на хуторе» Гоголя: «Иван Федорович Шпонька» и т. д. (Прим. М. Е. Салтыкова-Щедрина.)

16

О Разбитном можно справиться в «Губернских очерках», ч. 3-я: «Просители». (Прим. М. Е. Салтыкова-Щедрина.)

17

господа.

18

световой эффект!

19

Инцидент исчерпан!

20

вы бесподобны, дорогой Шомполов!

21

бесподобно! бесподобно!

22

А, вот и вы, господа!

23

дамским любимцем.

24

Избирательное сродство».

25

любезных крутогорцев.

26

Да они здесь отлично воспитаны!

27

милые ангелочки! какие они счастливики, что у них такая мать, как вы, сударыня!

28

Ну как же, я ведь их люблю..

29

Неужели? но знаете ли.

30

если это не нескромность.

31

А! это серьезно! это очень серьезно!

32

Невинные рассказы. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru
потому что это очень серьезно!

33
что это человек из хорошей семьи.

34
Ведь он почти революционер!

35
очаровательный ребенок!

36
Очаровательный ребенок... сколько ему лет, сударыня?

37
Семь.

38
А ведь он, сударыня, очень развит для своего возраста?

39
Заметьте это.

40
В сущности, вы, может быть, и правы.

41
что вы думаете об этом, сударыня?

42
Ну... думаю, что да.

43
опытностью пренебрегать нельзя, а мы, старые шалуны, кое-что понимаем в этом.

44
ведь не правда ли, сударыня?

45
Вы очень любезны, сударыня.

46
но что же вы хотите! молодость – это как волны океана: уходит и больше не возвращается!

47
что это красиво.

48
Право!

Невинные рассказы. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru

49

А завтра мы отправляемся на пикник: надеюсь, вы там будете?

50

Сударыня, вы можете располагать моим временем и мной самим по вашему усмотрению.

51

Ах, сударыня! вы так добры!

52

И посмотрите, как это красиво!

53

Ах, господа, еще успеете поговорить о делах!

54

Но посмотрите, как это красиво!

55

это возвышенно, что и говорить!

56

Героиня романов Бальзака. (Прим. М. Е. Салтыкова-Щедрина).

57

Героини романов Ж. Санда. (Прим. М. Е. Салтыкова-Щедрина.)

58

Позвольте, сударыня!..

59

Что касается этого, то вы совершенно правы, сударыня!

60

эпоха революций еще не закончилась...

61

как настоящая актриса!

62

великолепна.

63

рой юных красавиц.

64

Но соблаговолите ж понять, дорогой мой.

65

понимаете?

Невинные рассказы. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru
66
воспитанием.

67
красиво.

68
Так приезжайте к нам опять.

69
Невозможно, сударыня!

70
Когда с тобой мы расставались в молчанье и слезах...

71
надо.

72
голубчик.

73
Честное слово, тем хуже для князя!

74
Но скажите, голубчик, чтобы подали бокалы и заморозили шампанское.

75
позвольте... кошелек.

76
молодой человек.

77
удачах.

78
в крайнем случае.

79
по-военному.

80
в сущности.

81
благовоспитанного.

82
в натуральном виде.

83
господа.

84
ворчуна.

85
как здоровье вашей супруги?

86
барышням.

87
ищи!

88
обращениям.

89
под статью.

90
развязность.

91
точкой зрения, взглядом.

92
соображение.

93
статью.

94
покорность судьбе.

95
обращение.

96
прощай, моя радость.

97
Плохо.

98
плохо, очень плохо...

99
Сказал и облегчил душу.

Невинные рассказы. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru
100
чистокровных.

101
пить, петь и любить.

102
в натуральном виде

103
Е. Н. Эдельсон. Наша современная сатира. – «Библиотека для чтения», 1863, № 9, Современная летопись, стр. 23.

104
«Русский вестник», 1858, март, кн. 2, стр. 199.

105
«Литературное наследство», т. 67, М. 1959, стр. 456.

106
Там же, стр. 457–458.

107
См.: П. В. Быков. Силуэты далекого прошлого, ЗИФ, М. – Л. 1930, стр. 60.

108
См. «Московский вестник», 1860, № 13, 1 апреля, стр. 207.

109
Центральный государственный исторический архив в Ленинграде (далее – ЦГИАЛ), ф. 772, оп. 7, 1857–1859 гг., п. 42, д. 226.151595.

110
«Литературное наследство», т. 13–14, М. 1934, стр. 124.

111
самых разных вещей.

112
это ужасно!

113
а знаете ли, эта мысль заслуживает внимания!

114
голубчик!

115
проекты, контрпроекты и т. д.

116
глупости.

117

Что с вами, дорогой Николай!

118

будем петь, пить и... любить!

119

Подробнее о творческой истории произведения см.: Д. Золотницкий. Щедрин-драматург, изд. «Искусство», М. – Л. 1961, стр. 72–82.

120

Отзыв И. Нордстрема об «Утре у Хрептюгина» см.: «Литературное наследство», т. 13–14, М. 1934, стр. 124.

121

См.: «Санкт-Петербургские ведомости», 1867, № 285, 15 октября, стр. 2.

122

См.: А. А. Мазон. Гончаров как цензор. – «Русская аарния», 1911, № 3, стр. 481.

123

С. Н. Егоров. Воспоминания о М. Е. Салтыкове. – «М. Е. Салтыков-Щедрин в воспоминаниях современников». Вступительная статья, подготовка текста и примечания С. А. Макашина, Гослитиздат, М. 1957, стр. 445 и 786.

124

В. М. Гайдуков. М. Е. Салтыков как администратор. – «Русская мысль», 1914, № 6, отд. II, стр. 116–117.

125

«Литературное наследство», т. 13–14, М. 1934, стр. 125.

126

Н. Щедрин. Невинные рассказы, СПб. 1863, стр. 168–169.

127

Д. И. Писарев. Сочинения, т. II, Гослитиздат, М. 1955, стр. 352.

128

«М. Е. Салтыков-Щедрин в воспоминаниях современников», Гослитиздат, М. 1957, стр. 445–446.

129

«Литературное наследство», т. 51–52, М. 1949, стр. 6.

130

См.: «Звезда», 1929, № 8, стр. 209–214.

131

Л. М. Добровольский. Запрещенная книга в России. 1825–1904, М. 1962, стр. 52–53.

Невинные рассказы. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru
132 В указатель входят личные имена и названия периодических изданий, встречающиеся в текстах Салтыкова-Щедрина и в комментариях к ним. В первом случае цифры набраны прямым шрифтом, во втором – курсивом. Имена и названия, упоминаемые только в библиографическом аппарате комментария, в указатель не введены.

Спасибо, что скачали книгу в бесплатной электронной библиотеке

<http://saltykov-shchedrin.ru/> Приятного чтения!

<http://buckshee.petimer.ru/> Форум Бакши buckshee. Спорт, авто, финансы, недвижимость. Здоровый образ жизни.

<http://petimer.ru/> Интернет магазин, сайт Интернет магазин одежды Интернет магазин обуви Интернет магазин

<http://worksites.ru/> Разработка интернет магазинов. Создание корпоративных сайтов. Интеграция, Хостинг.

<http://filosoff.org/> Философия, философы мира, философские течения. Биография

<http://dostoevskiyfyodor.ru/>

сайт <http://petimer.com/> Приятного чтения!